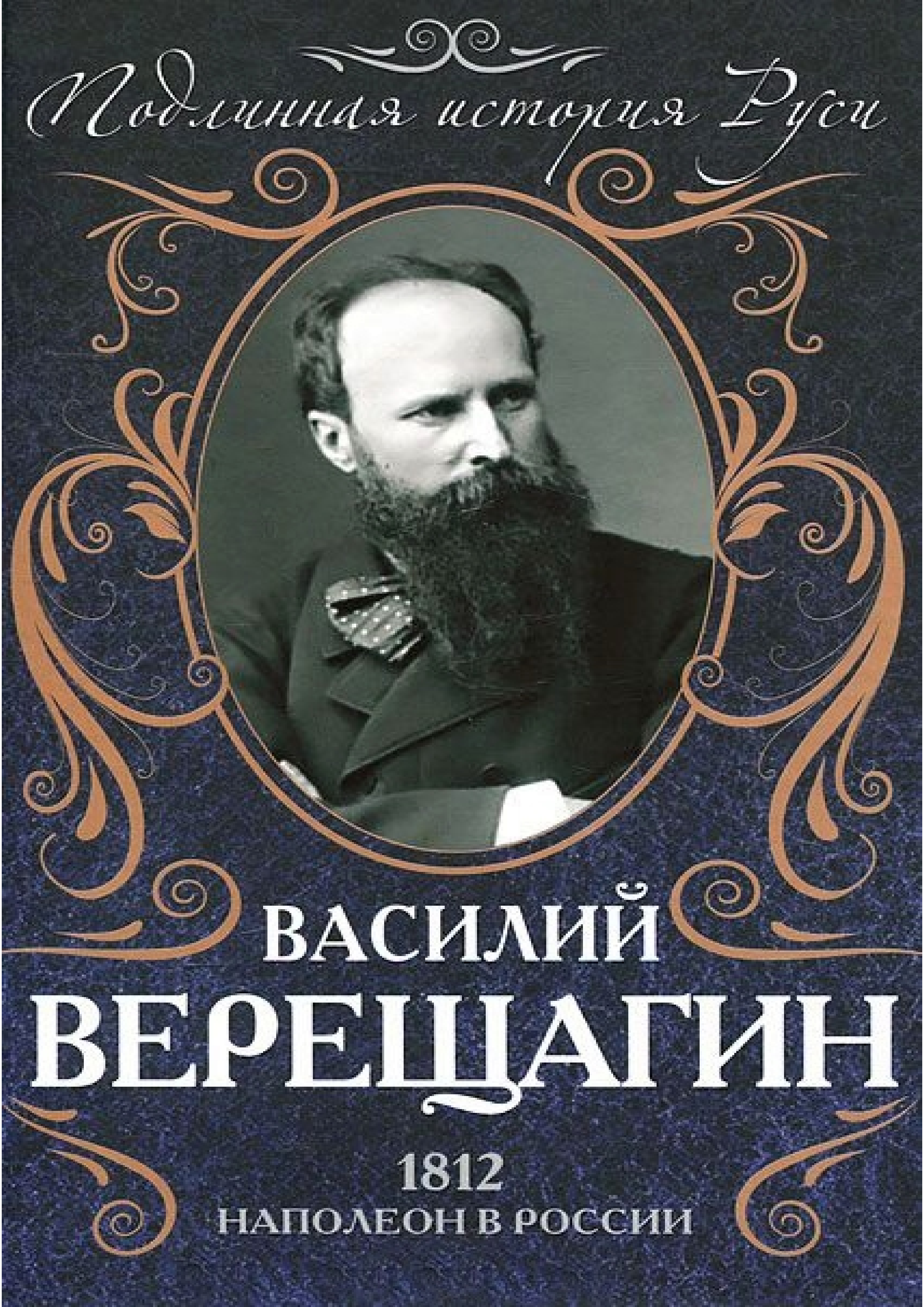

Подлинная история Руси
ВАСИЛИЙ
ВЕРЕЩАГИН
1812
НАПОЛЕОН В РОССИИ

Annotation

Василий Васильевич Верещагин был не только один из наиболее известных русских художников-баталистов, но и талантливый литератор, оставивший воспоминания "На войне в Азии и Европе" (1893 г.) и исторические записки о наполеоновском походе в Россию, которые вошли в эту книгу. Как пишет сам автор в предисловии: "Имея надобность ознакомиться, для моих картин, с личностью и образом действий Наполеона, в 1812 году, я выписал из свидетельств очевидцев и современников то, что показалось мне наиболее характерным, в уверенности, что эти заметки будут небезынтересными и для общества".

Василий Верещагин

1812. Наполеон в России

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не задавался целью писать в строгом смысле «историю» кратковременных завоеваний Великой армии в России. Имея надобность ознакомиться, для моих картин, с личностью и образом действий Наполеона, в 1812 году, я выписал из свидетельств очевидцев и современников то, что показалось мне наиболее характерным, в уверенности, что эти заметки будут небезынтересными и для общества.

Прилагаю имена авторов, сочинениями которых я более или менее пользовался.

В. Верещагин[1].

Анштедт, A.F.de B., Барклай, Бернадот, Богданов, Богданович, Bulletins, Бутурлин, Bourgeois, Bourgogne, Булгаков, Wilson, Глинка, Граббе, Gourgaud, Daumery, Давыдов, Данилевский, Deniee Dumas, general; Durdent, Duverger, Journal, pendant la compagnie de 12; d'Ysnar, chevalier; Constant, Кербелецкий, Кутузов, Кичеев, Корнет, записки; Labaume, Lettres sur la guerre de 1812; L.G.L.D., Marbot, Moniteur, Marin de la Garde, Муравьев, Officier de la jeune garde, Оленин, Попов, Pradt, l'Abbé, Porter, Roos, Ростопчин, Rapp, Segur, Soltyk, Saint Brice, Терконель, лорд; Толычева, Fain, Fezensac, Fusil, m-me; Феофилакт, De la Fluse, Феньшау, Чернышев, Chambray, Chaptal, Шаховской, C-sse Choiseil Gouffier, Шишков.

ПОЖАР МОСКВЫ

Наполеон шел в Россию с намерением восстановить Польшу, а если император Александр не смирится, то и освободить крестьян – эта последняя мера должна была, впрочем, только служить одним из средств обуздать противника, так как завоеватель далеко не имел сентиментальной любви к свободе вообще.

Он полагал найти в России народ, готовый сбросить рабство, и если до некоторой степени не ошибся, в том смысле, что о воле народ действительно толковал, ждал ее, то не понял, что средства для приведения этой мысли в исполнение должны были быть радикально противоположны средствам, пущенным им в ход.

Несправедливо было бы сказать, что при движении Наполеона внутрь России вовсе не было смуты и измены – они были, только сравнительно невелики и вскоре покрылись общим единодушным негодованием, которому немало способствовало варварское поведение французских и особенно союзных им войск.

Внушения неприятеля жителям о том, что во всех занятых местностях русские власти, чиновники и помещики не будут допущены, – настолько поколебало умы, что местами крестьяне помогали неприятелю отыскивать фураж и скрытое имущество, а то так даже и пускались на открытый грабеж господских домов. Тут и там крестьяне отказывались давать лошадей под господ: «Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро; придет Бонапарт, нам волю даст, – мы господ знать не хотим!» – говорили местами.

Что касается самих господ, если с одной стороны Энгельгард поступил как истинный патриот – остался в деревне и навредил, сколько мог, французам, а когда на него донесли, не оправдываясь, бесстрашно принял смерть, – то с другой видели, как князь Багратион сорвал крест с шеи одного чиновника и объявил его изменником, недостойным служить своему государю. В захваченной коляске французского генерала Монбрюна, между другими бумагами, найдена была записка, сообщавшая о плане предположенной русскими атаки, выданном, очевидно, кем-либо из офицеров русской главной квартиры.

Особенно непонятно поведение Могилевского и Витебского духовенств, настолько поверивших рассказам о непринадлежности более завоеванных губерний к России, что епископ Варлаам и сам принес присягу на верность Наполеону, и разослал через консисторию указ всем священникам своей паствы: принявши ту же присягу, поминать в церквах вместо императора Александра Наполеона[2].

За архиереем, священник Добровольский и многие другие, отправляя литургию и молебны, вовсе не упоминали никого из фамилии Императорского Русского Дома, а молились «о здравии французского императора и италийского короля великого Наполеона».

По отступлении французов немало было дел о смуте между духовными и гражданскими властями, и архиепископ Феофилакт, посланный для водворения духовного порядка в крае, писал министру: «По гражданской части все следы измены закрыты и гражданский губернатор граф Толстой, зная совершенно, кто был изменником, поневоле продолжает служить с ними...»

Интересно, что маршал Даву, герцог Экмюльский, лично вступил в догматический спор с Могилевским архиепископом и предложил, признав совершившийся факт, поминать на эктениях императора Наполеона, причем оперся на слова Евангелия «воздайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». – «Именно этого я и держусь, – ответил архиерей, – поминая своего государя...» – «Но ведь Кесарь в этих словах означает наиболее сильного, победителя», – объяснил маршал...

«В народе, бесспорно, было недовольство, – говорит A. F. de-B., бывший офицер русской службы, – и

чем далее шел неприятель, тем оно сказывалось сильнее. Расположение умов было очень и очень сомнительное, но Наполеон, или, вернее, войска его, сами позаботились о том, чтобы вырвать из среды крестьян слабые зачатки веры в его освободительные намерения. Скоро стали расходиться в народе слухи, что неприятель грабит и обращает церкви в конюшни, святые иконы топчет, рубит на дрова, не щадит жителей, ни жен их, ни девиц, ни даже детей, все добро крестьянское забирает, а воли объявлять и не думает... Тогда крестьяне стали поголовно уходить в леса со своим добром и жечь то, чего нельзя было спрятать».

Известно, какие обиды терпели обыкновенно жители стран, подвергавшихся французскому нашествию, но никогда, вероятно, они не доходили до такой степени неистовства, как в эту кампанию. О разорениях и грабежах по дороге многие беспристрастные очевидцы—французы дают интересные подробности. Labaume приводит несколько случаев самого варварского обращения войск с частною собственностью: «Мы вошли, – говорит он, – в большое поместье Введенское – прелестное место с прекрасно отделанным внутри и снаружи домом; в несколько минут все было разбито и разнесено так, что даже не успели ничем воспользоваться...» Другой раз «мы остановились в богатом доме, с чудесным садом. Видимо, помещение только недавно было отделано, но уже разорено самым ужасным образом: везде по дорожкам валялась разбитая мебель, обломки дорогого фарфора и многоцветных гравюр, вырванных из рам и разбросанных по ветру...»

Bourgeois говорит, что «жители, выгоняемые из домов пожаром, бросались куда попало. Иногда они искали спасения у бесчеловечных солдат, которые их дочиста грабили... Все женщины хватались и подвергались последним оскорблениям... Даже разрывали могилы, ища спрятанных сокровищ. После этого стало понятно, почему французы встречали одни пылающие города, стало понятно, что русские хотели заставить их идти по пустыням без жилья, без пищи, даже без воды: перед тем, как жечь дома, жители засоряли колодцы нечистотами и падалью, жгли запасные магазины, гумна и стога сена – словом, не щадили ничего».

Известно, как ответили москвичи на призыв императора Александра. Много ратников предложено было дворянами, много денег купцами. Хотя часть ратников была доставлена поздно, а часть денег вносилась силком еще в 1814 году – нет сомнения, что народ московский, не допуская и мысли о какой-нибудь уступке Наполеону, решился воевать с ним до крайности. Нашлось, правда, несколько дворян и немало купцов, согласившихся поступить на службу в наполеоновскую администрацию, но эти отдельные случаи не изменяют общего патриотического характера отношений Москвы к завоевателю.

Как могло случиться, что в Москве осталось столько невывезенного добра? Дело просто: Наполеон выиграл Бородинскую битву, и столица очутилась в его власти, так как удобного поля для нового сражения не было, да к тому же результат второй битвы был бы, пожалуй, тот же, что и под Бородиным, где французская армия получила тяжелый нравственный удар, но материально осталась победительницей, отбросила русскую армию, осмелившуюся преградить ей путь. Вряд ли можно было надеяться, что вторая большая битва под Москвою была бы удачнее первой, только потому, что солдат одушевляло бы желание во что бы то ни стало спасти матушку-старушку: во-первых, войска русские понимали и под Бородиным, что они служат последнею защитой святому городу; во-вторых, и французы, со своей стороны, удвоили бы усилия, так как им предстояло бы тогда или занять хорошие квартиры, отдохнуть, заключить мир и проч., или, отступив, бежать до границы, и они тоже во что бы то ни стало должны были бы еще раз если не разбить, то столкнуть русских со своей дороги. Москву не только оставили без боя, а просто бросили, так как известно, что москвичи не успели вывезти ни своих сокровищ, ни церковной утвари, ни домашней обстановки, ни товаров, ни хлеба. Даже арсенал остался невывезенным!

Объяснение этому – в несогласии высшего начальства города и армии, Ростопчина и Кутузова. Оба

умные, настойчивые и при всех других качествах капризные, не нашли ничего лучшего, как пикироваться и не доверять друг другу в то время, когда город ждал или защиты, или откровенного совета выезжать. Кутузов, более опытный и по летам, и по долгой боевой службе, Кутузов – который, по словам Репнина, доступен всякому, но которого сердце недоступно никому – конечно, много, не менее Ростопчина, выстрадал между Бородиным и Москвою, и если решил сдать город неприятелю, то потому, что другого исхода ему не представлялось. Все демонстративные споры Бенигсена и выходки Ермолова в противоположном смысле звучали фальшиво, и он справедливо не обратил на них внимания. Еще Барклай говорил в дни своей ответственности, что «когда дело идет о спасении России, то Москва то же, что и всякий другой русский город», и умный, прозорливый Кутузов, которого, по словам Суворова, «и Рибас не смог бы обмануть», – держался того же мнения.

«Если нужно, почтите видом сражения древние стены Москвы», —писал он Милорадовичу, изрекая этим конфиденциальным приказом старому боевому товарищу и ближайшему помощнику окончательный приговор столице; Ростопчину же, бывшему временщику, болтуну и остряку, он совсем не сообщил своих намерений, забывая, что этот болтун и остряк – доверенное лицо государя по охранению жизни и имущества жителей столицы.

Если главнокомандующий армии поступил недоверчиво и лукаво с военным генералом Ростопчиным, то и главнокомандующий Москвы слишком надменно требовал «объяснений» от «старой кривой бабы», как он называл Кутузова.

"Обоз наш грабит народ, – писал Ростопчин, – *извольте* мне сказать, твердое ли вы намерение имеете удерживать ход неприятеля к Москве и защищать город сей. Посему я приму все меры: или, вооружа всех, драться до последней минуты, или, когда вы займетесь спасением армии, я займусь спасением жителей и со всем, что есть военного, направлюсь к вам на соединение. Ваш ответ решит меня, а я по смыслу его действовать буду: с вами перед Москвою или один в Москве".

«Кривая баба», прямо говорившая «своим», что надобно «или спасти армию, или спасать Москву», требуя от московского главнокомандующего провианта и фуража, отнеслась только снисходительно к великодушному, но непрактичному намерению идти к нему на помощь со всяким, чем попало вооруженным, московским сбродом и вовсе не ответила о своих намерениях касательно Москвы. Когда на совете в Филях, куда Ростопчин даже не был приглашен, решили отступать —спасать что-либо было уже поздно.

«Если неприятель займет Москву, то расплывется в ней, как губка в воде, а я буду свободен действовать, как захочу», – совершенно справедливо говорил Кутузов, но Ростопчину от этого было не легче: он был прямо обманут Кутузовым, клявшимся своими сединами, что «скорее умрет, чем сдаст Москву». «Когда паны дерутся, – говорит пословица, – у холопцев чубы болят», – за недоразумение между главнокомандующими поплатились жители Москвы. Застигнутый врасплох, граф Ростопчин принужден был «faire bonne mine au mauvais jeu»[3] и, в противность прежним уверениям и похвальбам, успел только наскоро озаботиться раздачею народу оружия из арсенала – лишь бы оно не досталось неприятелю – выливанием на улицы водки из бочек и т. п. да выездом близких лиц и своей собственной особы. Последнее оказалось не легко исполнимым, как показал вызванный этим отъездом случай убийства купеческого сына Верещагина.

Эта история теперь хорошо разъяснена: полиция уведомила главнокомандующего Москвы о том, что народ, осведомленный об его приготовлении к отъезду из города, толпами валит к его дому и хочет требовать объяснения по поводу его прежних обещаний – вести их против неприятеля, – и что, пожалуй, сброд этот силой воспрепятствует его выезду. – Народу только что роздано было оружие из арсенала, и толпа явилась вооруженная винтовками без курков, ржавыми саблями и пиками – в том самом

вооружении, в котором главнокомандующий Москвы хотел вести их на Наполеона. Ростопчин, не имевший в своем распоряжении достаточно военной силы и боявшийся оскорбления достоинства своего высокого сана, решился на хитрость: как волкам, преследующим путников, бросают что-либо могущее задержать их и дать возможность людям спастись, так он вывел к бушевавшей толпе осужденного за перевод иностранного памфлета купеческого сына Верещагина и, объявив его «изменником, из—за которого гибнет Москва и Россия», велел расправиться с предателем своим судом; а когда толпа, не видевшая связи причины с действием, т. е. измены человека с отъездом главнокомандующего, не решалась «бить» – приказал драгуну рубить юношу палашом...

Еще трепещущий труп Верещагина был привязан за ноги к лошадиному хвосту, и чернь, глумясь, и ругаясь, бежала за ним по улицам. Волоча труп, толпа спустилась вниз по Кузнецкому мосту, повернула направо на Петровку, потом по Столешникову переулку на Тверскую, оттуда на рынок (Охотный ряд) и наконец тело приволокли на Софийку, где оно было брошено за ограду небольшой церкви позади Кузнецкого моста и впоследствии похоронено[4].

Граф Ростопчин тем временем сел в экипаж, поданный к заднему крыльцу, и выехал из города.

***

Известно, что покойный император Александр I не благоволил к Кутузову со времени Аустерлицкого сражения, на которое Кутузов не соглашался, а был только исполнителем плана австрийского генерал-квартирмейстера Вейнротера, того несчастного плана, который был вполне одобрен императорами русским и австрийским. Тогда вина австрийца была приписана Кутузову. Впоследствии государь, вспоминая об Аустерлицком сражении, сказал: «Я был молод и неопытен, Кутузов мне говорил, что надобно действовать иначе, но ему следовало быть в своих мнениях настойчивее». Император называл Кутузова комедиантом и плаксой и, однако, несмотря на все это нерасположение, назначил старого сподвижника Суворова, «комедианта» и «плаксу», главнокомандующим всех армий, действовавших против Наполеона, уступая в этом случае голосу общественного мнения.

Говорят, что, отправляясь к войскам, Кутузов ни себя, ни других не обольщал надеждою разбить Наполеона и высказывал надежду только обмануть его.

По прибытии к армии новый главнокомандующий, с одной стороны, польстил солдатам, громко сказавши, что с такими молодцами нельзя отступать, а с другой – подтянул офицеров, объявивши в приказе, что «в самое короткое время поймано разбредшихся до 2000 чинов и что такое непомерное число отлучившихся от своих команд солдат, во избежание службы, доказывает необыкновенное ослабление надзора господ полковых начальников». Нужно заметить, что к назначению Кутузова, встреченному радостно общественным мнением, многие, близко знавшие старого генерала, лица отнеслись недоверчиво; так, пылкий Багратион, всячески порочивший прежде Барклая, называл теперь нового главнокомандующего «мошенником, способным изменить за деньги».

После решенного на военном совете в Филях отступления, русские войска стали проходить через город на Рязанскую дорогу. Глинка видел Кутузова за заставою, сидевшего на дрожках, погруженного в глубокую думу. Полковник Толь подъехал к нему и доложил о том, что французы уже вошли в Москву. – «Слава Богу, – ответил Кутузов, – это их последнее торжество». Полки медленно проходили мимо генерала, сидевшего неподвижно, облокотясь правою рукой о колено, как будто ничего не видя, ничего не слыша.

Войска отступали городом в большом беспорядке: обозы сталкивались, различные команды отыскивали свои полки; отдельные солдаты порывались грабить. Народ обступил транспорты с ранеными –

сердобольные женщины бросали в повозки деньги, не боясь зашибить больных тяжелыми пятаками.

Если бы в это время Наполеон догадался послать на отступавших русских несколько полков своей кавалерии, то, конечно, истребил бы весь наш арриергард. – Но Наполеону в это время было не до того: он стоял за Дорогомиловской заставой в ожидании депутации города: требовал к себе «негодяя» Ростопчина, коменданта, обер-полицмейстера, городского голову – никто не являлся. Кутузов, введя его в Москву, не оставив за собой следа, свернул в сторону и надул противника: в то время, как тот объявлял Европе, что русские бегут в расстройстве по Казанской дороге, он, быстро повернув с Рязанской дороги на Калужскую, стал в заслон хлебородных, не тронутых нашествием губерний. Чья собственно была эта мысль – до сих пор точно не разъяснено, но мысль была счастливая, чреватая последствиями, выгодными для русских, гибельными для французов.

В Москве в это время была полная неурядица: из более зажиточных жителей остались только те, которые поверили афишам Ростопчина и не вывезли своего добра, в надежде, что оно будет защищено; некоторые, впрочем, может быть, надеялись половить рыбки в мутной воде; затем осталась голытьба и немало преступников; всего осталось тысяч до пятнадцати человек. Подозревавшийся в вольных мыслях почт-директор Ключарев выслан; разные носители смуты: помянутый Верещагин казнен, бывший студент Урусов, доказывавший, что приход Наполеона послужит к общему благу —сначала был засажен, потом выслан; наконец, портным, намеревавшимся бить иностранцев, была, для успокоения, своевременно, по приказанию Ростопчина, пущена кровь (!), а самые иностранцы удалены на барке в Нижний Новгород.

Как выше помянуто, перед самым вступлением неприятеля приказано было разбивать в кабаках бочки с вином – народ на них накинулся и перепился; вино текло по улицам, и люди припадали к мостовой, чтобы сосать его, при чем, разумеется, были крик и драки.

«Отец был упорный человек, – вспоминает одна мещанка, – ни за что, говорит, не пойду, нечего француза бояться, мы его шапками закидаем... Раздавали оружие в Кремле, и он себе достал ружье без курка: хоть оно, говорит, и не в исправности, а все же пригодится: может, придется француза постращать... Дошли мы до Каменного моста, тут столпилось человек сто наших, а по мосту проходили неприятельские полки. Отец вздумал погрозиться на них своим ружьем: один из них рассердился, выхватил у него ружье и ударил бедного прикладом по затылку – кровь брызнула из раны»...

«Раз сижу я под окном, – рассказывает жена священника, – и чулок вяжу. Вдруг подбежала дьячиха: матушка, говорит, ребята сказывают, что Бонапарте вышел в Дорогомиловскую да Калужскую заставу. – У меня чулок из рук выпал, я так и крикнула: Дмитрий Власьич, слышишь? – А муж сидел в другой комнате и писал. Он спрашивает: что там случилось? – А то, говорю, случилось, что Бонапарте пришел, дьячиха сказывает. – Он рассмеялся: эк ты, говорит, дура баба, дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь. Вот она графская-то афишка, ведь я ее тебе читал – поди-ка лучше да вели самоварчик поставить».

"Отправили мы в ряды кухарку за провизией, – продолжает дальше та же рассказчица, – да позвала она с собой моего двоюродного брата, Сидором Карпычем его звали. А он захватил с собою кувшинчик да деревянную ложку: медку, говорит, очень захотелось, а там стоят целые кадки, так я себе и положу.– Пришли, ряды пусты, кое—где промелькнет кто из неприятелей или из наших, забирают себе что под руку попадется. Аксинья пошла за чаем, за сахаром, а он за медом, и говорит ей: заберем, что надо, и жди меня, я живо покончу. Насыпала она чаю в салфетку и сахару битого захватила и ждет Сидора Карпыча, а его нет как нет; уж она думала: не случилось ли чего с ним. Пошла бы к нему, да боится запутаться в рядах; сижу, говорит, в лавке, да молитву творю! Вдруг слышит, он ее выкликает: Аксиньюшка, голубушка, где ты? Она вышла из лавки да так и обмерла: весь ряд пустой, идет к ней человек не человек, а чучело какое—то, она сперва не разобрала, что такое. Как они поравнялись, так девка померла со смеху: весь он с ног до головы в меду обмазан, на голове—то шапка медовая, а лицо и не разглядишь. – И рассказал он ей, что стал в

кувшин меду класть, а пришли трое каких—то и говорят: отдай кувшин. А он не дает: зачем, говорит, вы шли с пустыми руками? – Дай, говорят, кувшин! – Сидор Карпыч схватил кувшин да хотел с ним бежать. Они его догнали, отняли кувшин, озорники этакие, да бултых в медовую бочку головой! – Я, говорит, света не взвидел, совсем задыхаюсь. Стал барахтаться, кое-как голову высвободил, а ноги так и вязнут; нос, рот, глаза и все залепило. Хочу рукой лицо обчистить, а руки-то все в меду. Такой густой проклятый мед, точно в смолу в него увяз. Уж не знаю, долго ли я тут промучился, а чувствую, что у меня в голове помутилось.

Собрался я с последними силами, схватился за край кадки и вылез вон. Стал на ноги и ничего не вижу, не соображу куда идти...

Мы после об этом много лет спустя без смеху вспомнить не могли. Особливо дьячиха, шутница такая, как его увидит: не угостить ли, говорит, тебя, Сидор Карпыч, медком? ведь ты охотник!"

Французы тем временем входили в город и, по выражению Кутузова, расплывались в нем, как губка в воде; некоторые только проходили улицами и становились бивуаками по окрестным селам за городом, другие, как гвардия, помещались в самом Кремле.

«Мы были поражены чудным видом Москвы, и авангард с восторгом приветствовал город криком: Москва! Москва! – говорит Labaume. – Все бросились на высоту и наперерыв один перед другим открывали и указывали друг другу новые красоты. Дома, выкрашенные разными красками, купола, крытые железом, серебром и золотом, удивительно разнообразили вид; балконы и террасы дворцов, памятники и особенно колокольни давали нам в общем картину одного из тех знаменитых городов Азии, которые до тех пор мы считали существовавшими только в воображении арабских поэтов».

Милорадович, командовавший арриергардом, предложил Мюрату не слишком напирать и дать русским войскам спокойно отойти, угрожая в противном случае зажечь за собой город, и король Неаполитанский, с дозволения Наполеона, согласился. Передовые французские войска смешались с казаками, шедшими в тылу русской армии, и Мюрат имел случай блеснуть между «варварами» роскошью своего наряда. Он выпросил бурку у одного из старших казацких офицеров и отплатил за нее дорогими золотыми часами, взятыми у одного из своих офицеров.

По мере того, как французы занимали громадный город, они все более и более поражались его мертвенным покоем и пустынностью —полная тишина кругом невольно заставляла и их соблюдать молчание, нервно прислушиваться к гулко раздававшемуся стуку лошадиных копыт о мостовую. Самым храбрым было не по себе от этой пустоты —при длине улиц не было возможности с одного конца различать людей на другом, и трудно было разобрать, кто там впереди двигался, друг или враг! Случалось, что, охваченные безотчетным страхом, одни части войска бежали перед другими, своими же...

Солдат Bourgogne наивно выражает свое удивление пустому виду города: «Мы были очень удивлены, не видя никого: хотя бы какая-нибудь дамочка послушала нашу полковую музыку, наигрывавшую мотив „победа наша!“ Мы не знали решительно, чему приписать эту полную тишину: этакий славный город и вдруг молчаливый, угрюмый, пустой! Слышен был только шум наших шагов, барабанов и музыки – конечно, и с нашей стороны было не очень-то много разговоров! Мы только посматривали друг на друга и про себя, признаться, думали, что жители, не смея показаться на улицах, смотрят на нас в щелки ставней: оттуда ведь легко было смотреть, так что самих их не было видно. Ну как же, в самом деле: можно ли было подумать, чтобы такие богатейшие дворцы, такие красивые богатые постройки были брошены владельцами... Через час, примерно, после нашего прихода начались пожары; конечно, полагали мы, какие-нибудь грабители из наших же заронили по нечаянности огонь... Уж никак не могли и думать, чтобы народ этот был такой варвар – решился бы сжечь свою собственность и уничтожить один из лучших городов в свете».

«Во всех этих богатых домах и дворцах, – рассказывает Labaume, —мы находили только детей, стариков да русских офицеров, раненых в предыдущих битвах. В церквах престолы были убраны, как для праздника: по множеству зажженных свечей и лампад перед образами святых видно было, что до самого ухода набожные москвичи молились. Эти разительные картины народной набожности и приверженности к религии возвышали в наших глазах побежденный народ и наводили стыд на нас за сделанную ему несправедливость... Иногда под невольным впечатлением страха мы чутко прислушивались: воображение, нервно настроенное среди громадного покоренного города, заставляло нас ждать везде засад и слышать то шум и бряцание оружия, то будто крики дерущихся...»

«Простой офицер очутился квартирантом превосходно меблированных помещений, в которых мог считать себя полным хозяином, так как не видел никого, кроме покорного, униженного дворника, дрожащею рукой представлявшего ключи ото всего...»

«Я оставила свою квартиру 25 августа (6 сентября), – рассказывает г-жа Фюзиль, актриса московского французского театра. – Проходя городом, я была поражена трогательным зрелищем: улицы были пусты, кое-где только встречался прохожий из простого народа. Вдруг я услышала вдали какое-то жалостное пение – подойдя, увидела громадную толпу мужчин, женщин и детей с образами, в предшествии священников, поющих священные гимны; нельзя было без слез смотреть на эту картину населения, покидающего город со своими священными предметами... Вдруг меня позвали: придите пожалуйста взглянуть на явление в небе, это удивительная вещь – точно огненный меч – верно, быть беде! И в самом деле я увидела нечто совершенно необыкновенное, настоящее знамение...»

По разным указаниям можно считать приблизительно во сто двадцать тысяч число вошедших в Москву войск; но, исключая гвардии, французские войска на другой же день вышли из нее и расположились по окрестностям; гвардия, как выше замечено, заняла Кремль. В Москве поместились испанцы, португальцы, швейцарцы, баварский корпус, виртембергский и саксонцы. Этим постоянным пребыванием в городе «союзного элемента» и надобно, вероятно объяснить необычайность совершенных в Москве жестокостей.

По улицам встречалось множество отставших от своих частей русских солдат. Fezensac говорит, что он один остановил человек 50 их и отослал в главный штаб. «Генерал, которому я передал об этом, выразил сожаление, зачем я не расстрелял их всех, и сказал, что на будущее время он самым положительным образом рекомендует мне так разделываться с ними».

Тем временем пожары не только не прекращались, а все более разгорались.

«Страшно было, – рассказывает оставшаяся в Москве молодая девушка из купеческого семейства. – Наши жгли Москву!» – «Говорили, что свои жгут Москву, – рассказывает другой, чтобы Бонапарте из нее выгнать. Правда или нет, того я не знаю; но что наш дом подожгли, то это верно!»

Видели, например, что из одного дома (Куракина) вышел управляющий с четырьмя лакеями, которые палками гнали перед собою пьяного человека, в белом армяке, радостно кричавшего : «Как хорошо горит!» Люди Куракина объяснили, что он только что поджег дом и они ведут его к французам. Его немедленно расстреляли.

Судя по этим и многим другим свидетельствам, можно заключить, что Москва была сожжена исключительно самими русскими; однако вернее, кажется, принять, что город сожжен не по обдуманному заранее намерению, а просто, во—первых, потому, что был наполовину деревянный, а во—вторых – достался в руки неприятеля. Сначала пожар приписывали Ростопчину, который писал, между прочим, Багратиону, что в крайнем случае решился, «следуя русскому правилу: „не доставайся злодею!“ – обратить город в пепел!» К тому же заключению приводило и то обстоятельство, что он позаботился вывезти все

пожарные инструменты. Но после, по расследованию, дело поджогов оказалось более случайным, что удостоверил и сам Ростопчин: «Главная черта русского характера, – говорит он в своем объяснении, – скорее уничтожить, чем сдать врагу, пусть никому не достается... Когда наполеоновская армия заняла город, многие из генералов и офицеров отправились в Каретный ряд, где были главные магазины экипажей, выбрали и отметили своими именами то, что каждому понравилось. Владельцы лавок, с общего согласия, чтоб не быть поставщиками своих врагов, зажгли магазины». Это объяснение весьма правдоподобно и, кажется, может быть принято.

Французы сначала приписывали дело неосторожности своих и немало казнились этим. «Много офицеров прибежало укрыться во дворце, – говорит Сегюр. – Начальство, сам маршал Мортье, тридцать шесть часов уже боровшийся с пожаром, просто падали от изнеможения!.. Все молчали, все мы обвиняли себя. Всем казалось, что пьянство и отсутствие дисциплины французских солдат начали беду, а буря раздула, разнесла ее... Нам просто противно было смотреть друг на друга... Что скажет об нас Европа?! Заговаривали нерешительно, потупивши взоры, в отчаянии от такого страшного бедствия, омрачавшего нашу славу, вырвавшего у нас плоды ее, угрожавшего, наконец, нашей жизни – мы были армиею преступников, которых провидение должно было покарать, так же, как и цивилизованный мир... Эти досадные мысли стали рассеиваться только известиями о том, что жгут сами русские! Офицеры, являвшиеся с разных сторон, согласно показывали одно и тоже, сомневаться было нельзя!..»

«В среду утром, – рассказывают французы, – поднялся ураган, и огонь начал свирепствовать с невероятной силой. В один час он разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство, по ту сторону реки, превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося опустошение и ужас. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки, и, вследствие расширения воздуха от теплоты, буря еще более усиливалась; никогда Господь Бог в гневе своем не являл людям зрелища ужаснее этого: огонь решительно повсюду, грабители преследуют своих жертв, а бежать некуда! Церкви горят и дома горят. Просто ад кипит и со всех сторон все рушится... Бревна горят и катаются по улицам, головни так и сыплются; листовое железо летит с крыш, жара такая, что не продохнешь, а мостовая раскалилась, жжет ноги. Колокольни в огне, колокола срываются, падают...»

«Пожар продолжал распространяться, – говорит Labaume, – и скоро захватил лучшие кварталы города. В минуту все чудесные здания, которыми мы восхищались, были охвачены и уничтожены пламенем. Их превосходные фронтоны, украшенные барельефами и статуями, с шумом и треском летели на остатки колонн. Церкви, хоть и крытые железом, тоже рушились, а с ними и чудесные колокольни, сиявшие серебром и золотом, которыми накануне еще мы любовались. Госпитали, со множеством раненых, загорались также, и сцены, в них происходившие, раздирали душу. Почти все эти несчастные погибли, а немногие, еще державшиеся на ногах и дышавшие, полуобгорелые, выползали из—под груд обломков и пепла; многие, придавленные грудами трупов, старались освободиться на свет Божий...»

Легко представить себе, каким печальным размышлениям должен был предаваться Наполеон, бывший это время в Петровском дворце; по всей вероятности, он не смыкал глаз, как и все несчастные жертвы этой ночи, потому что около 6 часов утра один из его адъютантов отправился в ближний лагерь и попросил г-жу О., спасавшуюся там, явиться к его величеству. У ворот дворца встретил их маршал Мортье и провел до большого зала, где, в амбразуре окна, ждал ее Наполеон. – «Вы очень несчастливы, сударыня, как я слышал?» – спросил Наполеон, и затем в продолжение часа расспрашивал ее об разных предметах...

Велики же должны были быть затруднения завоевателя, если он обращался к этой даме за советом политики и администрации. Наполеон спрашивал, между прочим, что она думает об идее освободить крестьян. «Я думаю, ваше величество, – ответила она, – что они не поймут, что вы хотите сказать этим».

Не следует думать, что одна эта дама удостоилась такой чести: к нему приводили немало умников, нисколько не затруднявшихся давать советы, так как он на них напрашивался, а им советы ничего не стоили.

«Как описать все, происходившее в городе, отданном на грабеж, —говорит очевидец, – солдаты, маркитанты, преступники из тюрем и публичные женщины бегали по улицам, врывались в покинутые дома и выхватывали оттуда все, что могло им приглянуться. Одни накутывали на себя шелковые с золотом одежды, другие взваливали на плечи, сколько могли, без разбора, всяких мехов; там одевались в женские и детские шубки, солдаты и всякая уличная сволочь разодевались в придворные одежды. Толпы бросались к погребам, выбивали двери и, перепившись, шатаясь, уносили награбленное. Это безобразие не ограничивалось только покинутыми домами: солдаты врывались во все жилые квартиры и насиловали всех попадавшихся женщин. Когда генералы получили приказание выехать из Москвы, распущенность достигла крайнего предела: солдаты, не сдерживаемые присутствием начальства, дошли до чудовищного безобразия, не жалели ничьих убежищ, не щадили ни церковных, ни каких других украшений и богатств».

«Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский Собор в Кремле с гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. В этом чаянии гренадеры спустились с факелами в подземелье и взрыли, перебудоражили самые гробы и кости почивших...»

«Мы надеялись, что хоть ночь скроет от нас эти ужасы, но пожар сделался еще ужаснее в темноте: пламя, расстилавшееся с севера на юг, упиралось в небо, закрытое густым дымом. Просто леденела кровь от усилившихся еще с темнотою криков несчастных, которых мучили и убивали, воплей девушек, искавших спасения у своих матерей и только еще больше разжигавших этим ярость палачей. К этим воплям присоединялся вой собак, по московскому обычаю, прикованных в цепях у ворот домов и сгоравших вместе с ними...»

«Сквозь густой дым виднелись вереницы экипажей, нагруженных добычею и поминутно останавливавшихся; слышались крики возчиков, боявшихся сгореть, погонявших лошадей, протискивавшихся вперед со всевозможными ругательствами...»

«Мы встретили еврея, – рассказывает Bourgogne, который рвал на себе бороду и пейсы при виде горевшей синагоги, которой он был раввином. Так как он болтал немного по-немецки, то мы поняли, что вместе со многими другими своими одноверцами он снес в храм все, что имел наиболее ценного... Не могу себе представить, – говорит этот очевидец, – что бедный еврей, среди таких бедствий, не утерпел, чтобы не спросить нас, нет ли у нас чего-нибудь для продажи или промена... Он принужден был, несмотря на все отвращение, поесть с нами окорока... Стрелки, набравшие на монетном дворе слитков серебра, обещали ему променять их».

«Когда мы вошли с ним в самый еврейский квартал, оказалось, что в нем все выгорело до тла – приятель наш, при виде этого, вскрикнул и упал без чувств. Через минуту он открыл, однако, глаза и мы, давши ему оправиться, стали спрашивать, чего он так испугался: он дал понять, что дом его сгорел, а с ним, вероятно, и вся семья. Сказавши это, он снова впал в беспамятство...»

«Везде вооруженные солдаты, уходя, разбивали двери, будто боясь оставить дом неограбленным, и если новые вещи были или казались лучше прежде захваченных, они бросали старые, хватали новые, и когда повозки не могли более вместить, уносили целые горы на себе. Пожар часто преграждал им дорогу; тогда они возвращались назад и бродили по незнакомому городу из улицы в улицу, ища выхода из лабиринта огня. Несмотря на крайнюю опасность, жадность грабителей толкала их лезть прямо в огонь: в крови по трупам пробирались они туда, где рассчитывали что-нибудь найти, несмотря на то, что уголья и горящие головни падали им на головы и на руки. Конечно, они погибали бы там, если бы невыносимый жар не выгонял их, наконец, и не заставлял убегать в лагерь».

Земля была до такой степени нагрета, что нельзя было приложить в ней руку – жгло. Ноги прожигало через подошвы обуви. Растопленная медь и другие металлы, смешивались в одну струю, текли по улицам, как уверяют свидетели.

Иностранцы дивились тому, как русские жители, по-видимому, хладнокровно смотрели на свои горящие дома, должно быть, вера поддерживала их, потому что, не крича, не ломая рук и не беснуясь, они выносили из домов образа, ставили их перед дверьми и, крестясь, уходили.

«Собрались мы, – рассказывает одна мещанка, решившаяся вместе с другими бежать из города, – к старушке Поляковой; она стоит у киота и лампаду перед иконами зажигает, а сама нарядилась, словно на праздник собралась: вся в белом и на голове белый платок. Что это вы, бабушка, или не знаете, что дом загорелся? Заберем скорее ваши вещи да и уйдем с Богом: мы за вами пришли. А она говорит: „Спасибо вам, мои голубчики, что не забыли меня, а я свой век в этом доме прожила и не выйду из него живая. Как он загорелся, я надела свою подвенечную рубашку и нарядилась как покойница. Стану на молитву, и за молитвой застанет меня смерть, я готова“. Начали мы представлять резоны, что зачем, мол, вам идти на мученическую смерть, когда Господь вам помогает спастися? – „Я, говорит, не сгорю, я задохнусь, пока огонь до меня дойдет; ступайте, пора, уж и сюда дым пробирается, а мне еще помолиться надо – простимся, и уходите с Богом“. Обняли мы ее, а сами рыдаем. Она нас всех благословила, и слезы у нее на глазах навернулись. „Простите меня, говорит, грешную, если в чем перед вами провинилась, а моих увидите, – передайте им мой последний поклон“. Мы ей поклонились в ноги, как покойнице. В комнате стоял уже густой дым...»

Скромное имущество монахинь Алексеевского монастыря, спрятанное в кладовую, было разграблено; солдаты нарядились в монашеские ряски... Несколько человек поселились в келье игуменьи, где пировали двое суток и приглашали к себе молодых монахинь —одна добровольно пошла на позор, осталось известно и имя ее. «До смерти хотелось нам, немногим оставшимся молодым монашенкам, —рассказывает одна, – узнать, что там делается; мы все забились в одну комнату, отворили дверь да и стали выходить помаленьку; а подбежала старуха—монахиня: „Куда? – говорит, – сейчас назад! Вы уж и рады на военных—то глазеть! срамницы этакие! Вишь как все раскраснелись! путные бы побледнели от страху“... Была у нас одна монахиня, как их, бывало, встретит, так и выругается – они ничего! Пошла она раз к колодцу воды накачать; француз вежливо подскочил помочь ей ведра поднять – как она на него накинется! „Станем, говорит, мы после твоих поганых рук воду пить! Убирайся, окаянный, а не то я тебя оболью!“ Другой бы, кажется, осерчал, а он засмеялся и отошел».

«В Рождественском монастыре придумали молодых монахинь сажей вымазать... Идут они двором, а навстречу французы – тотчас их окружили; старухи—то начали отплевываться и показывать, что клирошанки гадкие, черные. Рассмеялись французы. Стояла тут бочка с водой, один из них налил воды в ковш и показывает им, чтобы умылись. Они сробели и хотели бежать. Французы их догнали и начали их умывать. Девочки кричат и старухи кричат, а французы помирают со смеху. Как их вымыли, начали говорить: жоли филь!»

По собранным мною сведениям, как и по словам многих очевидцев, сами французы, немилосердно расстреливали наших, были, в частном обращении, справедливее и жалостливее, чем их союзники. Священник Казанской церкви, села Коломенского, близ Москвы, рассказывал мне, со слов своего покойного тестя, что тот, будучи мальчиком, спрятался от французов в печку и, когда вечером, соскучившись и проголодавшись там, начал плакать, они его вытащили, обласкали и утешили сахаром.

Вся священная утварь этой церкви была похищена солдатами, но священник пошел к Мюрату, остановившемуся невдалеке, и со слезами умолил возвратить вещи, нужные для богослужения – их разыскали и отдали ему; надпись на одном из серебряных сосудов свидетельствует об этом.

Древний старичок деревни Новинок, помнящий стоявшего у них «француза» уверял меня, что неприятель не сделал им большого зла —только кормился их добром.

Неприятели не знали, что в Кремле находился пороховой склад, и непредусмотрительно поместили там гвардейский артиллерийский парк, на открытом воздухе, так что достаточно было одной из головешек, носившихся в воздухе, упасть на зарядный ящик – вся гвардия, все начальство с самим Наполеоном пропали бы. В продолжение многих часов участь армии зависела от всякой искры, рассыпаемой пожаром.

«Что же это ваши русские делают? – выговаривал русскому один французский генерал, – видано ли когда-нибудь, чтобы так жгли свою столицу?» – «Я не знаю, кто ее поджигает, но последствия этого для нас самые печальные». – «Это верно ваши казаки?» – «Полноте, где вы теперь увидите тут хоть одного казака?»... – «Черт возьми, они у ворот города! Вчера только что на этой самой дороге мы их прогнали; могу вас в этом уверить, потому что я сам командовал. Так не ведут войны!»

Другой французский офицер говорит иначе: «Хотя несчастные последствия московского пожара падали на нас, тем не менее, мы не могли не удивляться великодушному самопожертвованию жителей города, храбростью и настойчивостью поднявшихся до высокой степени славы, характеризующей великие нации»... Этот же писатель удивляется стойкостию русских, приговоренных к расстрелянию: «Перед казнью каждый старался притискаться вперед, чтобы первым принять удар. С видом полного спокойствия они крестились и падали под пулями солдат».

Один из московских католических священников, тоже очевидец, говорит: «Солдаты не щадили ни стыдливости женского пола, ни детской невинности, ни седых волос старух... горемычные обитатели, спасаясь от огня, были принуждены укрываться на кладбищах». – «Церковная утварь, образа и все священные вещи верующих, – говорит аббат, – были пограблены или позорно выброшены на улицы. Священные места были превращены в казармы, бойни и конюшни; даже неприкосновенность гробниц была нарушена. Никогда, конечно, города, даже взятые приступом, не подвергались большим поруганиям». Один из французских офицеров сознавался, что со времени революции не видано было такого беспорядка в армии... «Все улицы были полны человеческими трупами, перемешанными с падалью лошадей и других животных... Здесь кричали караул, и голоса замирали, захлебываясь в своей крови; там жители выдерживали в домах настоящую осаду, защищая свои очаги, уже ограбленные и переограбленные, против окончательного разорения от пьяного солдатства, доведенного до бешенства вином и этими попытками сопротивления».

«В других местах тащили по улице чуть не голых мужчин и женщин и с ножом у горла требовали открытия спрятанных, будто бы, сокровищ. Все двери лавок были настежь открыты, продавцы в бегах, товары разбросаны повсюду... Не успевала одна шайка мародеров уйти из дома, как другая врывалась и не оставляла ни рубашки, ни какого—нибудь сапога».

На улицах эти дни жителям нельзя было показываться даже и с конвоем, так как сама охрана грабила, а в случае крика или жалоб била до полусмерти. Ограбленные одевались потом во что попало, часто по-женски; грабители же почти все щеголяли в шляпах, украшенных цветами или перьями, в кофтах, в женских башмаках. Даже французские офицеры принимали участие в этом смешном маскараде. Начинал сказываться холод, и атласные меховые шубки отлично служили для защиты от него, зато их носили даже на лошади, поверх военной формы.

Мыслимо ли было скрыть что—нибудь от людей, воевавших и грабивших во всех углах Европы? Разбивались и осматривались камины и печи; глубоко рылись в земле, засовывали туда шпаги и штыки. Как сказано, разрывали кладбища, особенно свежие могилы вскрывали гробы, сбрасывали больных с кроватей и рылись в тюфяках. Лимонные и апельсинные деревья и горшки с цветами в оранжереях сбрасывались, обшаривались – не было ли в горшках запрятано что—нибудь. Даже когда проносили мертвое тело для

погребения, его останавливали и осматривали...

Однако один живший в Москве англичанин перехитрил-таки французов. Он вырыл глубокую яму, опустил на дно свои сундуки и засыпал землею. Потом, оставя до поверхности 2 аршина пустого места, положил туда мертвого французского солдата. Неприятели, приметив, что земля тут вырыта, начали было копать, но, увидя своего мертвого собрата, оставили работу.

«Нельзя себе представить картину Москвы в эти дни, – говорит Перовский, – улицы покрыты выброшенными из домов вещами и мебелью, всюду слышны песни пьяных солдат, крики грабящих, дерущихся между собою. Многие французские офицеры весьма серьезно пеняли на то, что не могут найти ни сапожника, ни портного, чтобы исправить обувь или одежду – они как будто имели на то полное право и жаловались на нас...»

Усатые-разусатые гренадеры ходили в священнических ризах, треугольных шляпах, другие в женском салопе с епитрахилью на шее или в женской мантилье, в шароварах, с каской, или в белом плаще с алым кокошником на голове. Старый воин щеголял в дьяконовском стихаре. Тут всадник верхом в монашеской рясе, с красным пером на шляпе, здесь куча солдат в женских юбках, завязанных около шеи.

Когда солдаты возвращались в свой лагерь, переодетые таким образом в самые невероятные одежды, их можно было узнать только по оружию. Еще печальнее было то, что офицеры, подобно солдатам, начали ходить из дома в дом и грабить; другие, более совестливые, довольствовались грабежом в своих квартирах. Даже генералы под предлогом розыска по обязанностям службы заставляли сносить отовсюду, где находили, вещи, которые для них годились.

«Мы пустили лошадей марш-маршем, – рассказывает г-жа Фюзиль, – и добрались до бульвара, но дом, в котором надеялись укрыться, был весь в огне. Мы ходили из улицы в улицу, из дома в дом – все было разорено... Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Вынесли из одного дома стол и несколько уцелевших стульев, что можно было, —состряпали и обедали среди улицы... Пусть представят себе этот обед среди домов в огне, некоторых представлявших уже только дымившиеся развалины. Ветер нес нам в глаза какую-то огненную пыль; тут же рядом расстреливали поджигателей; пьяные солдаты тащили по всем направлениям награбленное добро...»

И среди этих ужасов разыскивали по городу артистов: одним приказано было явиться для пения на концертах в Кремле, другим —играть в наскоро устроенном театре, в доме Познякова, где давали комедию. Репертуар был составлен, и зал приведен в порядок; занавес сшили из парчи священнических риз, которая пошла и на костюмы, благо солдаты охотно променивали ее за кусок хлеба. Партер освещала большая люстра, взятая из церкви; дорогая мебель набралась из домов частных лиц. Оркестр был составлен из полковых музыкантов, но в числе их было, будто бы, несколько русских. Собранными по церквам восковыми свечами иллюминировали не только этот театр, но и некоторые из уцелевших домов, где давали балы. Французы, вальсируя друг с другом, приставали к русским: ou sont Vos Barines? Ou sont Vos demioselles?[5] и высказывали наивное сожаление, что не могут с ними хорошенько поплясать.

Ни Наполеон, ни маршалы не посещали новоустроенного театра, но многие генералы и масса офицеров и солдат ежедневно наполняли зал.

Временного веселья было не занимать стать тогда по Москве между победителями. "Так как, может быть, пришлось бы пробыть здесь долго, – говорит Bourgogne,– то у нас было кое-что припасено на зиму: семь больших ящиков игристого шампанского и много порто; пятьсот бутылок ямайского рома и более сотни голов сахара – все это для шестерых унтер-офицеров, одного повара и двух женщин. Говядины было мало, но у нас была корова... Много было также окороков, которых мы отыскали громадное количество. Прибавьте к этому большой запас соленой рыбы, несколько мешков муки, два бочонка жиру, который мы

приняли было за масло, также много пива. Мы спали в бильярдной, на отличных мехах соболей, куниц, на тигровых, медвежьих и лисьих шкурах; голову обвязывали тюрбаном из кашмировых шалей.

"Отлучавшиеся возвращались нагруженными всем, что только можно себе представить чудесного и богатого. Между замечательными вещами было несколько серебряных риз с образов, с прекрасными тиснеными украшениями; приносили также слитки серебра величиною в кирпич; затем были головные украшения, индейские шали, ткани из шелка, затканные серебром и золотом.

Мы, унтер-офицеры, имели право брать себе от солдат двадцать процентов с приносимого ими.

Прежде всего мы позаботились нарядить наших русских женщин по-французски, маркизами, и, так как сами они ничего в этом не смыслили, то двое нас, я и товарищ мой Flamant, занялись их туалетом. Наши Flamant маркизом – словом, всякий из нас оделся по своему вкусу. Наша маркитантша, тетушка Dubois, подошедшая на этот случай, одела богатое платье русской боярыни. Так как париков не было маркизам, то ротный цирюльник взялся их причесать: намазал головы салом и посыпал мукой вместо пудры; затянуты они были отлично.

И вот, когда все было готово, мы принялись танцевать. Надобно сказать, что во все время этих приготовлений к балу мы пили пунш и что маркизы наши и маркитантша, хотя и крепкие на хмель, после нескольких больших стаканов были уже сильно выпивши. Оркестр представляла флейта, на которой играл наш старший сержант, ему вторил барабан. Начали с мотива «зададим им жару», рам, рам, рам, там, плам, тире, лир, лам, плам. Но только что раздались звуки флейты и барабана, в ту самую минуту, как тетушка Dubois стала выходить со своим vis-a-vis, наши маркизы, должно быть, под влиянием удалой музыки, принялись вдруг выпрыгивать по-татарски, направо-налево: выкидывают ногами, откидывают руками, сгибаются, разгибаются – просто сам чёрт в них влез!

Если бы они были одеты по-русски, оно было бы не так смешно, но видеть французских маркиз, как известно, держащих себя чинно, так бешено прыгающими, было до того потешно, что мы треснули со смеха, а флейта наша просто покатилась и не могла продолжать – бил один барабан, и то ... тревогу! А маркизы наши снова принялись за то же, пока, наконец, не попадали на пол от усталости. Мы им давай аплодировать, подняли их, опять стали пить и плясать, так до четырех часов утра...

На смотру полковник, оглядев помещение солдат, спрашивает: а унтер-офицеры хорошо помещены? – Очень хорошо, – ответил ему адъютант, – ввел полковника в нашу квартиру и давай отворять двери, показывать наши комнаты, да вдруг и открыл в одной из них наших птичек – сейчас же он закрыл дверь к ним и ключ спрятал в карман. Когда осмотр кончился, он показал мне ключ и, смеясь, сказал: «А, голубчики! у вас дичинка в клетке, а вы об ней ни гуту! Что эти барышни у вас там делают, где вы их отрыли: нигде этого добра не видать, а вы раздобылись!» – Тогда я рассказал ему, как я их нашел, и объяснил, что они нам моют белье. – «В таком случае, – сказал он, – дайте их нам на несколько дней, пусть они помоют и наши рубашки, очень грязные – надеюсь, как добрые товарищи, вы не откажете в этом?» В тот же вечер он их увел и, надобно думать, что они перемыли все офицерские рубашки, потому что воротились к нам через неделю".

Немало веселились и в Кремле. «При всех Кремлевских воротах, – говорит автор „Журнала“, – стояли на часах гвардейские гренадеры; они были одеты в русские шубы, опоясаны кашмирскими шалями. Подле них стояли хрустальные вазы в полсажени каждая, полные самым деликатным вареньем из разных фруктов, с большими деревянными суповыми ложками. Около этих ваз было навалено множество всевозможной формы бутылок, которым, для быстроты, отбивали горлышки. Некоторые солдаты поснимали свои лохматые шапки и надели московские и все были более или менее пьяны. Сложивши свое оружие, они отбывали службу со своими суповыми ложками и не пропускали никого, кто отказывался пить с ними, что требовали именем великого могола, китайского императора и др.»

Грабеж был, наконец, официально запрещен, но тем не менее он продолжался; несмотря на приказы, уходили целые роты, батальоны, с которыми грабили сами офицеры. Запрещение отлучаться повторялось, но совершенно бесполезно. Тогда стали развешивать по городу строжайшие приказы с угрозами и расстреливать ослушников – это произвело свое действие. Жители стали понемногу выходить из своих подвалов и не узнавали Москвы! Она превратилась в огромные пространства развалин, между которыми едва можно было различить прежние улицы. Везде на улицах и на дворах валялись трупы людей, большею частью из простонародья, мертвые лошади, коровы, собаки; встречалось немало трупов повешенных: это были поджигатели или заподозренные таковыми; они были сначала расстреляны, потом повешены, и мимо всего этого солдаты проходили с величайшим хладнокровием.

До четырнадцати тысяч домов были обращены в пепел и в числе их множество настоящих дворцов, из которых каждый стоил от 100 до 200 тысяч рублей. Сгорело шесть тысяч лавок малых и больших, между последними некоторые магазины громадной цены. Так как никто не ожидал, что город будет предан пламени, то можно только представить себе, сколько богатства погибло.

Как уже сказано, несмотря на обилие вин, сахара и т.п., довольно трудно было достать хлеба; говядины тоже было мало. Приходилось посылать сильные партии для фуражировки в леса, куда скрылись со скотом крестьяне, но часто фуражиры возвращались вечером ни с чем – таково в конце концов было изобилие, доставленное грабежом. Между тем, достоверный очевидец, аббат Sirugue, говорит, что если бы власти правильно завладели всеми запасами муки, водки и вина и учредили какой-нибудь порядок в распределении всего этого, то найденное в Москве могло бы с лихвою прокормить всю армию в продолжение зимних месяцев. Теперь же вышло, что в начале вино и водка выпускались из бочек, для развлечения, прямо в погреба, до того иногда переполненные, что, случалось, солдаты тонули в них; потом, при наступивших холодах, стал ощущаться недостаток в этих предметах первой необходимости.

Подмосковные жители села Останкина приехали было в Москву на 30 подводах с овсом и мукою – все было куплено и за все заплачено; их отпустили назад и наказали непременно приезжать опять. Но едва они выехали за город, как неприятельские отряды напали на них, избили, отняли лошадей, а самих крестьян возвратили в Москву и заставили работать. Еще два другие крестьянина из выискавшихся охотников продавать французам сельские произведения были ограблены. После этого, конечно, не оказалось желающих торговать с неприятелем и, несмотря на все старания и заманивания Лессепса и его русских помощников, не удалось восстановить безопасности и свободного обмена.

В самой Москве, впрочем, менее боязливые и более чуткие к наживе жители стали под конец ближе сходиться с неприятелем, не так бояться его, и происходили интересные сцены с объяснениями языком, кулаком и ружейными прикладами. Найденное на монетном дворе большое количество меди дало возможность платить французским солдатам жалованье этою монетой. Как только императорская гвардия начала продавать свои мешки в 25 рублей медью, тотчас же стая хищных птиц из жителей направилась на Никольскую, где было главное место продажи; там сначала по 50 коп., потом по рублю, можно было получить сколько угодно этих мешков с медью, и говорят, что тут было положено начало богатству некоторых первостепенных купеческих домов в Москве. Трудно было, однако, уносить их по причине их тяжести, тесноты и давки от толпы. Женщины жадно взваливали себе мешки на оба плеча, но не успевали сделать и нескольких шагов, как какой-нибудь силач отнимал у них добычу и убегал с нею. Крики, брань, драка, – все смешивалось.

«Мусью, мусью! подарите». – «Что даешь?» – «Але! Але!» —"Подарите, мусью!" – и затем град ударов обнаженною саблей, но на это не обращали внимания, так как нажива была слишком близка и велика... На другой день несколько солдат, поместившись под окнами присутственных мест, устроили разменную кассу: они получали сначала деньги, следующие за мешок, потом бросали его из окна – все толпилось и дралось,

чтобы пробраться поближе к продавцам. Несмотря на удары и даже ружейные выстрелы, посылаемые иногда в толпу для водворения порядка, народ не переставал напирать и бешено кидаться на выбрасываемые из окна мешки.

В Москве в это время было три кабака; деньги собирали французы, а приказчиками служили русские – и тут стояли толкотня, крики и драки.

В глухих местах, подвалах и по окраинам города было перебито немало неприятельских солдат: по освобождении Москвы их находили зарытыми в садах, огородах и брошенными на дно колодцев. По рассказу одного воспитанника духовного училища, он «прислуживал в доме на окраине города, где жил отряд неприятельских гусар. Раз вечером он заметил, что кто-то, то пригибаясь, то приподнимаясь, смотрел в освещенные окна. Он окрикнул и спросил: что ты высматриваешь? Незнакомец отскочил от окна, подошел и, узнав о горькой участи семьи малого, отвел его в глубь сада, где показал под сермягою казацкую форму. Он расспросил мальчика, сколько именно живет в доме гусаров, в которой комнате они спят, где хранится их оружие, где стоят лошади, и пригрозил не болтать. Через день суматоха ранним утром разбудила мальчика – гусары были все перебиты. Много было подобных случаев, – французам недаром виделись везде проклятые казаки».

В общем положение неприятеля в городе стало принимать тревожный оборот. Прокламации к жителям с восхвалением мудрости, милосердия и великодушия Наполеона и приглашением, возвратившись в свои дома, мирно предаться прежним занятиям – не имели никакого действия: кто мог бежать, скрывался из Москвы и в последние дни. Вступить в торговые отношения с окрестными жителями, как сказано, не удалось отчасти из-за недостатка дисциплины и безопасности в городе, отчасти из-за того, что само общество крестьян стало очень строго относиться к тем из них, что пробовали завязывать эти сношения – их стали наказывать смертью, как изменников родине и царю.

Измены со стороны русских в Москве было сравнительно немного, а от дворян совсем мало: кроме шталмейстера Загряжского, умышленно оставшегося в городе, угождавшего французам, особенно другу, будто бы, своему, Коленкуру, и часто бывшего в своем шитом мундире у Наполеона, можно назвать Самсонова, прислуживавшего Даву, и еще разве очень немногих.

Духовенство столичное держало себя достойно – не было и подобия слабости, проявленной на западе. Некоторые из оставшихся священников пытались возобновлять Божественную службу, очищали, запирали свои церкви, но в них снова выламывали двери и замки, рвали церковные книги и бесчинствовали. Едва ли не один священник Новинского монастыря Пылаев оказался слишком уступчивым: вызвался потешить Наполеона и отслужил в Успенском соборе литургию под архиерейским облачением, так как французский император пожелал видеть архиерейскую службу.

Были молодцы из русских и иностранцев, эксплуатировавшие затруднительное положение неприятеля и самого Наполеона; так, явился в Кремль поляк, казавшийся человеком хорошего общества, и объявил, что он подослан русским главнокомандующим для разведок. Наполеон сам продиктовал ответы на вопросы, будто бы данные русским генералом, вручил их незнакомцу, хорошо наградивши его – и тот не возвращался. – Некая красивая дама, музыкантша, назвавшаяся немецкою баронессой, предложила тоже свои услуги, получила несколько тысяч франков и – тоже пропала.

Между купцами трех гильдий оказалось больше всего людей, согласившихся вступить на службу к завоевателю; было несколько чиновников, лекарей, учителей и немало разночинцев. Из зажиточных, большинство вступили в учрежденный «муниципалитет» под принуждением и угрозами; члены этого муниципалитета носили на руках перевязки из белых и красных лент и в случае надобности могли требовать от французского начальства вооруженного вмешательства.

Купец Кольчугин, например, объяснил невыезд свой из города тремя причинами: 1) из-за ручательства главнокомандующего через афиши в том, что Москва не будет добровольно сдана; 2) из-за того, что паспорта в последнее время выдавались только женщинам и детям; 3) из-за семейных и торговых соображений. Большинство, конечно, могло бы привести те же резоны. Все они: купцы Коробов, Бакинин, Лешаков, помянутый Кольчугин и, особенно, принявший должность городского головы купец Находкин, уверяли потом, будто объявили, что не намерены делать ничего противного вере и государю, на что французский губернатор Лессепс будто поспешил ответить, что «ссора между императором Наполеоном и императором Александром до них не касается и что единственною их обязанностью будет смотреть за благосостоянием города».

Согласно этому последнему заявлению, обязанности муниципалитета были разделены на такие рубрики: «Спокойствие и тишина», «Мостовые», «Квартирмейстерская часть», «Закупки», «Правосудие», «Надзор за богослужением», «Попечение и надзор за бедными», «Комиссары и помощники» (пристава).

Московский купец Осипов поднес Наполеону хлеб-соль на серебряном блюде, за что дом его не велели трогать и ему дан подряд по продовольствию. Однако, когда, для исполнения этого поручения, он потребовал необходимое число подвод, Наполеон велел ему сказать, что повесит его, коли он станет рассуждать.

Городской голова Находкин был награжден за свои услуги 100000 рублей фальшивыми бумажками, не принесшими ему пользы.

По уходе неприятеля, все эти господа, с их шелковыми перевязями, по приказанию Ростопчина, сгребали под караулом снег на московских улицах.

Иное было поведение купца Жданова. По внушению помянутого Самсонова, клеврета маршала Даву, ему было поручено этим последним, идти в Калугу, рассмотреть и расспросить, сколько русской армии, кто начальник ее, кто начальники частей, куда идет армия? Укомплектованы ли полки после Бородинского сражения, подходят ли еще войска? Что говорит народ о мире?

Разгласить, что в Москве хлеб весь цел. Распустить слух, что хотят зимовать в Москве. Если российская армия идет на Смоленскую дорогу, то, не доходя до Калуги, возвратиться в Москву как можно скорее. Возвратясь, ни в чем не лгать, говорить только о том, что подлинно видел и слышал. Это предписание под великим опасением никому не открывать и даже жене не сказывать, куда идешь. Возвратясь назад, на первом французском посте объявить о себе, для представления князю Экмюльскому. – В случае успешного возвращения обещано 1000 червонцев награды и дом в Москве; в случае измены должно было ответить семейство, оставшееся в залог.

Жданов не задумался явиться к Милорадовичу, открыть причину, по которой был выпущен из Москвы, и рассказать о поручении, данном ему французами... Его успокоили, обласкали, вдобавок, каким—то чудом, семья его осталась цела.

Нельзя не сделать упрека Ростопчину в том, что, во время пребывания французов в Москве он проживал в недальнем расстоянии от нее, в сравнительной бездеятельности, – почему как горячий патриот не посвятил он себя делу организации партизанской войны? Деньги, средства и власть на то у него бесспорно были. Тут Ростопчин оказался не на высоте обстоятельств, неудержимою волной смывших все его детские соображения об истреблении неприятеля, с высоты воздушного шара, и защите столицы московскою голью, вооруженною чем попало, вместе с пышными фразами его всеподданнейших донесений и каламбурами знаменитых «афиш».

***

Французская армия вышла из Москвы и значит 303 орудия, втащенные на кремлевские стены, оказались лишнею роскошью; но этот Кремль должен был быть наказан, хотя бы за то, что его нельзя было захватить с собою, как захватили гигантский крест с Ивана Великого и некоторые другие «трофеи»; все стены, соборы и дворец приказано было взорвать... Жаль, так как если трехсаженный крест стоило везти до Парижского дома Инвалидов, купол которого он назначен был украшать, то не менее логично было бы перевезти хоть часть кремлевской стены, с башнями, для обвода, например, Тюльерийского сада – оба трофея послужили бы памятником силы и превосходства европейской цивилизации над азиатским варварством.

Без панталон, без башмаков, в лохмотьях – вот каковы были выходившие из Москвы солдаты армии, не принадлежавшие к императорской гвардии, одетой несколько лучше. Шли и ехали врассыпную, кто где случится, не так, как обыкновенно выходят полки из больших городов – стройно, в порядке.

«Французы шли настоящими нищими, – говорит одна купчиха, —не хуже нас обносились. Все в лохмотьях, обернувшись во что попало: тут и зипуны, и женские юбки, и поповские ризы, стихари – чего хочешь, того и просишь».

Уцелевшие от пожара дома оказались донельзя загажены: «В доме французы пакостили на полу в мраморной зале, и войти туда не было возможности. Картины были вырваны из рам и увезены. Вырезывали и увозили даже переплеты с больших книг! В доме князя Б. жил маршал Бессиер, и величественная библиотека и зал – вероятно, свитою маршала, – обращены тоже в безымянное место».

Маршал Мортье был оставлен в Кремле с молодою гвардией, с приказом во всеуслышание объявлять невероятными слухи о совершенном оставлении города, так как Наполеон, разбивши русские войска, намерен будто бы воротиться – но никто не верил этому и все скомпрометировавшие себя, начиная от французских торговцев, кончая русскими девицами легкого поведения, последовали за армией.

Мины под Кремлем были расположены таким образом, что огонь должен был сообщиться им по выступлении Мортье с последними войсками и всеми тяжестями, которые возможно было увезти; остальные тяжести назначено было сжечь – таковых оказалось много, считая в том числе немалое количество провианта, который отдельные части, не в силах будучи поднять своими средствами, без церемонии бросали – еще одно из последствий беспорядочного, неорганизованного грабежа.

Ночь взрыва была очень темная. В полночь огонь подошел к минам, подложенным под арсеналом, и раздался первый удар, за которым через короткие промежутки последовали шесть других. Действие взрыва было просто ужасно – огромные камни были отброшены на пятьсот шагов, чуть не все оставшиеся еще в Москве оконные рамы и двери были выбиты и, конечно, не осталось цельных стекол – осколки их врезывались в соседние стены, камни влетали в комнаты. Упали 2 башни, также часть стены и арсенала, дворец и пристройки к колокольне Ивана Великого; самая колокольня пошатнулась, дала трещину, но устояла.

В общем, результат, сравнительно с тем, что было предположено, был ничтожен: задумано было взорвать все стены, со всеми башнями и все кремлевские постройки; Наполеон был вполне уверен в том, что именно это было сделано, и объявил Европе о полном уничтожении Кремля: «Москва не стоила того, чтобы ее продолжать занимать, – разве только Кремль! Но Кремль, после 15 дней работы по укреплению, был найден не стоящим хлопот. Москва оказалась настоящей клоакой нечистот и заразы...» – Ростопчин справедливо удивляется, зачем Наполеон жил 5 недель в этой «клоаке нечистот и заразы» – не стоило жертвовать чем бы то ни было для предмета, не имеющего никакой стратегической важности и утерявшего всякую политическую силу... Император велел взорвать Кремль и Арсенал, казармы, магазины; все разрушено —старая крепость, построенная при основании самой монархии, первые дворцы царей – все уничтожено!"

Конечно, разрушение или попытка разрушения Кремля была только выражением злобы и мести со стороны Наполеона – мести жестокой и бесполезной. Меру эту нельзя объяснить ни с политической, ни со стратегической точки зрения, так как Кремль, при современных условиях науки, был даже не крепость и не цитадель, а просто красивое возвышенное место, обнесенное стеной. Особенно ярко выступает желание хоть чем-нибудь отомстить за неудачи в приказе взорвать все соборы и колокольню Ивана Великого, конечно, ничего общего не имевшими ни с политикой, ни со стратегией.

«В самый день ухода французов, – рассказывает одна женщина-очевидец, – нас разбудил в нашем доме такой гром и треск, что мы света не взвидели. Земля дрожала под ногами, как живая, и мне казалось, что еще минута и своды подвала обрушатся над нашими головами. Раздался еще взрыв и камни градом полетели во все стороны. Наконец, при третьем взрыве так потрясло церковь над нами, что она треснула сверху донизу».

Не только вся Кремлевская площадь была покрыта известью, листовым железом, сорванным с крыш, и кирпичами, но все это летело за Москву-реку, и Полянка была обсыпана.

«23/11 октября, в час с половиною ночи, – говорит Сегюр, – воздух потрясся страшным взрывом... Мортъе выполнил данное ему приказание и... Кремль приказал долго жить: бочки с порохом были положены во всех покоях дворца и сто двадцать три тысячи килограммов (до 7000 пудов) под сводами его. Маршал оставался на этом вулкане, который мог взорваться от одного русского снаряда, и прикрывал движение армии на Калугу, выход раненых и других обозов на Можайск».

«Земля поколебалась от силы взрыва под ногами Мортье. За восемьдесят верст, в Фоминском, император слышал этот взрыв и в гневных выражениях объявил об нем на другой день, из Боровска, Европе; объявил, что он оставляет эту помойную яму – Москву, в добычу русским нищим и ворам, а сам идет на Кутузова: отбросит его и спокойно пойдет к Двине, где станет на зимние квартиры. Потом, боясь, чтобы не подумали, будто он отступает, Наполеон прибавил: таким образом он, на 80 лье, приблизится к Вильне и Петербургу, на 20 переходов станет ближе к своим запасам и своей цели – отступление было представлено наступлением».

«Москва, – говорит m-me Fusil, – имела какую—то особую прелесть, которую уже невозможно воротить; может быть, она будет опять хорошим городом, но городом похожим на другие, тогда как прежде она напоминала не то Испагань, не то Пекин – вполне азиатский город...»

КАЗАКИ

Выступившая из Москвы неприятельская армия скоро всецело поступила на попечение казаков, окружавших, провожавших ее до самой границы и далее и надоевших ей на этом долгом пути до такой степени, что вскоре французская нация, а за нею и вся Европа, без ужаса не произносили слова «казак», сделавшегося синонимом варварства, бессердечия, алчности, вероломства и жестокости; в сущности, казаки, преследуя и истребляя по мере своих сил неприятеля, только исполняли свою прямую обязанность, и если дело не обошлось без проявлений жестокости и алчности, то, наоборот, бывали случаи и гуманнейшего отношения их к своим врагам.

«Казаки, – говорит Constant, – как будто созданы для того, чтобы составлять с лошадью одно целое. Ничего нет смешнее походки их, пеших: ноги, привыкшие бить по лошадиным бокам, какие-то выгнутые, похожие на железные клещи; когда они сойдут на землю – сейчас видно, что им не по себе. Лошади маленькие, с длинными хвостами и, по—видимому, очень послушные. Когда император выезжал в Гжатск, за ним ехало двое этих варваров. Он приказал дать им водки – они выпили ее, как воду, и смело подставили снова свои стаканы, дескать: еще!»

Отдельные отряды и обозы очень страдали от казаков; так, на Можайской дороге, 300 человек их напали на лагерь обоза в 350 фур, шедших под прикрытием четырех кавалерийских полков и двух батальонов пехоты, и так перепортили все упряжки повозок, что те не могли двигаться далее.

Fain иронически замечает, что «если Кутузов слаб в правильной битве, то на большой дороге очень силен». Дерзость этих недисциплинированных орд, по словам его, не знает пределов. «Они торчат перед нами, сзади нас и с флангов – что ни шаг, то они тут! Разве, может быть, дорога на Вязьму отделит нас несколько от них».

Но с Вяземского сражения пехота русская, шедшая стороною для перегорождения французам пути впереди, не показывалась на большой дороге, и арриергард Нея опять имел дело только с казаками, «надоедливыми насекомыми», по выражению Сегюра. На своих маленьких лошадках, хорошо подкованных и приученных бегать по снегу, они не покидали отступавшую армию.

«В довершение беспорядка нашего отступления, которого одного было довольно, чтобы нас погубить, – говорит Bourgeois, —казаки ежеминутно налетали на нас... Как только наши завидят их, так сейчас бросаются в стороны, одни очертя голову, другие в некотором порядке, под прикрытие вооруженных групп, кое-где державшихся... Число бредших отдельно было так велико, что казаки брали далеко не всех, а выбирали своих пленных; они забирали только тех, что казались получше одетыми и обещали какую-нибудь поживу, других же пропускали, будто не замечая...»

Платов совершенно расстроил, почти уничтожил отряд принца Евгения, убил 1500 и взял в плен 3500 человек, захватил 62 пушки, знамена и множество багажа.

Наполеон назвал казаков в одном из своих бюллетеней: «презренная кавалерия, только шумящая, но неспособная прорвать роту стрелков, сделавшаяся страшною только при данных обстоятельствах». Он не знал или не принимал во внимание, что казацкое войско совсем отлично от регулярной кавалерии, что казаки сражаются только тогда, когда наверное рассчитывают одержать победу – ему бы нужно было видеть того казака, который, нарядившись в мундир его «храброго из храбрых» маршала Нея, преспокойно справлял свои казачьи обязанности, чтобы понять, сколько наивной удали в этих «сынах степей».

Констан пресерьезно уверяет, что Неаполитанский король имел большое влияние на «этих варваров», т. е. казаков. Один раз, будто бы, императору говорили, что они хотят провозгласить Мюрата своим

гетманом, и Наполеон, посмеясь этому предложению, ответил, что не прочь поддержать избрание. Будто бы Неаполитанский король, своею осанкою и своим богатым театральным костюмом, очаровывал казаков и... один взмах его огромной сабли обращал в бегство целые орды «этих варваров».

Автор «Journal de la querre», рассказывает о том, что, несмотря на свое критическое положение, во время отступления, они искренно посмеялись над одним из налетевших на них казаков, схватившим тюк тонкого полотна и бросившимся с ним наутек: так как он успел схватить кусок только за один конец, а французы держались за другой и не выпускали из рук, то полотно продолжало все развертываться до тех пор, пока «варвар» не скрылся в лес.

В захваченном казаками собственном обозе Наполеона всего больше понравились им и офицерам бутылки с буквами N и императорскою короной – в бутылках было старое Шато-Марго!

Интересны захваченные казаками походные кровати Наполеона, находящиеся теперь в Москве, в Оружейной палате: одна побольше, расставлявшаяся в городах и местах более долгих остановок, другая небольшая – для повседневного употребления. Чехлы на кроватях лилового шелка, снабжены карманами для книг, бумаг и приходивших ночью донесений.

После множества павших на казаков обвинений, частию, вероятно, справедливых – может быть, не лишнее будет привести несколько свидетельств самих французов, указывающих на казачье добродушие.

«Наша артиллерия была взята в плен в битве (под Тарутином), —говорит автор „Походного журнала“, – артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу и уже изрядно выпившие, вздумали закончить день – радостный для них и горький для нас – национальными танцами, при чем, разумеется, выпивка была забыта. Сердца их размягчились, они захотели всех сделать участниками веселья, радости, вспомнили о своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим приглашением только как отдыхом от своей смертельной усталости, но потом, мало-помалу, под впечатлением дружеского обращения, присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам так это понравилось, что они совсем разнежились, и когда обоюдная дружба дошла до высшей точки – французы наши оделись в полную форму, взяли оружие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками – их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своим частям».

Вот еще рассказ пленного солдата морской гвардии: "Пока мы грелись около нескольких сосновых полешков, подошел казак, высокий, худой, сухой, до того свирепый видом, что мы невольно попятились. Он подошел к нам по-военному и стал что-то говорить, но мы не понимали; вероятно, он спрашивал о чем—нибудь. В нетерпении на то, что мы ничего не поняли, он сделал знак недовольства, обеспокоивший нас: однако, заметивши это, он в ту же минуту придал своему лицу доброе выражение и, увидев, что одежда моего приятеля была в крови, выказал желание осмотреть его рану и сделал знак следовать за ним.

Он свел нас в ближайшую избушку. Вышла женщина, которой он приказал постлать соломы и согреть воды, а сам ушел, дав понять, что воротится. Она бросила нам немного соломы, но позабыла о воде, а мы не смели слишком настойчиво напоминать ей. Когда он воротился, то прежде всего спросил жестом: ели ли мы? Мы отрицательно покачали головами. Вероятно, он потребовал от женщины, чтобы она дала нам поужинать, и за ее отказ крепко стал бранить ее. Тогда она показала ему чашку с каким-то варевом и, по-видимому, уверяла его, что больше у нее ничего нет. Казак стал шуметь, даже грозить, но безуспешно – она поставила только греть воду для нас. Он опять ушел и скоро воротился с куском соленого свиного жира, на который мы набросились, несмотря на то, что он был сырой. Пока мы ели, казак смотрел на нас с видимым удовольствием и рукою показывал, чтобы мы не наедались сразу.

Когда мы понасытились, он снова что-то стал говорить женщине, как мы поняли, насчет нашей перевязки. Он требовал от нее тряпок, но та отговаривалась, отбивалась со словами: «нема, нет». Тогда почтенный воин, взявши ее за руку, заставил перерыть все углы избы, но ничего не добыл. Рассерженный таким упрямством, он вынул свою саблю: крестьянка закричала, а мы, тоже подумавши, что он убьет ее, бросились к его ногам. Он улыбнулся нам, как будто хотел сказать: «Вы меня не знаете, я хочу только попугать ее».

Женщина вся дрожала, но все-таки ничего не давала; тогда он снял сюртук, скинул рубашку, разрезал ее саблею на бинты и стал перевязывать наши раны. В продолжение этой работы он все время говорил, вставляя в свою речь много польских и немецких слов; но если это бормотанье было нам мало понятно, то самые поступки хорошо указывали на благородство его чувств. Он старался, кажется, дать нам понять, что знаком с войной уже более 20 лет (ему было около 40), что он был во многих больших битвах и понимает, что после победы нужно уметь быть милостивым к несчастным. Он показал на свои кресты, как бы давая понять, что такие доказательства храбрости налагали на него известные обязанности. Мы только радовались этому великодушию, и он мог, конечно, прочитать на наших лицах выражение нашей благодарности. Я хотел бы ему сказать: товарищ, будь уверен, что твое благодеяние никогда не изгладится из нашей памяти. Только двое здесь свидетелей твоего человеколюбия, потому что эта женщина не оценит его, но скажи нам твое имя, чтобы мы могли передать его и другим нашим товарищам. Он стоял на коленях, но потом, уставши, сел на пол, посадив меж ног моего товарища, подставившего ему свою раненую спину; он вымыл, вычистил рану плеча с величайшим вниманием и старанием и, как будто спрашивая моего совета, намеревался, с помощью дрянного ножичка, у него бывшего, вытащить засевшую пулю. Он попробовал открыть края раны, но приятель так вскрикнул, что казак остановился и, упершись в его голову своею головой, видимо стал извиняться за причиненную боль. Я не утерпел перед таким нежным вниманием и, схвативши его руки, крепко пожал их: собравши в голове все, что знал польских, русских и немецких слов, я хотел было говорить, но не мог – от умиления глаза мои были полны слез!

«Добре, добре, камарад!» – сказал он мне, торопясь окончить перевязку, для которой, кажется, боялся, что не хватит времени. Когда пришел мой черед, добрый казак осмотрел рану и, положивши указательный палец на палец мизинца, показал, что она не более нескольких линий в глубину и что она закроется сама собою – должно быть, удар пики был смягчен одеждой.

Он еще возился с нами, когда один из его товарищей позвал его с улицы: Павловский! – так узнал я его имя – и он ушел, сопровождаемый нашими благословениями.

Мы уж думали, что не увидим более этого бравого казака, но он пришел на другой день очень рано и осмотрел перевязки наших ран. Он принес нам также по два русских сухаря, выразивши сожаление, что не мог сделать большего..."

ВЕЛИКАЯ АРМИЯ

Наш Граббе, еще в начале кампании ездивший во французский лагерь, заметил, с какой небрежностью и в каком беспорядке стояла французская конница.

"Я с первых же дней был поражен, – говорит Fezensac, —изнурением солдат и их телесною слабостью. В главном штабе знать ничего не хотели кроме результатов, не принимая во внимание, чего эти результаты стоили; там не имели никакого понятия о положении армии.

В четырех полках, например, было по 900 человек вместо 2800 перешедших Рейн, при начале кампании. Вся одежда и особенно обувь была в очень дурном состоянии. Войска имели тогда еще немного муки, несколько стад быков и овец, но все это скоро вышло и, чтобы раздобыться снова, приходилось постоянно переменять место, так как в 24 часа все на пути истреблялось..."

Император высказал в разговоре с Нарбонном, что он определяет в 130000 человек соединившуюся под Смоленском русскую армию. У себя он полагал в это время 170000 готового к бою войска, с гвардиею, кавалериею, 1-м, 3-м, 4-м, 5-м и 8-м корпусами.

Под Смоленском Rene Bourgeois признает потерю в 6000 человек убитыми и более 10000 ранеными; с пленными и пропавшими без вести можно, следовательно, определить убыль французов в 20000 человек.

«Русские, – говорит тот же автор, – должны были иметь те же потери». Однако в XIII бюллетене император не стесняется утверждать, что на поле битвы один французский труп приходился на 8 русских; кроме того, он утверждает, что русские солдаты, пользуясь близостью их деревень, дезертируют... Далее Наполеон признает, что генерал Себастиани был разбит и должен был целый день отступать, но определяет его потерю только в 100 человек – всюду самое бесцеремонное сглаживание своих потерь и преувеличение русских.

Однако это отступление одного из лучших генералов так явно было признано неудачей, что император не решился оставить армию под впечатлением ее и выступил к Москве.

«Чтобы дать понять глубину нашего бедствия среди этих кажущихся побед, – говорит Labaume, – достаточно сказать, что все мы сбились с ног от настойчивого систематического отступления русских. Кавалерия таяла, пропадала и оголодавшие артиллерийские лошади не могли более везти орудий».

Все это было еще по дороге в Москву и должно было бы внушить опасения Наполеону, но он только смеялся, искренно или нет, над русскими: «Посреди всех этих поражений, – говорит он в XIX бюллетене, – русские служат благодарственные молебны, все обращая в победы, но, несмотря на невежество и низкий уровень развития этих народов, такой прием начинает казаться смешным и грубым».

Под Бородиным русские редуты найдены были только обозначенными, рвы неглубокими, без защиты, тем не менее, русские отстаивали их так, что, по словам Labaume, середина «большого редута» представляла невыразимо ужасную картину: трупы были навалены один на другой в несколько рядов. Русские гибли, но не сдавались; на пространстве одного квадратного лье не было местечка, которое не было бы покрыто мертвыми или ранеными... Дальше виднелись горы трупов, а там, где их не было, валялись обломки оружия, пик, касок и лат, или ядер, покрывавших землю, как градины после сильной грозы. Самое возмутительное зрелище были внутренности рвов – несчастные раненые, попадавшие один на другого, купались в своей крови и страшно стонали, умоляя о смерти... Fezensac говорит, что «никогда еще французская армия не испытывала таких потерь, как под Бородиным, а главное, никогда дух армии не был так сражен, как после этой битвы. Пропала всегдашняя веселость французского солдата, и мертвое молчание заменило песни и шутки, заставлявшие обыкновенно забывать усталость долгих переходов.

Даже офицеры, видимо, были сбиты с толку. Это уныние понятно, когда следует за поражением, но оно было необыкновенно после победы, отворявшей ворота Москвы».

По русским сведениям, в противность уверению Наполеона, он, как атакующий, потерял свыше 50000 человек, 1200 офицеров и 49 генералов; потери же русских, с убитыми и ранеными – до 40000 человек, 1732 офицера и 18 генералов. Должно было увеличить потери неприятеля и то, что за три дня пребывания на поле битвы они питались, только водою и кореньями. Сегюр признает убыль в 40000 человек и говорит, что войска вступили в Москву в числе 90000. Кирасирская дивизия в 3600 лошадей полного состава имела их в этот день только 800.

Состояние французской армии в Москве было во всех отношениях не блистательно. У нее не было ни хлеба, ни говядины, а на столах масса сладостей, сиропов и конфект. За одеяло с удовольствием отдавали дорогое вино, а за шубу можно было получить сколько угодно сахару и кофе.

Лагерь не имел вида бивуака армии, а скорее базара, на котором всякий солдат, преобразившийся в торгаша, по дешевым ценам сбывал самые драгоценные вещи и, хотя жил в поле под дождем и непогодой, но ел с фаянсовых тарелок, пил из серебряных кубков и был окружен самыми роскошными вещами современного комфорта.

За время пребывания в Москве части армии, расположенные вне города, не знали покоя. По словам Сегюра, что-то вроде перемирия, никем не условленного, но негласно допущенного с обеих сторон, существовало только с фронтов – на флангах и в тылу нельзя было ни провезти обоза, ни сделать фуражировки без битв, так что война собственно продолжалась.

В авангарде Мюрат первое время выезжал щеголять на аванпосты. Ему, видимо, нравилось выказывать в русском лагере любопытство своею красивою фигурой, репутациею храбреца и, наконец, королевским саном. Русские военачальники потворствовали его тщеславию и рассыпались перед ним в вежливостях. Часто он распоряжался русскими постами, как своими: если ему хотелось занять то или другое возвышение французскими войсками – противники без спора уступали.

Император, однако, не обманывался и после некоторого времени немного напускной радости, от показавшихся признаков якобы мирного расположения неприятеля, стал горько жаловаться окружающим на то, что «около них начинает разгораться несносная, докучливая партизанская война; что, прямо в противность официальным любезностям противника, сзади и с флангов Москва обложена шайками казаков. Как же: сто пятьдесят драгун старой гвардии были атакованы и уничтожены близ города —это среди кажущегося перемирия, на Можайской дороге, на главной операционной линии, по которой он сообщается с своими магазинами, запасами, резервами, со всею Европой!»

"Каждый день, – говорит Сегюр, – приходилось солдатам, особенно кавалеристам, ездить далеко за самым необходимым; так как ближайшие окрестности были разорены, то приходилось заходить все дальше и дальше. И люди и лошади возвращались, если только возвращались, усталые, изнуренные; из—за всякой меры ржи, всякого клока сена приходилось драться: нужно было вырывать их у неприятеля. Крестьяне тоже замешались в дело —пошли нечаянные нападения, западни, поголовные истребления небольших отрядов. "В то время, когда уставший неприятель наивно ожидал мира, его армия теряла много народа, ослаблялась – русские с каждым днем делались предприимчивее...

Мюрат сильно беспокоился: он видел, что в ежедневных стычках растаяла, уничтожилась добрая часть остатков его кавалерии, и умолял императора или заключить мир, или отступить, но Наполеон в XXIII бюллетене лаконически замечал только, что «казаки нападают на разъезды... Турецкие знамена и разные редкости из Кремля, включая Богородицу, украшенную брильянтами, отправили в Париж... Говорят, что Ростопчин сошел с ума... он сжег свой загородный дом... Солнце ярче, теплее, чем в Париже, как будто и не

на севере! Армия русская не одобряет московского пожара... Они смотрят на Ростопчина как на Марата, который теперь утешается в обществе английского комиссара Вильсона».

О своих неоднократных отчаянных попытках заключить мир Наполеон умалчивает.

Зима между тем надвигалась. Русские прямо говорили, что они удивляются беспечности французов перед приближением такого врага, как холод; они ждали зимы с часу на час, жалели французов и советовали бежать: «Через две недели, – говорили они, – у вас вывалятся ногти из пальцев, которые не в состоянии будут держать оружия!..» Нельзя сказать, чтобы французы не думали о приближении зимы; напротив, этим беспокоились, говорит Fain; только ветераны армии, дравшиеся среди Пултусской грязи и Ейлауских снегов, считая себя акклиматизировавшимися, надеялись и на этот раз отделаться без большой беды. По собранным сведениям оказывалось, что зима в России очень тяжела только в декабре и январе, а в ноябре термометр не опускается средним числом ниже 6 градусов; это вывели на основании наблюдений последних 20 лет, значит не налегке, и можно было верить этому.

Но вот 13/1 октября выпал первый снег. «Скорее, скорее, —сказал император, – через двадцать дней нам надобно быть на зимних квартирах». Это он повторяет и в XXIV бюллетене...

«Нельзя понять, – говорит Labaume, – как мог Наполеон ослепнуть в такой мере, чтобы не понять необходимости немедленно уйти. Ведь он видел, что столица, на которую он рассчитывал, уничтожена, и что зима подходит... должно быть, Провидение, чтобы наказать его гордыню, поразило его разум, если он мог думать, что народ, решившийся все жечь и уничтожать, будет настолько слаб и недальновиден, чтобы принять его тяжелые условия и заключить мир на дымящихся развалинах своих городов».

«По мере упадка наших сил и энергии, – говорит тот же автор, – дерзость казаков возрастала в такой степени, что вблизи Москвы они наскочили на артиллерийский транспорт, следовавший из Вязьмы... и снова выкинули такую же штуку с артиллерийским транспортом, следовавшим из Италии. Малейший промежуток между войсками тотчас же захватывался этою татарскою ордой, пользовавшеюся всеми выгодами позиций для проявления самого дерзкого нахальства».

Как выше сказано, Неаполитанский король, кавалерия которого была почти вся истреблена, ежедневно просил, чтобы что-нибудь было, наконец, сделано: или заключен мир, или предпринято отступление. Но император ничего не хотел ни видеть, ни слышать...

«Очарование исчезло, наконец, – восклицает Сегюр, простой казак рассеял его: этот варвар выстрелил в Мюрата на аванпостах. Мюрат рассердился и объявил Милорадовичу, что перемирие, которое постоянно нарушается, не должно долее продолжаться и что с этих пор всякий будет заботиться о своих выгодах...»

Положение французской армии сделалось невыносимо: оставаться долее было нельзя, выступить не приготовившись невозможно; но император французов все-таки находил возможность описывать положение дел Франции и Европе тем же анекдотично-лаконичным тоном. "Одни думают, что император сожжет общественные здания, пойдет на Тулу и приблизится к Польше, чтобы оставаться на зимних квартирах в стране дружественной, в которую все легко можно будет доставлять из магазинов Данцига, Ковно, Вильны и Минска...

Другие рассуждают, что от Москвы до Петербурга 180 лье плохой дороги, а от Витебска до Петербурга только 130, что от Москвы до Киева 218 лье, а от Смоленска до Киева только 112 лье. Отсюда заключают, что Москва, как стратегическая позиция, непригодна, что же касается ее политической важности, то она ее утеряла, будучи сожжена и разорена, на сто лет...

У неприятеля оказывается много казаков, которые беспокоят кавалерию... Все указывает на то, что надобно позаботиться о зимних квартирах. Кавалерия особенно нуждается в них".

Битва под Тарутином открыла, наконец, глаза Наполеону на игру с ним русских, и он решился уйти.

С первых же дней отступление стало походить на бегство, по словам Fezensac. Некоторые части просто умирали с голода в то время, как другие не знали, куда девать провизию... Солдаты, отходившие в сторону от дороги в поисках пропитания, попадали в руки казаков и вооруженных крестьян. Дорога была покрыта зарядными ящиками, пушками и брошеными экипажами. Каждый солдат был буквально нагружен добычей. «У меня, – рассказывает Duverger, – были меха, картины великих мастеров, для удобства свернутые в трубочку, и несколько драгоценностей. Один из моих друзей тащил огромный ящик хинина, другой целую библиотеку прекрасных книг с позолоченными обрезами в красных кожаных переплетах... Я не забыл и о желудке: у меня был запасен рис, сахар, кофе, три больших горшочка варенья – два вишневого, третий смородины...»

«Мой мешок, – говорит Bourgogne, – оказался слишком тяжел, и я воспользовался первою остановкой, чтобы осмотреть свое добро и выкинуть, что было лишнего. Оказалось: несколько фунтов сахару, рису, немного сухарей, полбутылки ликера, китайский костюм из шелковой материи, шитый золотом и серебром (вероятно, сарафан); много разных вещичек из золота и серебра; между прочим, кусок с креста Ивана Великого, т.е. кусочек обшивки с него (Посредине большого креста был еще маленький, в один фут длиной, из чистого золота – В.В.). Обшивка эта была серебряная, позолоченная. Еще была кроме моей парадной формы амазонка для езды верхом, еще два образа с выпуклыми серебряными ризами. Кроме того, были медали и ордена одного русского князя, украшенные брильянтами. Все эти вещи назначались в подарок. Кроме того, у меня на рубашке был надет желтый шелковый жилет, прошитый ватой, который я сам сшил из женской юбки, и воротник на горностаевой подкладке. Сверх того, на широком серебряном галуне у меня висел мешочек с разными предметами, между которыми были золотой „Христос“ и маленькая китайская фарфоровая вазочка... потом еще мое оружие и 60 патронов...»

У французских офицеров было по нескольку экипажей и у каждого в повозке – дама, русская или француженка, так как множество их бросилось за армией. Некоторые, скоро поняв, что их ожидает дальше, воротились назад; остальные подверглись невыразимому бедствию: у них дорогой украли лошадей и все, что было теплого. Эти несчастные сначала лишились своих детей, а потом погибли и сами. Очень немногие спаслись, и, кажется, не видели, чтобы которая—нибудь из них перешла границу...

О женщинах, следовавших за армиею, рассказывает, между прочим, Duverger, что «один раз, когда им было строго приказано никого не пускать меж орудий – прекрасная карета, запряженная четырьмя лошадьми, быстро подъехавшая, потребовала пропуска. Я дал знак кучеру остановиться, но он не послушал и продолжал ехать... Мы с товарищем схватили лошадей под уздцы – карета едва не опрокинулась в ров, и молодая красивая женщина показалась в окне; свежесть, богатство ее наряда и роскошь, ее окружавшая, указывали на то, что она пользовалась высоким покровительством. Она приказала нам именем императора и начальника штаба пропустить ее, но мы отказали...»

После Малоярославца положение армии, ударившейся в настоящее бегство, стало еще хуже.

Когда 5-го ноября нового стиля раздали гвардейским полкам ручные мельницы, все-таки довольно тяжелые, – это показалось насмешкой, так как молоть было нечего.

6-го ноября погода резко переменилась, снег выпал большими массами, слил белое небо с белою землей, стал залеплять глаза людей, проникать под одежду, морозить, леденить солдат.

«В несколько ночей все изменилось, – говорит Fain. – Лошади падали тысячами; кавалерия сразу очутилась пешею, и у артиллерии не стало запряжек. По краям дороги виднелись ряды отсталых, замерзших...»

Целая бригада генерала Ожеро, брата маршала, отхваченная казаками Орлова, Давыдова и

Сеславина, сдалась в плен. Наполеон отослал за это начальника сдавшегося генерала – Бараг-Иллера, одного из лучших офицеров, старого сотоварища своего по итальянскому походу, – во Францию, с приказом оставаться под домашним арестом до суда.

Принц Евгений, шедший другою дорогой, едва дотащился до главной армии, потерявши всю артиллерию и обозы; по дороге в Духовщину он подвергся полному разгрому на переходе через реку Вопь, как выше было помянуто.

«Отчаяние на этой речке, – рассказывает Labaume, —сделалось общим, так как, несмотря на усилие сдержать русских, ясно было, что они наступают. Боязнь увеличивала опасность. Река замерзла только наполовину, и повозки не могли переходить, так что пришлось всем, не имевшим лошадей, бросаться в воду. Положение тем более ужасное – приходилось покидать сотни орудий с большим количеством зарядных ящиков, телег, повозок и дрожек, в которых везлись остатки нашей московской провизии. Все бросились перегружать самые дорогие свои вещи с повозок на лошадей. Едва выпрягали экипаж, как толпа солдат не давала времени выбирать нужное, овладевала всем и грабила, пуще всего ища муки и вина... Крики переправлявшихся через реку, ужас готовившихся броситься в воду с крутого и скользкого берега, отчаяние женщин, крик детей, наконец, отчаяние самих солдат делали из этой переправы такую раздирающую сцену, что самое воспоминание о ней страшно. На целое лье кругом по дороге и вдоль реки лежало брошенное оружие, ящики и элегантные экипажи, вывезенные из Москвы. Всюду валялись вещи, брошенные из карет, неудобные для перевозки, и, на ярко—белом снегу, особенно сильно бившие в глаза: тут были канделябры, античная бронза, оригинальные картины великих мастеров, богатые и дорогие фарфоры...»

«Всюду царили ужас и отчаяние, – рассказывает Bourgeois, —спасение видели только в бегстве, и, конечно, никому не хотелось быть последним. Если толпа толкнет вас под колеса, не надейтесь, чтобы остановили лошадей и дали вам возможность выбраться, никто не услышит ваших криков, и вы пропадете, разбитый, затоптанный... Невозможно было различить в толпе солдат генералов, одетых чучелами, обернутых лохмотьями, страдавших от холода и голода, принужденных нищенствовать у подначальных им солдат»[6]

"Своеволие и беспорядок достигли крайних пределов; всякая мысль о команде и послушании стала невозможностью, исчезла разность в чинах и положениях – мы представляли шайку обрюзглого, извратившегося люда. Когда несчастный, после долгой борьбы, падал, наконец, подавленный всеми бедами – все кругом него, уверенные в том, что это конец и ему уже не подняться, прежде чем он испускал последний вздох, бросались на несчастного как на настоящий труп, срывали обрывки одежды – и он, в несколько секунд оказавшись голым, оставался в таком виде умирать медленною смертью. Часто, бывало, идут около вас подобия каких-то привидений, покушающихся дотянуться до привала: они стараются изо всех сил выдвигать ногу за ногой, потом вдруг начинают чувствовать, что силы их покидают; глубокий вздох выходит из груди, глаза наполняются слезами, ноги подгибаются; в продолжение нескольких минут они качаются и, наконец, падают, чтобы уже более не подняться. Если тело несчастного упало поперек дороги, товарищи бесцеремонно шагают через, как ни в чем не бывало.

Храбрость, которой раньше было дано столько ярких примеров, уступила место самой отчаянной трусости – не было другой мысли, кроме позорного бегства, и в голову не приходило намерение защищаться, иногда отказывались защищать свою жизнь.

При приближении нескольких казаков или просто крестьян с палками, выходивших на дорогу, всех охватывала паника: даже имевшие оружие бросали его, чтобы проворнее бежать, а захваченные в плен и не думали обороняться – сотня гренадер дала бы захватить себя и увести этим мужикам".

«Казаки и милиция, – говорит автор „Войны 1812 года“, —были хуже, страшнее для пленных, чем

регулярные войска». Русские генералы делали все возможное, чтобы утишить их злобу, но ожесточение было так велико, что приходилось быть всюду, спасать пленных везде, в одно и то же время, что было невозможно".

"Мы шли будто по непрерывному полю битвы, – говорит Fezensac, – выдерживавшие холод, умирали от голода...

Одни с отмороженными членами валялись на снегу, другие засыпали и погибали в горевших деревнях. Я помню солдата моего полка, который походил на пьяного: он держался около нас, никого не узнавая, спрашивал, где его полк, называл свою роту, своих товарищей, но говорил с ними как с посторонними; он качался на ногах и взгляд у него был мутный, потерянный...

Солдаты, ослепленные снежными вихрями, не могли даже различать дороги и часто падали во рвы и канавы, служившие им могилами. Дурно обутые, плохо одетые, ничего не евшие, не пившие, жавшиеся и дрожавшие, они, едва будучи в состоянии двигаться, все-таки торопились вперед, во что бы то ни стало, не обращая никакого внимания на отстававших, падавших и умиравших около них. Какая была масса на дороге несчастных, которые, умирая от полного истощения сил, боролись еще с приступами смерти! Одни громко прощались с братьями и товарищами, другие, испуская последний вздох, произносили имена своих матерей, мест своей родины: скоро холод сковывал их члены, проникал во внутренности. На дороге их можно было различать только по кучкам снега, горочками, как на кладбищах, покрывавшего тела, устилавшие путь.

Стаи ворон поднимались с долин и пролетали над ними, испуская зловещие крики. Масса собак, еще из Москвы, питавшихся мертвечиною, выла кругом, ожидая свежих трупов".

Надобно заметить, что при начале отступления у большинства были разные меха, но за время ночей, проведенных на бивуаках, таявший от огня снег смачивал их, и они, снова замерзая, обращались в ледяные массы; опять оттаивавшая у костров шерсть, наконец, портилась, выпадала, горела, и от пресловутых собольих, горностаевых и иных мехов не осталось ничего, кроме жалких порыжелых обрывков.

Отдельные беглецы, оставившие свои части, отовсюду отталкивались, прогонялись, не находили места на бивуаках. Можно себе представить положение этих несчастных: измученные голодом, они бросались на всякую павшую лошадь и, как остервенелые собаки, дрались за обрывки мяса. Изнуренные бессонницей и долгими переходами, они не находили на снегу места, где можно было бы присесть и отдохнуть; полузамерзшие, бродили во все стороны, ища под снегом топлива, которое трудно было разжечь: раз загоревшееся, сырое дерево снова потухало от сырости и ветра... «Тогда люди садились тесно, – говорит очевидец, – сжавшись, как скот, около берез, сосен или под экипажами. Зажигали дома, в которых укрывались офицеры, и неподвижно, как тени, держались целую ночь вокруг этих громадных костров...»

У всех отмороженные части тела покрывались нарывами, заменявшимися затем, когда их отогревали на огне, черными пятнами – а редкий не имел чего-либо отмороженного.

В таком положении было не до награбленного; «добыча, ненужные брошенные вещи, – говорит Duverger, – покрывали дорогу. Знаменитый ящик с хинином был выброшен. Я старался продать картины, но никто их не хотел. Я раздарил мои меха. Несший библиотеку вздумал распродать ее по частям, но никто ничего не купил...»

Пришлось бросить и знаменитые московские трофеи; их опустили в Семлевское озеро, между Гжатском и Михайловкой; пушки, разные рыцарские доспехи и украшения из Кремля были похоронены там же.

Сегюр утверждает, что и знаменитый крест Ивана Великого был затоплен в этом озере, но, по

свидетельству других лиц, он был протащен дальше, до первой станции за Вильной.

"Как же это случилось, – говорит тот же Сегюр, – что в Москве ни о чем не позаботились? Почему такая масса солдат, умерших с голода и холода, оказались нагруженными золотом, вместо нужных им одежды и провизии? Каким образом за тридцать три дня отдыха не успели заковать лошадей на острые шипы, которые дали бы им возможность лучше и быстрее двигаться? Почему, если не было на все приказа от самого Наполеона, предосторожности эти не были приняты другим начальством, гг. королями, князьями и маршалами? Разве не знали, что в России после осени наступает зима? Приученный к сметливости своих солдат, Наполеон уж не вздумал ли положиться на них самих?

Не обманул ли его опыт кампании в Польше, зима которой была не суровее французской? Не обманули ли его эти октябрьские солнечные дни, удивившие самих русских? Каким туманом, каким головокружением были охвачены армия и ее начальник? На что они рассчитывали? Предположивши, что мысль о возможности заключения мира в Москве свернула всем головы, – ведь возвращаться нужно было во всяком случае, а ничего не было заготовлено и для самого мирного возвращения.

Наконец, – говорит далее тот же автор, – армия снова увидала Смоленск! Дотащилась до столько раз обещанной ей границы всех страданий. Вот она, эта обетованная земля, где забудутся голод и усталость, забудутся бивуаки на двадцатиградусном морозе, в хороших теплых домах. Армия выспится там, обошьется, заведется обувью!.. Но всюду валяющиеся по городу скелеты лошадей показывают, что и тут тоже голод; выбитые двери и оконные рамы служат топливом для бивуачных огней, нигде нет теплого жилья, обещанных зимних квартир; больные и раненые валяются на улицах, на привезших их тележках – это новый бивуак, еще более холодный, чем леса, через которые армия прошла...

Громадных трудов стоило не допустить отряды различных корпусов до рукопашной схватки перед складочными магазинами. Наконец, когда кое-как провизия была раздана, солдаты не хотели разносить ее по полкам: они бросались на мешки и, захвативши несколько фунтов муки, шли пожирать ее. То же было и с водкой. На другой день дома были наполнены трупами этих объевшихся и перепившихся несчастных. Стало ясно, что Смоленск, который армия считала пределом страданий, оказывался только началом их. Открывалась впереди целая бесконечность бедствий; еще 40 дней нужно было идти в тех же условиях!..."

Император прибыл 9-го ноября, в разгар всеобщего отчаяния. Он заперся в одном из домов на площади и вышел из него 14-го, чтобы продолжать отступление. Он рассчитывал на полумесячный запас полного содержания для стотысячной армии и нашел только половину, мукой, рисом и водкой; говядины вовсе не было. Слышали, как он бешено кричал на одного из главных интендантских чиновников, и этот господин не был повешен только потому, что долго валялся в ногах Наполеона.

«Со времени приезда Наполеона, – пишет автор „Войны 1812 года“, – я распределяю запасы войскам различных корпусов. Боюсь, что семеро часовых, день и ночь меня охраняющих, будут не в состоянии помешать растерзать меня голодающим солдатам... Высшие офицеры выбили у меня окно и влезли в него...»

Все очевидцы упоминают о глубоком разочаровании, постигшем армию в Смоленске. «Как выразить наше горе, – замечает Labaume, – когда в предместьях Смоленска мы узнали, что девятый корпус уже выступил, что в Смоленске не остановятся и что провизия, какая была, уже израсходована. Разразись молния перед нами, мы меньше были бы поражены, чем этою новостью, до того всех сразившею, что никто не хотел ей верить... после мы убедились, что настоящий голод царил в этом месте, а мы-то считали его полным всякого довольства!..»

Солдаты, оставшись без квартир, расположились среди улиц, и через несколько часов их уже находили вокруг огней мертвыми. Госпитали, церкви и разные другие общественные здания были

переполнены больными, являвшимися целыми тысячами... Не имея помещения, они оставались и умирали на привезших их повозках, лафетах, зарядных ящиках...

«Один кирасир, – рассказывает очевидец, – громко стонавший от голода, бросился на труп ободранной лошади и, засунув голову в скелет, стал зубами вырывать внутренности. Голод был так велик, что русские находили французские трупы, наполовину съеденные своими товарищами...»

В Смоленске оставили пять тысяч больных и раненых, которым вовсе не дали никакой провизии. Доктора и чиновники, назначенные для охранения их, пропали, разбежались, не желая быть перебитыми или взятыми в плен.

Chambrey свидетельствует, что, в противность обыкновению, больные даже не были рекомендованы великодушию русских – их просто выбросили как бесполезную вещь.

«Война, – говорит автор „Кампании 1812 года“, – приняла характер такого ожесточения, что невозможно представить себе, где остановится месть неприятеля, озлобление которого вызвано всяческими разрушениями и истреблениями. Перед тем, как помышлять о взрывах, вроде Московского и Смоленского, и пожарах, столько же жестоких, сколько и бесполезных, следовало бы подумать, что оставляют неприятелю десятки тысяч людей в госпиталях и на дороге...» Rene Bourgeois пишет: «Оставленные умирать с голода, принужденные сами заботиться о своем существовании, эти несчастные ползали по полям, вырывали корни, остатки капусты и других овощей. Валяясь на сгнивших соломе и траве, на тряпках и лохмотьях, они покрылись грязью и насекомыми, пропитались зловонием от умерших и уже разложившихся товарищей. На расстоянии целых восьмидесяти лье нужно было не идти, а, так сказать, прокладывать себе дорогу между всевозможными обломками и трупами. Во всех местах остановок, на всех этапах встречались кладбища, называвшиеся госпиталями, которые издали давали о себе знать отвратительным зачумленным воздухом и кучами разлагавшихся тел и нечистот, составлявших невообразимые клоаки...»

Самые беглецы представляли сплошные резервуары всяческих паразитов и нечистот. Смрад, исходивший из этих **живых**, обусловливался не только их больными желудками, но и тем, что они справляли все свои нужды не раздеваясь, из-за холода. Руки их всегда были в лошадиной крови, разлагающаяся же кровь виделась на лицах и рубищах. Те, что имели лица и руки по локоть отмороженными, были похожи на фигуры, выточенные из слоновой кости.

«Больше всего я боялся, – говорит один немецкий автор, —приближения ночи, не только потому, что в это время страдания наши увеличивались, но и еще по одной причине: когда останавливались, обыкновенно все собирались вместе и крепко прижимались один к другому, чтобы хоть сколько-нибудь согреться; тогда среди общего молчания начинал слышаться в разных местах, а иногда сразу в нескольких – и это без перерыва – шум падения на мерзлую землю людей и лошадей, умиравших от холода и лишений».

"На одной стоянке, – рассказывает Bourgogne, – я с ужасом увидел, что все люди и лошади, там лежавшие, были мертвы и уже занесены снегом, причем тела так и лежали вокруг костров, а трупы лошадей оставались запряженными в орудиях. Тут же пять человек дрались как собаки – рядом лежала лошадиная ляжка, предмет их вражды.

Еще ободряемые надеждой прежде найти в Смоленске пищу и квартиру, они не ожидали теперь более ничего, шли как подвижные куклы, когда их вели, и останавливались тотчас за другими.

"Старый егерь с отмороженными ногами, завернутыми в обрывки бараньих шкур, присел к нашему огню, – рассказывает тот же автор. – Он ругал императора Александра, Россию и всех святых, потом спросил, раздавали ли водку? Когда ему ответили: «Нет, не раздавали и не будут раздавать», – он сказал:

ну, так остается одно – умирать!

Мы встретили по дороге гусара, боровшегося со смертью, поднимавшегося на ноги и снова падавшего. Мы хотели ему помочь, но он упал, чтобы уже не подниматься. Дальше три человека возились около лошади; двое из них были на ногах и до того шатались, что казались пьяными. Третий, немец, лежал на дохлой лошади: бедняга, умирая с голоду и не будучи в состоянии что-либо отрезать, старался откусить кусочек, но так и умер на этих попытках..."

Несчастные, кое-как уцелевшие женщины страдали чуть ли не больше еще. "В этом ужасном походе, – говорит г-жа Fusil, – с каждым новым днем я говорила себе, что наверное не доживу до конца его, только не знала, какою смертью умру?.. Когда останавливались на бивуаке, чтобы согреться и поесть, то садились обыкновенно на тела замерзших, на которых располагались так же удобно и бесцеремонно, как на софе... Целый день было слышно: ах, Боже мой! У меня украли портмоне, у других – мешок, хлеб, лошадь, и это у всех – от генерала до солдата... Все время проталкивались: «Пропустите экипажи маршала такого-то, потом другого, потом генеральские. Нужно переходить через мост: с обеих сторон рядами генералы, полковники – стоят, несмотря на всю сутолоку, чтобы по возможности ускорить проход своих повозок, – казаки были всегда недалеко...»

Можно было подумать, что русская армия состояла только из казаков, только их поминали, только об них и толковали.

"Невыразимо было жалко, – говорит Labaume, – француженок, ушедших от мщения русских из Москвы, рассчитывавших на полную безопасность среди нас. Большая часть пешком, в летних башмаках, одетые в легкие шелковые и люстриновые платья, в обрывки шуб или солдатских шинелей, снятых с трупов. Положение их должно было бы вызвать слезы у самого загрубелого человека, если бы обстоятельства не задушили всех чувств.

Из всех жертв войны ни одна не была так интересна, как молодая, милая Fanni: хорошенькая, скромная, приветливая, остроумная, говорившая на нескольких языках, обладавшая всеми качествами, способными вскружить голову самому нечувствительному, она была принуждена нищенски выпрашивать всякую самую незначительную услугу, и кусок добытого хлеба заставлял ее расплачиваться самым позорным образом: подавая ей милостыню, мы злоупотребляли этим, заставляя бедняжку принадлежать ночью тому, кто кормил ее днем. Я видел ее даже за Смоленском, но уже не бывшую в состоянии идти – она держалась за хвост лошади и, когда силы изменили, упала на снег, где, вероятно, и осталась, не вызвав ни жалости, ни взгляда сочувствия.

Несчастная П., – продолжает тот же Labaume, – все еще тащилась за нами и как рабыня разделяла наши беды и лишения. «История этой особы стоит того, чтобы рассказать о ней: заблудилась ли она или, по своей романтической натуре, напросилась на приключение, но ее нашли спрятавшуюся в подземелье Архангельского собора. Девушку привели к элегантному французскому генералу, который сначала взял ее под свое покровительство, а потом, прикинувшись влюбленным и обещавши жениться на ней, сделал ее своею любовницей.» Она переносила все беды, лишения с истинным мужеством добродетели. Неся уже в себе залог любви, которую она считала естественною и законною, она гордилась тем, что будет матерью, и тем, что следует за своим мужем. Но тот, который всего наобещал ей, узнавши, что мы не остановимся в Смоленске, решился порвать связь, на которую никогда и не смотрел иначе, как на забаву. С черною душой, недоступным жалости сердцем, он объявил этому невинному существу, под каким-то благовидным предлогом, что им необходимо расстаться. Бедняжка вскрикнула от отчаяния и объявила, что, пожертвовавши семьей и именем тому, кого считала уже своим мужем, считала своим долгом идти за ним всюду, и что ни усталость, ни опасности не отвратят ее от решения следовать за любимым человеком.

Генерал, нимало не тронутый такою привязанностью, сухо объявил еще раз, что необходимо

расстаться, так как, во-первых, по обстоятельствам оказывается невозможным держать женщин, во-вторых, он женат, почему ей лучше всего возвратиться в Москву, к жениху, который, вероятно, ее ожидает. При этих словах несчастное существо просто окаменело: бледная, еще более помертвелая, чем тогда, когда ее нашли между гробницами кремлевского собора, она долго не могла открыть рта; потом плакала, стонала и, подавленная горем, впала в беспамятство, которым предатель воспользовался, не для того, чтобы избегнуть трогательного расставания, а просто для того, чтобы убежать от русских, крики которых уже доносились..."

"Ужасен был, – говорит Rene Bourgeois, – недостаток корма для лошадей; клоки полуистлевшей соломы, оставшейся кое-где от старых бивуаков, истоптанной, перемятой или сорванной с крыш немногих оставшихся изб – вот была вся их пища, и они гибли на бивуаках тысячами. Гололедка, покрывавшая дороги, окончательно доконала лошадей – в самое короткое время не стало помина кавалерии, и кавалеристы увеличили число пеших беглецов. Все полки перемешались, порядок и дисциплина пропали, солдаты не признавали офицеров, офицеры не занимались солдатами; всякий брел, как и куда ему вздумается.

Вся эта беспорядочная толпа была одета в невероятные одежды, в меха и кожи различных животных, всех цветов женские юбки, большие шали, обрывки одеял, лошадиные попоны, прорезанные в середине и висевшие по бокам. Так как обуви не было, то ноги обертывали в лохмотья из тряпок, кусков войлока и бараньих шкур, подвязанных соломой... Поверх этих лохмотьев, полных паразитов, торчали исхудалые лица, совсем почерневшие от бивуачного дыма, покрытые всяческою грязью – лица, на которых были написаны отчаяние, страх, ужасы голода, холода и всяческих бед. Не было речи о центре и флангах: вся армия собралась в одну кучу, без кавалерии и артиллерии, двигалась вместе с обозом в общем невообразимом беспорядке..."

Французская армия подошла, наконец, к реке Березине, где, конечно, погибла бы, если бы не глупость заслонявшего ей дорогу противника, русского генерала Чичагова.

«Надобно признаться, – говорит Rene Bourgeois, – что в продолжение этой кампании русские наделали изумительных ошибок, особенно при Березине: они могли забрать нас всех живьем, без боя, и мы спаслись только благодаря неумелости неприятельского генерала. Это был адмирал Чичагов, принявший от Кутузова командование Молдавскою армией... Молодой куртизан, напыщенный и самонадеянный, осыпанный милостями и доверием Александра»... Нужно прочесть всеподданнейшие и в то же время дружеские донесения этого молодого любимца, в пышных французских фразах, надменно, резко отзывавшегося обо всех, не исключая и Кутузова, чтобы оценить как следует всю силу заносчивости и бездарности этой личности.

Обманувши русского генерала – вернее адмирала – французская армия стала наводить мосты на Березине. «Дух самолюбия отдельных частей, конечно, очень похвален, – замечает Marbot, – но при случае не мешает умерять его в известных обстоятельствах. Этого не сумели сделать под Березиной начальники артиллерии и инженеров, так как и те и другие заявили намерение одни строить мосты, и дело не двигалось до тех пор, пока император, приехавший 26/14, не разрешил спора приказанием строить один мост артиллеристам, другой инженерам».

«Кто мог бы сосчитать число жертв тут, – рассказывает S.U., – и описать все сцены разорения и ужаса. Среди невообразимого беспорядка император, чтобы облегчить переправу, приказал поджечь множество повозок и велел исполнить это при себе: князь Невшательский сам таскал лошадей за уздцы».

"Просто перо отказывается, – рассказывает Constant, представить сцены ужаса при Березине. Всевозможные повозки подвигались к мосту буквально по грудам тел, устилавших дорогу.

Целые толпы несчастных падали в реку и гибли меж льдин. Другие хватались еще за доски моста и висели над бездной, пока колеса, переезжая по рукам, не заставляли пальцы разгибаться... Ящики, повозки, кучера и лошади валились вместе..."

«Видели женщину, – говорит de-B., зажатую среди льдов, державшую над водой своего ребенка и умолявшую проходивших спасти его...»

«Я видел, – рассказывает автор „Journal de la guerre“, – как солдаты, цепляясь за соседей, чтобы не упасть, как слабые, шатавшиеся и все-таки торопившиеся, до того напирали друг на друга, что сразу целыми рядами валились в реку, как карточные домики... Если в это время показывался казак или только произносилось несколько раз слово „казак“ – такая паника овладевала всею армией беглецов, что они бросались туда, сюда и назад, скользили, летели в воду вниз головой...»

За Березиной морозы, с небольшими промежутками, стали еще сильнее.

Все кругом было покрыто снегом; леса были закрыты целым снежным ковром, обращавшим их в громадные ледяные массы. Даже деревни, заваленные снегом, не выделялись на горизонте, и их можно было различить только по пожарам, зажженным или самими жителями, или беглецами французской армии.

«Солдаты сплошь и рядом зажигали целые дома, чтобы погреться в продолжение нескольких минут, – рассказывает Сегюр. Жар привлекал несчастных, сделавшихся от холода и лишений какими-то полоумными: со скрежетом зубов и адским смехом они бросались в костры и погибали там. Товарищи смотрели на них хладнокровно, без удивления. Некоторые даже подтаскивали к себе обезображенные, сжарившиеся трупы и – надобно сознаться, как это ни ужасно – ели».

«Дорога была до такой степени покрыта мертвыми и умиравшими, – говорит автор „Journal de la guerre“, – что надобно было употреблять большое старание для прохода между ними. Идя густою толпой, приходилось наступать или шагать через несчастных умиравших, предсмертное хрипение которых было слышно, но о помощи которым нечего было и думать».

«В придорожных сараях, – рассказывает Сегюр, – происходили чистые ужасы. Те из нас, которые спасались там на ночь, находили утром своих товарищей, замерзших целыми кучами, около потухших костров. Чтобы выйти из этих катакомб, нужно было с большими усилиями перелезать через горы несчастных, из которых многие еще дышали».

«Я не могу понять, – говорит Constant, – зачем в нашем положении нужно было еще разыгрывать победителей, таща с собой пленных, которые, конечно, только затрудняли наших бедных солдат. Несчастные русские, изморенные переходами и голодом, были согнаны на огромную площадь как домашний скот. Большая часть их умерла за ночь, остальные сидели, тесно прижавшись друг к другу, надеясь хоть немного согреться; те, что умерли, замерзли – продолжали сидеть вместе с живыми. Некоторые ели своих мертвых товарищей...»

Интересно то, что это происходило в нескольких шагах от главной квартиры Наполеона – деревянного домика, в котором приходилось заваливать окна сеном и соломой...

С отъездом Наполеона из армии беспорядок, а с ним и бедствия армии еще увеличились, если только это было возможно! "Нужен был колосс, – говорит Сегюр, – чтобы поддерживать все это, но колосс покинул нас... С первой же ночи один из генералов отказался повиноваться, и маршал, командовавший арриергардом, пришел почти один в главную квартиру короля, вокруг которой стояла, вся великая армия – три тысячи человек старой и молодой гвардии. Когда отъезд Наполеона сделался известным – и у этих ветеранов дисциплина пошатнулась и они впали в беспорядок...

Были люди, сделавшие двести лье не оглядываясь; это было общее sauve qui peut[7].

Все, что еще уцелело при Березине из нагруженных повозок обоза, считая в том числе и императорские, окончательно застряло у станции Панари, под одной обледенелой горой, за Вильной. Подъезд новых экипажей к прежде покинутым постепенно увеличивал суматоху, беспорядок и грабеж в этом месте до того, что русские и французы перемешались около повозок с французскою казной. «Всякий хватал, – говорит автор „Journal de la guerre“, из нагруженного в повозках и каретах добра, что ему нравилось... Я видел, как фургоны, наполненные серебром и золотом, грабились среди дороги, наполовину французами, наполовину казаками, без всякой обоюдной вражды. Я прошел к самой середине, и ни один из русских не остановил меня».

У границы Пруссии два короля, один князь, восемь маршалов с несколькими генералами и офицерами, бредшими там и сям без всякой свиты, и несколько сотен людей старой гвардии, еще державшей ружья – представляли знаменитую Великую армию.

МАРШАЛЫ

Если армия не отличалась дисциплиной и порядком, то это в значительной мере зависело от того, что начальствовавшим над нею королям и герцогам—маршалам недоставало самообладания и уменья безропотно повиноваться императору.

Известно, что еще в начале похода Вестфальский король, не стерпевши справедливого упрека Наполеона в медленности, бросил свой корпус и уехал домой, даже не передавши никому командования и полученных им приказаний.

Отношения между начальником штаба маршалом Бертье и маршалом Даву, этим последним и Мюратом, так же, как между некоторыми другими высшими офицерами, были до такой степени натянуты, что прямо вредили успеху общего дела. В 1809 году Бертье был в продолжение нескольких дней начальником Даву, который, не послушавшись его, выиграл битву и спас армию, —отсюда сильнейшая вражда. Лишь только они свиделись перед последней кампанией, как тотчас, в присутствии самого императора, схватились. Даву довел резкость до того, что назвал Бертье «либо бездарным, либо изменником» – с обеих сторон дело дошло до личных угроз.

Известно, что Бертье не был способен к самостоятельной роли и служил только отголоском воли Наполеона; он был довольно покладист и трудолюбив. Верный последователь принципа императора «никогда ничего не предпринимать сразу в двух местах, а на одном и в больших силах», он не одобрял войны 12 года и покорился необходимости, без убеждения и увлечения, слишком серьезно обеспокоенный хорошо известным ему положением французов в Испании.

В кампанию 12 года герцог Невшательский не отличался предусмотрительностью, чтобы не сказать больше.

Про Даву можно сказать, что это лучший стратег между всеми сподвижниками Наполеона, но он был сварлив, завистлив и злопамятен. Методический и упорный гений Даву резко противоречил всегда увлекавшемуся Мюрату. Отсюда постоянные недоразумения между этими двумя военачальниками, сотоварищами, приблизительно одних лет, вместе поднимавшимся по ступеням почестей, привыкшими повиноваться только одному Наполеону и сами над собой – Мюрат в особенности – не бывшими в состоянии командовать. Отношения Даву к Мюрату так интересны для характеристики порядков высшего командования великой армии, что на них стоит остановиться.

Подчиненный одно время Мюрату, Даву покорился, но неохотно, затаивши обиду, и тотчас же перестал сноситься прямо с императором, который, однако, приказал ему снова доносить обо всем, так как донесения Мюрата казались ненадежны. Даву только этого и нужно было, чтобы не обращать больше внимания на авторитет Неаполитанского короля. Как далеко зашли они в своем препирательстве, видно из того, что в одной из стычек батарея Даву отказалась стрелять по приказанию Мюрата. Командир батареи представил в оправдание приказ маршала: под страхом лишения командования, никого не слушать, кроме его, Даву.

На следующий день в присутствии Наполеона между противниками была перепалка. Король упрекал герцога в упорном противодействии и, главное, в затаенной ненависти к нему, начавшейся в Египте. Он зашел так далеко, что предложил решить ссору один на один, не вмешивая в нее армию... Даву с своей стороны яростно укорял короля в легкомыслии и нарисовал императору живую картину ежедневной неурядицы, происходившей в авангарде армии. "Нужно сознаться, – говорил он, по словам Сегюра, – что отступление русских совершается в замечательном порядке, они останавливаются, где находят удобным, а не там, куда загоняет их хвастающий Мюрат. Они так хорошо выбирают свои позиции, так разумно

защищают каждую, смотря по силе и количеству времени, которое им нужно выиграть, что движение их должно быть давно старательно обдумано и теперь с пунктуальною точностью выполняется.

Никогда они не покидают поста раньше, чем надвинется настоятельная опасность. По вечерам располагаются на отдых спозаранку, оставляя под ружьем столько войска, сколько необходимо для обороны занятой позиции и доставления возможности прочим войскам отдохнуть и поесть.

Король же, вместо того, чтобы следовать этому благому примеру, знать не хочет ни времени, ни расположения и силы противника, торчит все время в линии застрельщиков, гарцует перед неприятелем, пробует теребить его со всех сторон, сердится, горячится, кричит, просто хрипнет от повторения приказаний, расходует без толку патроны, снаряды, людей и лошадей и всех до глубокой ночи держит под ружьем.

Жалко видеть несчастных солдат, толкающихся в темноте, ощупью разыскивающих корм, воду, дрова, солому, пищу и потом не могущих попасть на свой бивуак – всю ночь перекликающихся. И не один только авангард страдает из-за этого – вся кавалерия видимо гибнет. Впрочем, своею кавалерией Мюрат пусть располагает, как ему угодно. Что же касается пехоты 1-го корпуса, то пока Даву командует, он не даст помыкать ею.

Король со своей стороны тоже не остался в долгу... Император слушал их, перекатывая ногой случившееся тут русское ядро. Можно было думать, что эта рознь между военачальниками не ненравится ему", – говорит Сегюр.

Отпуская их, он осторожно сказал Даву , «что нельзя иметь все достоинства разом, что сам герцог Экмюльский, если сумеет выиграть битву, то вряд ли хорошо поведет авангард армии и что если бы Мюрату поручено было преследовать Багратиона в Литве, то, может быть, он не упустил бы его!»

После этого Наполеон предложил противникам стараться впредь лучше ладить, но насколько совет пошел впрок – оказалось из донесения генерала Беллиара императору о сражении под Вязьмой. "За городом, за рвом, на удобной позиции, показался неприятель, по-видимому, готовый принять битву. Кавалерия с обеих сторон тотчас вступила в дело, но когда потребовалась пехота, и король сам повел одну из дивизий Даву, – маршал прискакал, остановил своих людей, стал громко порицать задуманное движение и браниться с королем, прямо запретивши своим генералам повиноваться ему. Мюрат пробовал приказывать, напоминал о своем сане, но бесполезно, и момент был пропущен, так что теперь король послал доложить императору о полной невозможности командовать в таких условиях и просил выбирать между ним и Даву.

Наполеон страшно рассердился... Он обвинил Даву и оправдал Мюрата, но последний долго не в состоянии был забыть оскорбительных выражений своего старого врага, публично, резко произнесенных. Чем более он думал о них, тем сильнее его охватывал гнев. Что же это такое? Даву его знать не хочет, публично поносит, и это пройдет ему безнаказанно! он, Мюрат, будет снова видеться и говорить с ним!"

Что ему за дело до решения императора и его гнева: он сам должен смыть обиду! Что в том, что он король? Его шпага вознесла его в это звание, она же и выручит его теперь!

«И он схватился уже за оружие, чтобы идти к Даву, требовать удовлетворения, когда Беллиар остановил его, представивши все обстоятельства, вред примера и прочее.»

В общем, обвинения Даву были основательны – Мюрат в эту кампанию не раз портил дело своей горячностью. Нападения кавалерии на каре отступавшей дивизии Неверовского, хладнокровно и победоносно выдержавшего до 40 атак, предводимых самим Неаполитанским королем, могут служить примером безрассудной торопливости и горячности Мюрата, который, растеряв свою кавалерию, не играл уже никакой роли в конце кампании и мирно ехал в карете с Наполеоном или шел за ним пешком, с

палкой в руке, укутанный в шубу.

Однако порядок и дисциплина корпуса самого Даву не выдержали испытания бедствий отступления и, после дела под той же Вязьмой, Наполеон получил рапорт Нея, который, не скрывая ничего, уведомлял о несчастном исходе битвы. «При лучших порядках, – доносил он, – был бы, вероятно, и другой результат: самое ужасное что было, это беспорядок корпуса Даву, который заражал другие войска... Я должен говорить правду Вашему Величеству, и как мне ни неприятно порицать одного из моих сослуживцев, я должен объявить вам, что при таких условиях не отвечаю за безопасность отступления...»

Сам Наполеон жаловался на медлительность Даву, отстававшего от него на пять дней перехода, тогда как ему следовало быть в трех днях. Вся армия повторяла эти жалобы и находила, что маневры, производившиеся перед казаками, не имели других результатов, кроме задержки армии.

"Mon cousin, – писал выведенный из терпения Наполеон Бертье, – дайте знать герцогу Эльхингенскому, чтобы он принял начальство в арриергарде и шел бы возможно скорее – герцог Экмюльский задерживает вице-короля и князя Понятовского из-за всякого **ура!** казаков".

Что касается намерений Наполеона мстить русским, все без разбора сжигая на пути, то герцог Экмюльский был хороший исполнитель этой меры и, когда заведовал арриергардом, – с замечательной точностью и пунктуальностью не пропускал ни одного поместья или деревни на возможно дальних расстояниях.

После того, как выпал снег и ударили морозы, Даву окончательно оказался не на высоте обстоятельств: выброшенный из усвоенной колеи порядка, правильности и методичности, он впал в отчаяние от общего беспорядка и раньше других пришел к заключению, что все потеряно.

«Даву, – говорит Сегюр, – вошел в Оршу с 4000 человек, остатком 70000! Этот маршал потерял сам лично решительно все: у него не было белья, он просто умирал с голоду – когда ему дали кусок хлеба, он буквально набросился на него; поданным платком в первый раз в продолжение многих дней утер лицо, покрытое инеем. „Надобно быть железным, – вскричал маршал, —чтобы переносить подобные испытания: есть материальные невозможности, есть предел силам человеческим, и этот предел давно перейден!“ Несколько иной был характер Нея: он безропотно нес самую тяжелую службу, но, например, когда Наполеон отказался дать гвардию для последнего удара на Бородинском поле, не затруднился громко сказать, что коли император не хочет сам больше воевать, так пусть убирается... в Тюльери... и даст им распоряжаться».

Среди поголовного отчаяния и беспорядка, за время отступления, Ней явил себя не только «бравым из бравых», каким был всегда, но и послушным, исполнительным – он был истинным героем обратного движения великой армии. Этот крепко сложенный, тоже часто увлекавшийся человек, был далеко не сентиментален. Очень характерен его ответ одному раненому, умолявшему о спасении: «Что же ты хочешь? Ты одна из жертв войны и больше ничего!» Когда Нею сказали о смерти молодого de-Noailles, он ответил, не сморгнув: «Что ж, пришел его черед – все-таки лучше, что мы сожалеем о нем, нежели если бы он сожалел о нас». Не менее характерен и третий случай: когда, брошенный маршалом Даву в Смоленске на произвол судьбы, Ней потерял почти всех солдат, обоз, артиллерию и окольными путями, через болота и леса, с небольшою кучкой людей добрался до Наполеона, а герцог Экмюльский начал оправдываться в своем поступке, – Ней ответил: «Я не укоряю вас, господин маршал: Бог видит нас и судит вас».

«Ней понимал, – говорит Сегюр, – что кому-нибудь нужно было быть козлом отпущения, и добровольно принял на себя опасность, взявшись бессменно защищать арриергард армии».

«Русские приближались, – рассказывает очевидец об одной битве, – прикрываясь лесом и нашими оставленными повозками, откуда расстреливали солдат Нея, ударившихся было бежать, – когда маршал,

взяв ружье, бросился к ним и повел в битву, завязал перестрелку, не щадя себя – точно он сам не был отцом, мужем, точно он не был богат и знатен, не был уважаем... Оставаясь солдатом, он не переставал быть генералом: пользовался местностью, опирался на пригорки, прикрывался домами. Этим он дал армии 24 часа отдыха. Следующий и другие дни – тот же героизм: от Вязьмы до Смоленска он дрался без перерыва целых десять дней».

Военная история дает, вероятно, немного примеров затруднительных положений, из которых выходили бы с большей честью, чем это сделал брошенный, как было выше помянуто, на дороге из Смоленска в Красный, на произвол судьбы, Ней. Арриергарду великой армии устроена была русскими настоящая западня: войска Милорадовича стали поперек дороги и по сторонам, значит, пройти – никакой возможности. Ней, однако, не помирился с этим: он пробует пробиться, несколько раз посылает своих обессиленных солдат в штыки, но залпы тысяч ружей и сорока орудий на расстоянии 500 шагов делают свое дело... Тогда большая часть французского корпуса, состоявшая из 12000 человек, кладет оружие, вся артиллерия, 27 орудий, багаж и проч. достаются победителям. Маршала Нея, однако, не оказывается между пленными – пользуясь темнотой, он скрывается с 3000 человек, добровольно за ним последовавших.

Средство, употребленное для спасения, было не совсем легально: маршал задержал офицера, посланного к нему генералом Милорадовичем, с предложением сдаться, и, пока последний ожидал ответа, – ушел сначала по дороге к Смоленску, потом в сторону, окружным путем, к Орше.

Это отступление и потом спасение носят сказочный, легендарный характер, поражают смелостью. «Все взоры небольшого, тихо уходящего от русских войск отряда, – говорит Fezensac, – обращены на маршала, не проявляющего ни беспокойства, ни нерешительности, но никто не решается расспрашивать его. Находящемуся около него офицеру своего штаба Ней говорит: „Дело не ладно“ (Nous he sommes pas bien). – „Что вы предлагаете?“ (Quallez Vous faire?) —спросил офицер. – „Перейдем через Днепр“ (Passer le Dnieper). —»Где дорога?" (Qu'est le chemin?). – «Найдем» (Hous le trouverons). – «А если река не замерзла?» (Et s'il n'est pas gele?) – «Замерзнет» (Il le sera).

Вышло так, как он говорил. Отряд находит хромого мужика, который служит им проводником. Лед едва сдерживает, но большинство все-таки переходит, побросавши решительно все. Казаки, напавшие на след ушедшего маршала, начинают на другой день преследовать его колонну, но он, то берегом, то лесом, беспрерывно сражаясь, добирается, наконец, через двое суток до города Орши.

Говорят, будто Наполеон, узнав, что Ней явился, радостно воскликнул: «У меня 200 миллионов в Тюльерийских погребах – я их охотно отдал бы, чтобы спасти такого человека!»

Надобно заметить, что как ни почетен этот подвиг Нея, нельзя без улыбки читать рассказ о нем в XXIX бюллетене, где Наполеон говорит вопиющую несправедливость, выставляя маршала победителем.

Генерал Дюма рассказывает, что, по переходе через границу, в Гумбинске, когда он пил кофе в трактире, вошел в комнату человек, одетый в темное пальто: он был с длинною бородой, лицо его было запачкано, казалось, обожжено, покрасневшие глаза блестели. «Вот и я, – сказал он. – Что же это, генерал Дюма, вы меня не узнаете?» – Нет, кто вы такой?" – « Я – арриергард великой армии – маршал Ней...»

НАПОЛЕОН I

Для обзора деятельности самого Наполеона, в эту кампанию, возвращаюсь к началу открыто враждебных действий его против России, в 1812 году, которым было бесспорно Дрезденское свидание. После неудачного сватовства французского императора к сестре Александра I, в хорошо осведомленных придворных французских сферах стал держаться слух о намерении Наполеона раз и навсегда сбавить спеси России, хорошенько проучивши ее, но в Дрездене впервые была откинута осторожность и принято прямо угрожающее положение – на случай, если бы Александр не одумался и торжественно, откровенно, перед всей Европой, не смирился.

Русский император не смирился и афронт этого вызова получил тем сильнейшее значение, что был сделан именно перед всей Европой – скрыть его, отступить от принятого положения, было невозможно, «вино было откупорено, надобно было его выпить», по выражению самого императора французов.

Дрезденское свидание было также эпохою наибольшего могущества Наполеона, явившегося на нем настоящим королем королей. Австрийский император неоднократно, почтительно высказывал своему высокому зятю, что «он может вполне рассчитывать на Австрию для торжества общей цели». Король Прусский тоже повторял уверение «в неизменной преданности его политике».

Роскошь и великолепие французского двора в дни Дрезденского свидания, говорит очевидец, делали из Наполеона какого-то легендарного великого могола: как в Тильзите, он сыпал ценными наградами направо и налево.

Во время выходов владетельные князья подолгу дожидались чести удостоиться аудиенции. Эти новые куртизаны-добровольцы так тесно перемешивались с толпою царедворцев, что чиновникам и офицерам императора приходилось предупреждать друг друга, чтобы нечаянно не затолкать которого-нибудь из них.

Наплыв иностранцев со всех государств был необычайный, и все взоры были обращены на Наполеона: народ толпился у дворца, следил за всеми его движениями, всюду следовал за ним на улице и ждал важных событий.

«Может быть, никогда еще не бывало таких обширных и необыкновенных приготовлений, как к этой кампании,– говорит Сегюр. – Кроме чисто военных снаряжений, разыскивались и нанимались люди всевозможных профессий, по-видимому, имевших очень мало общего с военным делом – слесаря, каменщики, часовых и иных дел мастера, и все это без объяснения места будущей службы, так что в массе публики, даже незадолго до похода, еще не знали, что собираются воевать именно с Россией; напротив, были даже слухи о том, что готовятся послать ей помощь в войне с турками».

Внезапный отъезд из Парижа русского военного агента Чернышева и обстоятельства, его сопровождавшие, особенно наряжение суда над изменниками, выдавшими ему разные документы, приподняли завесу, и в обществе начали прямо говорить о том, что приготовления направлены против России. Однако, сверху не только не было официального указания на будущего неприятеля, но еще, напротив, приказом по армии запрещено было военным толковать о предстоящей кампании.

"Французская армия была в это время в самом блестящем положении. Она состояла из двенадцати армейских корпусов, в двадцать тысяч каждый, трех кавалерийских корпусов той же численности, что вместе с сорока тысячами гвардии, артиллерией, инженерами и саперами составляло четыреста тысяч человек[8].; собственно французов между ними было триста тысяч. Эта страшная сила тащила за собой тысячу двести орудий и свыше десяти тысяч зарядных ящиков и повозок. Такая масса войска, привыкшего

побеждать, гордого старою славой, полного доверия к своим начальникам и предводимого человеком, который был окружен ореолом двадцатилетних блистательнейших успехов, могла смело считаться непобедимою".

Военная молодежь смотрела на поход в Россию, как на веселый шестимесячный спорт. Армия стремилась в кампанию в уверенности на скорый успех и быстрые повышения, всякий старался попасть в нее. Говорили знакомым: «Мы в Москву, до скорого свидания!»

Стали толковать, что Пруссию наградят из новых завоеваний, соответственно ее прежним потерям. Сам Наполеон сказал об этом в своей прокламации: «В начале июля мы будем в Петербурге, я накажу императора Александра... и прусский король будет императором севера».

Всезнающие люди уверяли, что «если русские не заключат вовремя мира, то Наполеон разделит их европейские владения на две части: на герцогства Смоленское и Петербургское; а император Александр – если Наполеон сочтет возможным оставить его на троне – будет властвовать только в Азии.»

Граф Нарбон, посланный Наполеоном в Вильну, должен был сознаться, что император Александр держал себя с полным достоинством: без боязни и без заносчивости. Ответ, который он привез своему повелителю в Дрезден, указывал на то, что русский император решительно отказывался предложить что-либо кроме того, что было сообщено его послом еще в Париже, ничего не сбавлял, ничего не прибавлял. Очевидец рассказывает о впечатлении, которое произвела в Дрездене, ожидавшем окончательного решения вопроса о мире или войне, запыленная курьерская повозка графа Нарбона, привезшего известие, что «император Александр тверд в своих намерениях». Александр будто бы сказал: «Хотя мне этого не говорят, но я сам очень хорошо знаю и не стыжусь высказать, что я не полководец и не имею генералов, которых мог бы противопоставить Наполеону – уверенность моя в этом должна была бы, кажется, служить лучшим доказательством моего искреннего желания сохранить мир».

После Александр был сильно возмущен бесцеремонностью противника, перешедшего границу без объявления войны – войны, которая хотя и ожидалась у нас, но многими, между прочим канцлером Румянцевым и некоторыми другими высокопоставленными лицами, считалась до последней минуты невероятною – они искренно верили, что все кончится угрозою и смягчением предложенных с обеих сторон условий.

Девять лет спустя, когда Наполеон был уже на острове Св. Елены, император Александр поручил спросить у него, почему он отказался от условий, привезенных ему в Дрезден, из Вильны, Нарбоном. «Потому, – отвечал Наполеон, – что, по смыслу предложений, нужен был месяц, чтобы договориться до чего-нибудь, а из-за такого промедления можно было потерять всю кампанию, все громадные приготовления и заключенные союзы, которые, пожалуй, не возобновились бы после».

Наполеон громко объявил, что «рок увлекает Россию к погибели», и взял на себя роль исполнителя приговора судьбы, по которому русские, как враги европейской цивилизации, долженствовали быть отброшенными в азиатские степи.

***

Обоз Наполеона состоял из 70 повозок, запряженных восемью лошадьми каждая, 20 карет и колясок, 40 вьючных мулов и 200 верховых лошадей. Во время переездов в карете император не оставался без дела, даже и в сумерках. Свет, помещенный в глубине экипажа, дозволял ему работать по ночам так же удобно, как если бы он не выходил из своего кабинета. У подножек всегда держались адъютанты и ординарцы, и множество верховых лошадей следовали сзади, с конвоем.

В такой карете Наполеон подъехал к Неману 11/22 июня и в 2 часа ночи сел верхом. Рассказывают, что когда он выехал на берег реки —лошадь оступилась и сбросила его и что кто-то громко сказал: «Это худое предзнаменование; римлянин не пошел бы дальше» – так и не узнали, сам он или кто-нибудь из его свиты произнес эти слова.

Сделавши рекогносцировку, он отдал приказание навести к вечеру три моста через реку и, после множества распоряжений по переправе, провел остальную часть дня то в своей палатке, то в ближнем доме польского помещика, не находя покоя от ажитации и страшной жары.

При переправе на другой день он сначала стоял около моста, ободряя присутствием и взглядом солдат, приветствовавших его обычными восклицаниями; однако, нетерпение скоро пересилило: перейдя мост, он поскакал лесом, расстилавшимся по берегу реки, понесся во весь взмах своей арабской лошади, как будто ловя невидимого неприятеля...

«Как назвать, – говорит один из очевидцев, – поступок государя, который пробирается на свои аванпосты шутовски переодетый и приказывает принести себе в каске воды из Немана, пробует ее с видом заклинателя, ожидающего внушения духа... Следовало бы оставить эти смешные приемы на берегах Нила, меж суеверными народами, для которых они выдуманы, и не переносить их в Европу».

Наполеон с гвардиею, корпусами Даву, Удино и Нея, кавалерийскими корпусами Нансути, Монтбрюна и Груши – в общем 250000 человек – приготовлялся раздавить первую русскую армию быстрым нападением на центр, прежде чем вторая армия присоединится к ней. Король Вестфальский с корпусами Жюно, Понятовского, Ренье и кавалериею Латур-Мобура составляли силу в 80000, долженствовавшею проделать то же самое со второю армией. Вице-король Итальянский с армией, также приблизительно в 80000 человек, составленною из корпусов его и С. Сира, должны были броситься между обеими русскими армиями, чтобы перерезать всякое сообщение. Налево маршал Макдональд, с корпусом своим, приблизительно в 30000, должен был войти в Курляндию, угрожать правому флангу русских и Петербургу. Направо Тварценберг с австрийцами, числом также в 30000, должен был сдерживать Тормасова.

План был недурной, и движения французов под Вильною были так быстры и решительны, что корпус генерала Дохтурова и отряд Дорохова едва не были отрезаны. Потом, однако, многие ошибки: медленность Вестфальского короля, вскоре бросившего свое командование и уехавшего из армии, и нерешительность самого императора, испортили этот план. Наполеон, по-видимому, потерял из вида, что за главную операционную линию надобно было взять прямую дорогу из Вильны в Смоленск. Напирая всею массой по этой линии, ему удалось бы обойти левый фланг Барклая и правый Багратиона, а затем со всеми силами ударить на того или другого, а пожалуй и на обоих вместе. Для того именно, чтобы вернее застать русских врасплох, Наполеон и перешел границу без объявления войны, явившись в Вильну на другой день по выезде оттуда императора Александра, но он дурно воспользовался выгодою, доставленною этим шагом.

Графиня Шуазель-Гуфье, вспоминая о пребывании в Вильне Наполеона, говорит, например, о его выходе в церковь Пристав выкрикнул: «Император!», и я увидела небольшого человека, толстого, короткого, в зеленом мундире, открытом на белом жилете, окруженного маршалами – пролетевшего как пуля и занявшего место за молитвенным стулом. После обедни он вышел с тою же стремительностью". О приезде Наполеона на бал она говорит: "По первому знаку герцоги и маршалы бросились навстречу сломя голову, правда сказать, с пресмешными физиономиями. Нас с лестницы стащили чуть не на четвереньках. Наполеон подъехал в карете, за которою скакал главный конюшенный, г-н Коленкур. Ему подставили подножку, как будто бы земля была недостойна того, чтобы на нее ступила нога его величества. Он поднялся на лестницу при криках: «Да здравствует император!»... Войдя в залу, он скомандовал: «Дамы, садитесь!»...

Дальность расстояния между главными квартирами обоих противников дала повод Наполеону выразить мнение, что, «очевидно, боятся, как бы они с Александром не увиделись и не сговорились»... Однако, когда представился случай договориться Наполеон упустил его: русский генерал Балашов явился парламентером на французские аванпосты и, представленный Наполеону в Вильне, заявил от имени императора Александра, что «если будет война, то она будет долгая, тяжелая и, перед тем как начинает ее, русский государь торжественно заявляет, что не он зачинщик... Хотя русский посланник и уехал из Парижа, но объявления войны не было, договориться можно, время не ушло еще и теперь!»...

Французы, обратив внимание на выбор парламентера – министра полиции – заподозрили его в намерении только высмотреть положение и выиграть время, а всю миссию приняли за признак слабости, смущения русского правительства и... отклонили ее.

И то сказать, Наполеону, не слушавшему и не принимавшему никаких объяснений в Париже, трудно было решиться перейти к мирному тону тут. Что подумала бы Европа? Как? Чем можно было объяснить все хлопоты, приготовления, передвижения, издержки? Пожалуй, это значило бы признать себя наполовину побежденным. К тому же, все его речи перед союзниками настолько обязывали, что делали отступление почти невозможным. Но дело зашло еще дальше: увлекшись, разразившись, по обыкновению, выговорами и укорами, Наполеон наговорил русскому генералу грубостей по адресу императора Александра: "Зачем он приезжал в Вильну? Чего он добивается? Не хочет ли он опять попробовать сопротивляться? Он, парадный полководец? Сам Наполеон советуется всегда только со своею головой, а Александру кто будет советчиком, кто у него есть? Кутузова он, как русского, не любит; Бенигсен шесть лет тому назад был уже слишком стар, а теперь впал в детство; Барклай, пожалуй, храбрый и будет действовать – но ведь он умеет только отступать. К этому он ехидно прибавил: «Вы все воображаете, что умеете воевать, потому что прочитали Жомини; но, если бы по его книге можно было выучиться искусству войны – я не позволил бы напечатать ее!»

Непонятно, как после таких дерзостей, посланных своему «брату и другу», Наполеон решился впоследствии уверять его в чувствах своей неизменной преданности; с другой стороны, понятно, что получивши такие реприманды, «брат и друг» ни слова не ответил на все последующие любезности и заигрывания императора французов.

Наполеона стали тревожить прокламации и манифесты Петербургского кабинета – он наивно удивлялся выражениям гнева и ненависти, лично против него направленным: что сделалось с императором Александром, таким благодушным прежде? Говорят, что Наполеон старался скрыть эти энергические прокламации от своей армии и приказал представлять ей русские войска обескураженными, готовыми разбежаться, а русского императора —прямо бежавшим от своих войск в Петербург, чтобы молить о помощи и успокоить гнев Сената, требовавшего отчетов в положении дел – генералы русские будто бы потеряли головы, а народ в отчаянии готов припасть к ногам Наполеона...

Французская армия двигалась массой, готовая построиться в боевой порядок. – Император шел посредине.

Скоро в огромной армии стал сказываться беспорядок: броды через ручьи и речки были сбиты, перепорчены, полки проходили где и как им вздумалось, никто об этом не заботился, так как генеральный штаб пренебрегал такими мелочами. Никто не указывал опасных мест или лучшую дорогу, если их было несколько; всякий отдельный корпус действовал на свой страх.

Впоследствии много говорилось об ужасах отступления и очень мало об этом долгом и трудном наступательном движении, которое предшествовало главным бедам и в значительной мере подготовило их. Придавленная чуть не тропическою жарой, часто поставленная в необходимость пить вонючую стоячую воду и питаться сухарями, и то в незначительном количестве, армия, от голода и болезней, теряла массу

народа. Это громадное скопление людей в одних местах вызывало чистое бедствие на дорогах: везде заблудившиеся, отставшие от частей солдаты подолгу бродили, отыскивая свои полки; ординарцы, со спешными приказаниями, не были в состоянии передавать их – на мостах и в узких проходах поднимались невыразимые шум и гам. Солдаты, давно уже не получавшие пайка, продовольствовались только благодаря грабежу – отсюда величайший беспорядок и падение дисциплины, обыкновенно служащие признаком приближающегося разложения армии.

Все эти беспорядки тем резче бросались в глаза, что Барклай де Толли отходил со своих позиций в полном порядке: ни брошенных повозок, ни мертвых лошадей, хоть бы один отсталый солдат или перебежчик.

Французские массы, конечно, двигались не только большою дорогой, но и по проселкам, часто по едва заметным тропинкам, истребляя все попадавшееся на пути, кормя лошадей хлебом на корню; останавливались на бивуаки посреди полей, которые без церемоний топтали и истребляли, чтобы устроить себе хоть какое-нибудь прикрытие от жаров и дождей. Солдаты, по словам очевидцев-французов, расходились по окрестностям, разыскивая пищу, били жителей и выгоняли их из домов, которые сверху донизу грабили; они уводили также всех домашних животных и предавались излишествам, вовсе не вязавшимся с цивилизаторскою миссией похода.

"Армия подошла к Витебску, – говорит один из участников похода, de la-Fluse, – тут на открытом воздухе расположилось линиями несколько кавалерийских и пехотных полков, с многочисленною артиллерией – четыре большие колонны гвардейской пехоты образовали каре, в середине которого были раскинуты три палатки – одна императорская, другие две для свиты. Около них караул в 20 человек гренадер, с офицером и барабанщиком. Развели костры и полки послали за провизией, раздававшеюся на соседнем поле, куда свезены были мясо и хлеб. Около палатки императора происходило большое движение: генералы и адъютанты то подъезжали, то во весь опор разъезжались – знали, что неприятель недалеко, и ждали решительного дела.

Император несколько раз выходил из палатки со зрительною трубой и, опираясь на плечо офицера или солдата, рассматривал Витебск с окрестными холмами. За городом виднелась большая равнина, на которой маневрировали русские кавалерийские и пехотные войска.

Наполеон сказал, глядя на них: «Завтра они будут наши!» и приказал готовиться к битве. Перед каждым полком прочтено было воззвание: «Солдаты! Настал, наконец, желанный день. Завтра дадим сражение, которого мы давно дожидались. Надобно покончить поход одним громовым ударом! Вспомните, солдаты, ваши победы при Аустерлице и Фридланде – завтра неприятель узнает, что мы не выродились!» Армия с восторгом выслушала приказ, будучи уверена в победе – все надеялись, что этим делом кончится война, начавшая уже утомлять. Роздана была водка и после ужина и разных приготовлений к завтрашнему дню легли спать. Конечно, многие думали, что проводят последнюю ночь.

На утро встали до рассвета и оделись в парадную форму, как на праздник. Лишь только занялась заря, как все глаза обратились туда, где накануне маневрировала неприятельская армия, но равнина была пустая – когда солнце взошло, убедились, что русская армия исчезла...

Забил барабан императорского караула, – продолжает тот же очевидец, – это значило, что гренадеры, бывшие на часах, сменялись. Я с товарищами поспешили узнать от сменившегося офицера, не слыхал ли он чего новенького, так как, находясь близко от палатки императора, он мог кое-что слышать. Он нам рассказал, "что Наполеон просто пришел в ярость, когда узнал об отступлении неприятельской армии. Когда вошел в палатку князь Понятовский, имевший поручение перейти с кавалерией Двину и, обойдя русских с тыла, не допустить уйти, то караульный офицер мог расслышать, что произошло: князь пришел доложить, что не было никакой возможности пробраться за Двину, так как он не нашел брода, а вода

прибыла после бывшей грозы, да кроме того не было фуража для лошадей. Здесь между императором и Понятовским вышел крупный разговор, в продолжение которого первый сильно упрекал князя за неисполнение его приказаний, но Понятовский тоже не молчал.

– Вы извиняетесь недостатком фуража, князь, – сказал Наполеон, – а я вам скажу, что в Египте я не раз делал походы без фуража...

– Не знаю, ваше величество, – смело отвечал Понятовский, —чем вы кормили там своих лошадей, знаю только, что мои лошади не могут обойтись без сена, особенно когда нет нисколько подножного корма, который еще иногда спасает кавалерию. Без всякого фуража я рисковал очутиться в том же положении, в каком оказались вы под Сен-жен-Дакром, где, за недостатком лошадей, не могли подвезти артиллерию и принуждены были снять осаду крепости.

Тогда оба, в одно время, возвысили голос; в их спор вмешались голоса некоторых бывших тут генералов и шум поднялся такой, что я ничего не мог уже расслышать, – говорил офицер. – Они все еще продолжают спорить, – прибавил он, – если хотите, подойдите к палаткам, вероятно, услышите еще что—нибудь.

Подойдя с товарищами, будто прогуливаясь, поближе к палаткам, мы в самом деле различили голоса Наполеона и Понятовского, но только и могли расслышать, что слова последнего: «Нет, ваше величество, в этом крае, который мне известен лучше, чем вам, это невозможно, решительно невозможно». – Оба часовые стали под ружье – значит император собирался выйти и мы поскорее ушли...

На параде император обратился к группе начальства с такими словами: «Господа, служба у вас идет плохо, у вас слишком много отсталых! Офицеры по произволу останавливаются в походе и проводят время у помещиков; бивуаки их утомляют, но истинная храбрость не должна страшиться дурной погоды – грязь не запачкает чести! Солдаты нарушают дисциплину; под предлогом искания продовольствия, не возвращаются к своим корпусам и бродят в беспорядке. В окрестностях слышатся жалобы на их насилия. Надобно прекратить этот беспорядок, господа, и наказывать строго тех, которые осмелятся уходить не спросясь. В случае встречи с неприятелем, полки наши не досчитались бы своих людей; наличный состав войска такой, каким он мог бы оказаться только после сражения, тогда как мы не видали еще неприятеля. Если корпуса маршалов Удино и Макдональда одержали победу, то потому, что их полки были в полном составе, когда они пришли на берега Двины и Дриссы»...

Потом император потребовал барона Ларрея, но так как тот был в отсутствии, то на его место явился доктор Паулет, начальник походного госпиталя. Наполеон спросил его: «На сколько раненых заготовлено у нас перевязки?» – «На десять тысяч», – отвечал доктор. «Скажите мне, – продолжал Наполеон, – сколько, примерно, необходимо дней для излечения раненого?» – «Тридцать дней», – отвечал доктор. – «В таком случае, – возразил он, – вы не в состоянии подать помощь 400 человекам! Нам понадобится гораздо более!»

Глухой ропот прошел в толпе и кто-то заметил: «Сколько же, по его мнению, должно быть убитых?»

Наполеон, по-видимому, расслышал эти слова, но не обратил на них внимания и, продолжая разговор с доктором, спросил: «Где находятся госпитальные припасы и аптека?» – «Они остались в Вильне за недостатком средств к перевозке».

«Следовательно, – вскричал Наполеон, – армия лишена медикаментов и, если бы мне понадобилось принять лекарство, я не мог бы получить его?»

«В распоряжении вашего величества собственная аптека», —возразил доктор. Эти слова рассердили императора. «Я первый солдат в армии, – сказал он, возвысив голос, – и имею право на лечение при войсках, в случае нездоровья.» Потом он спросил: «Где находится главный аптекарь?» Ему отвечали: «В

Вильне.»

«Как, – вскричал Наполеон, – один из начальников медицинской части не находится при армии? Я приказываю отправить его обратно в Париж, пусть он отпускает там лекарства девкам улицы С.-Оноре. Назначить на его место другого и чтобы вся госпитальная часть примкнула к армии.»

В Витебске армия не нашла в населении виленского энтузиазма: жители встречали французов не как освободителей, а только как победителей... Очевидно, Литва была не особенно довольна присоединением к своему прежнему отечеству, Польше – положение, занятое жителями, было не особенно дружественное.

Чтобы поразить воображение литовцев, Наполеон, на одной и той же аудиенции, толковал о драматических произведениях и религиях, о войне и искусстве; разъезжал верхом во всякое время дня и ночи и, приказавши построить тут мост, там укрепление, возвращался домой; иногда накануне стычки появлялся на балу или в концерте – словом, видимо старался удивить своею разностороннею деятельностью.

Так как русские отступали из—под Витебска и их не настигли, то Наполеон возвратился в этот город 28/16 июля. Вступая в свою главную квартиру, он, по рассказу Сегюра, снял шпагу и, бросивши ее на разбросанные по столу карты и планы, громко и внятно сказал: «Здесь я останавливаюсь! Осмотрюсь, соберу армию, дам ей отдохнуть и устрою Польшу – кампания 1812 года кончена!» Тотчас было проектировано устройство всевозможных заведений, приказано собрать для армии запас хлеба на 36 дней. При этом Наполеон не забывал и о развлечениях: парижские актеры будут переведены в Витебск на зиму и так как город пуст, то зрителей и зрительниц добудут из Варшавы и Вильны.

«Мюрат, – сказал император французов, обращаясь к Неаполитанскому королю, – первая русская кампания кончена; водрузим здесь наши знамена. Две большие реки очертят нашу позицию, устроим по этой линии блокгаузы, скрестим линии огня, составим каре, с орудиями по углам и впереди. Внутри построим бараки и магазины. 1813 год увидит нас в Москве, 1814 – в Петербурге. Война с Россиею – трехлетняя война!»

В тот самый день, как это было сказано, он обратился к одному из главных чиновников армии со словами: «Что касается вас, милостивый государь, позаботьтесь о том, чтобы прокормить нас здесь, потому что мы не повторим ошибки Карла XII».

В это время Наполеон получил известие о заключении мира между Россиею и Портою. «Турки дорого заплатят за свою ошибку; она так велика, что я и предвидеть ее не мог», – сказал он. Понимая, что теперь делалось возможным и вероятным движение русской Молдавской армии ему в тыл, он стал подумывать о том, что, пожалуй, не худо было бы поскорее разбить обе русские армии, перед ним находившиеся – чем скорее, тем лучше.

Это и другие обстоятельства стали изменять его образ мыслей, и прежние рассуждения о необходимости остановиться не только потеряли свою силу, но и начали сменяться другими, прямо противоположного характера: Наполеоном овладело беспокойство, нерешительность: оставаться зимовать в Витебске или немедленно идти вперед?

За разрешением своих сомнений он обращался часто на своих прогулках, ко встречным из близких ему, с отрывочными фразами: «Ну что! Что мы станем делать? А? Останемся здесь, или пойдем дальше? Неужели останавливаться на полдороге?» – и, не дождавшись ответа, шел дальше, как будто ища чего-нибудь или кого-нибудь, кто решил бы его вопрос... Подавленный этими тяжелыми мыслями, не смея решиться, он бросался в одном белье на кровать свою, изнуренный жарою и беспокойством...

Так проводил он в Витебске большую часть времени, в продолжение которого накапливалось все более и более предлогов в пользу немедленного движения к Москве. «Оставаться, – стал он рассуждать, –

значит просто решиться медленно умирать со скуки в Витебске, в продолжение целых семи зимних месяцев! Он, который до сих пор всегда нападал, будет поставлен в необходимость защищаться! Стыд и срам... Европа скажет: он остановился потому, что не посмел идти дальше!...»

«Неужели он даст России время поголовно вооружиться? И до которых пор протянется эта неизвестность, не подрывая веры в его непогрешимость, уже ослабленную сопротивлением Испании? Что подумают, когда, узнают, что целая треть его армии растеряна уже больными, отставшими, пропавшими без вести? Надобно скорее ослепить всех блеском большой победы – лавры прикроют все жертвы.»

И вот Наполеон начинает находить, что пребывание в Витебске сулит только неприятности, потери, разные неудобства и беспокойства оборонительного положения, а Москва, напротив, обещает все лучшее: довольство, контрибуцию, славу – и мир!

Но чем решительнее хочет действовать император, тем сильнее сказывается охлаждение и недовольство вокруг него. За две недели отдыха порассудили немножко о том, что забрались далеко и что война принимает угрожающий характер – порицали все, что могло служить к ее продолжению, и, напротив, отстаивали то, что способно было положить ей конец.

Император, во что бы то ни стало желавший добиться одобрения его планов всеми, даже не высказывающими обыкновенно своих убеждений, созвал на совет главных начальников армии и – может быть, первый раз еще – его помощники были призваны откровенно высказать свое мнение.

"Чем больше неприятель проявляет энергии, – говорил он маршалам и ближним генералам, – тем менее должны мы ослаблять преследование. Неужели мы дадим время этим восточным фанатикам поднять и выслать против нас все свои степи? Не располагаться же в июле месяце на зимние квартиры? Такую кампанию, как эта, разве мыслимо разделить на несколько частей, – говорил он (забывая, что еще недавно поддерживал противоположный взгляд); – будьте уверены, что я немало думал об этом! Войска наши охотно идут вперед, наступательная война всегда им по душе; но стоять долго на месте не в характере француза. Остановиться под прикрытием замерзающих рек, сидеть в землянках, терпеть в продолжение восьми месяцев лишения и скуку, ежедневно маневрировать и останавливаться на том же месте – разве мы так привыкли воевать?

Зима страшна не одними морозами, она сулит нам бесконечные дипломатические интриги в нашем тылу. Не опасно ли дать всем этим союзникам – которых удалось склонить на свою сторону, но которым, вероятно, не по себе в наших рядах – время размыслить об неестественности их положения?

Зачем бездействовать восемь месяцев, когда в двадцать суток мы можем достигнуть цели. Опередим зиму! Мы рискуем испортить все дело, если не нанесем быстрого решительного удара: коли не будем в Москве через двадцать дней, так, пожалуй, никогда туда не попадем!... Мир в Москве дополнит, покончит мои завоевания!"

Однако, время года было уже позднее и мнение маршалов было то, что дальше двигаться невозможно. Бертье, князь Невшательский, позволил себе представить мотивированное заключение в этом смысле императору, но тот принял его очень худо: «Подите вы прочь, —сказал он ему, – вы мне не нужны, вы просто... Поезжайте домой, я никого не держу силой».

Бертье все-таки, однако, старался отговорить Наполеона от принятого решения, если не доводами, то хоть своим печальным видом, чуть не слезами; Лобау и Коленкур – более открытым сопротивлением, которое у первого сказалось грубовато, у второго настойчиво – император с сердцем отклонил все их мнения и советы и, метя особенно в Коленкура и Бертье, заметил, что «он слишком обогатил своих генералов, которые думают теперь только об охоте, да о том, чтобы разъезжать по Парижу в богатых экипажах – не хотят больше и слышать о войне»...

Дюроку, который тоже говорил против, император ответил: он очень хорошо видит, что русские желают его заманить подальше, но до Смоленска во всяком случае нужно дойти; он там устроится и весною 1813 года, если Россия не заключит мира, прикончит ее! Смоленск – ключ двух дорог: на Петербург и на Москву, и его нужно захватить, потому что тогда можно будет выступить сразу против обеих столиц, разрушить одну и приберечь другую." Коленкур заметил ему, что ни в Смоленске, ни в самой Москве, мир не будет ближе, чем в Витебске и что уходить так далеко, рассчитывая на верность пруссаков, крайне рискованно... Когда император спросил графа Дарю о том, какого он мнения об этой войне, – тот ответил: «что она не популярна, что ни ввоз каких-то английских товаров, ни самое восстановление Польши не оправдывают такой отдаленной кампании – войска Ваши и сами мы не понимаем необходимости и цели ее и все указывает на то, что нужно остановиться здесь».

"Да что же, наконец, – воскликнул император, – разве думают, что я сумасшедший! Полагают разве, что мне самому по вкусу такая война? Я всегда говорил, что испанская и русская войны составляют две язвы, подтачивающие организм Франции, которые она не может выносить в одно время. Я желаю мира, но ведь для переговоров нужно, чтобы были две стороны, а покамест я один – ведь от Александра не было еще и двух слов. Чего ждать в Витебске? Правда, реки очертили их позицию, но ведь зимою в этих странах нет рек, так что это только воображаемые линии. Тут во всем будет у нас недостаток, все надобно будет покупать, в Москве же все получим даром. Он может, правда, воротиться в Вильну, но если продовольствоваться там будет удобнее, так защищаться не легче и для полной безопасности надо отступить до Немана, т.е. потерять Литву. Напротив, выступивши к Смоленску, он или одержит решительную победу, или займет крепкую позицию на Днепре.

Ведь если всегда ожидать стечения всех благоприятных обстоятельств, то никогда ничего нельзя предпринимать; чтобы кончить что-нибудь, нужно сначала начать – нет такого предприятия, в котором все счастливо соединялось бы, и во всех человеческих делах случай играет немаловажную роль; следование правилу не обеспечивает еще успеха, а успех, напротив, создает правило, и если его кампания удастся, то из этих новых успехов наверное создастся новое руководство для будущего.

«Крови еще не пролито и Россия слишком велика, чтобы уступить без боя. Александр не может помириться, если бы и хотел, иначе, как после большого поражения. Я выиграю эту первую битву во что бы то ни стало и, если понадобится, пойду за нею до самого их священного города... Я уверен, что мир ждет меня у ворот Москвы... Предположим, однако, что Александр и после того станет упрямиться – что ж, я войду тогда в сношения с жителями столицы, с боярами, они поймут свои выгоды, оценят свободу»... Он прибавил, «что Москва ненавидит Петербург, и он сумеет воспользоваться этим соперничеством – результаты этой зависти между столицами могут быть неисчислимы...» Так, по словам Сегюра и др., рассуждал Наполеон, все более и более склоняясь к немедленному походу на Москву.

Наконец, неудача Себастиани дала окончательный предлог для наступления: русская кавалерия совершенно опрокинула французскую, и смелость и дерзость атаки заставили императора искать возможности загладить неудачу решительной победой.

Однако, сомнения и колебания Наполеона отразились на движении французской армии, и хорошо задуманный план —врезавшись между русских армий, разбить каждую отдельно – не был исполнен.

Конечно, усилия русских к скорейшему соединению немало способствовали расстройству планов завоевателя. В России от государя до последнего солдата верили, что с соединением армий не только должно прекратиться отступление, но останется только наступать на неприятеля, так далеко зарвавшегося. В действительности было не совсем так и русский главнокомандующий менее всего думал о переходе в наступление против много превосходивших сил противника.

В этом отношении очень интересно показание Дюма, генерала-интенданта французской армии,

рассказывающего, что один офицер провел три месяца в Мемеле, в близком знакомстве с Барклаем де Толли, перевезенным туда после тяжелой раны под Эйлау. Офицер рассказывал, что хорошо запомнил подробности плана «последовательных отступлений, которыми русский генерал надеялся заманить страшную французскую армию в самое сердце России, даже, если возможно, за Москву; утомить ее, удалить от базы операций, заставить истратить свои снаряды и все запасы, щадя русские войска – до тех пор, пока, с помощью холодов, можно будет начать наступательные действия и принудить Наполеона пройти на берегах Волги через вторую Полтаву – это было страшное пророчество»...

Сам Наполеон понимал, что его «заманивают», как он выразился, но, как сказано, если не от Москвы, то от Смоленска, пока не мог отказаться и двинулся на последний город, продолжая одерживать «победы» своих бюллетеней. Одерживать эти победы было тем легче, что русский план отступления помогал правдоподобию их: французы все наступали, а русские все отходили – значит первые все одерживали победы над последними. Даже известное отступление Неверовского названо в XVII бюллетене «стычкою, окончившеюся в пользу французов». Между тем, «стычка» эта состояла в том, что дивизию Неверовского, спешно отступавшую к Смоленску, Мюрат догнал и окружил тридцатью полками кавалерии, корпусов Нансути, Груши и легкой бригады. В виду опасности русский генерал построился в каре, сохраняя которое и продолжал отходить. Как ни налетала со всех сторон французская кавалерия на маленький отряд, ей не удалось прорвать колонну, на которую было сделано до сорока атак. Французы окружали русских так тесно, что могли переговариваться с ними, и Мюрат не раз предлагал Неверовскому сдаться, но он отхватил только семь русских орудий и получил от Наполеона справедливое замечание, что «следовало представить не эти пушчонки, а всю русскую дивизию».

Под Смоленском Наполеон провел целый вечер за личным подробным опросом пленных и на радости, что догнал таки, наконец, русскую армию, атаковал ее в лоб, вместо того, чтобы обойти и ударить с тыла. Можно было, демонстрируя перед городом сильным отрядом, направить главные силы армии направо за Днепр и атаковать левый фланг защищавших город русских. Армия Наполеона была так велика, что он смело мог разделить таким образом свои силы. Думают, что он и хотел отрезать князя Багратиона, но не нашел брода.

За страшные потери, понесенные под Смоленском, французы немало винят маршала Даву, будто бы сделавшего ошибку по близорукости; затем и Наполеона за то, что он не обошел русских – осуждают почти единогласно. «Штурмовать укрепления Смоленска, – говорит автор „Писем о русской кампании 12 года“, – в то время, как достаточно бы артиллерии и обхода города – было ошибкой. Дать раздавить польскую пехоту, тут, близ самой родины ее – было ошибкой. Пойти дальше, в необъятную и бедную страну, перед началом зимы – было ошибкой»...

После Смоленского дела Наполеона видели объезжающего поле битвы и с самым довольным видом потирающего руки: «Пятеро русских, – говорил он, – на одного француза» – но это было неверно, потому что французы потеряли не 8000, как они официально признавали, а около 20000. Bourgeois признает на 6000 убитых до 10000 раненых, которых по всегдашней пропорции надобно считать даже более; он предполагает потери русских не больше такой же цифры. Это и неудивительно, так как русские оборонялись под прикрытиями, тогда как неприятель штурмовал по совершенно открытой местности и несколько раз был отбит.

С другой стороны, наши свидетельства признают, что потеря Смоленска навела страх на многих русских, до того довольно спокойно относившихся к нашествию. Сцена разорения и ужаса, которую представлял внутренний вид города, была ужасна: многие улицы были совершенно выжжены и полны убитых, обгоревших и умирающих.

Когда Наполеон, поднявшись на старую башню Смоленской стены, окинул взглядом местность,

накануне еще занятую русской армией, то увидел, что Барклая де Толли не было – он опять ушел! Уничтожить русскую армию не удалось, а занятие выжженного города не представляло того решительного громового удара, который мог бы, если не доставить мир, то хоть оправдать перед Европой принесенные жертвы и остановку на зимние квартиры: нужно было идти далее!

Уже раньше французский император понял необходимость смягчить свой гордый «Дрезденский» тон царя царей и, на всякий случай, забросил удочку мира в бесконечное море вражды, перед ним расстилавшееся: в письме маршала Бертье к Барклаю де Толли, посланном под благовидным предлогом разных сожалений, в сущности бывшем только оболочкой намерения стороной завязать переговоры, сказано: «Император, господин барон, которому я сообщил это мое письмо к вам, поручил мне просить вас засвидетельствовать его почтение императору Александру, если он находится при армии. Скажите ему, что ни превратности войны и никакие другие обстоятельства не могут изменить чувства уважения и дружбы, которые он питает к нему.»

На это зондирование не последовало ответа. Тогда Наполеон пользуется первым, кажущимся ему удобным, случаем и заговаривает о своих мирных чувствах и намерениях с пленным генералом Тучковым, которого просит написать о них своему брату, тоже генералу русской армии. «Не я начал войну! – говорил он, – Зачем вы отступаете? Зачем отдали мне Смоленск – ничего так не желаю, как заключить мир»... Он просит Тучкова написать и о том, что главнокомандующий поступает дурно, выводя за собою все власти. Он делает Тучкову предложение составить род третейского суда для решения, на чьей стороне больше вероятности победы – если решат, что на русской, то пусть назначат место сражения, а коли на французской – так зачем далее проливать кровь по-пустому, «вступим в переговоры и заключим мир.» (Через Бертье он делает представление императору Александру «приказать губернаторам оставаться на своих местах» и т.п.)

Конечно, и эти заигрывания не могли иметь никаких последствий; единственным оправданием их могло быть то ужасное состояние духа, в котором Наполеон находился. Он понимал всю громадность своего предприятия, увеличившегося тем больше, чем дальше он шел. Он начинал иметь дело с народами – на этот раз со второю Испанией, еще худшею, во всяком случае, более сильною, более отдаленною, бесконечно большою и мало производительною... Имя Карла XII стало часто являться на его устах в это время, как рассказывают.

Слышали, как Мюрат сказал раз Наполеону, что «если русские не хотят принимать битвы, так не стоит их преследовать, пора остановиться!» Император живо ответил ему, но что именно – не слышали; только потом со слов короля узнали, что он будто бы становился на колени перед своим шурином и умолял остановиться, но, к сожалению, Наполеон ничего не хотел знать кроме Москвы, в которой для него было все: честь, слава и отдых. "Все заметили, – говорит Сегюр, что когда Мюрат уходил от Наполеона после этого разговора, лицо его выражало глубокое горе и движения были порывисты – он несколько раз произнес слова: «Ох, эта Москва!»

Твердо решившись идти вперед, Наполеон снова вполне овладел собою, сделался весел, спокоен, что с ним обыкновенно бывало, когда он останавливался на каком-нибудь плане. После дела при Заболотье – под Валутиной, как называли французы, – он говорит: «Мы слишком далеко забрались, чтобы отступить; если бы я заботился только о славе, я воротился бы в Смоленск, водрузил там свои знамена и начал бы распоряжаться... Кампания кончилась бы, но война нет. Мир перед нами, – и мы в восьми днях расстояния от него – можно ли рассуждать, будучи так близко от цели? Идем на Москву!»

Лучшим ответом на это решение были слова одного из манифестов императора Александра: «Он грозит идти на Москву – пусть идет... если он будет и победителем, то все-таки не избегнет участи Карла XII.»

Про себя, впрочем, Наполеон далеко не был уверен в том, в чем старался убедить других. Так, маршалу Виктору он писал из Смоленска: «Может быть я не найду мира там, где ищу его; тогда, опираясь на ваш резерв, буду в состоянии отступить, безостановочно, но и без торопливости.»

Если сопоставить все рассуждения Наполеона, сначала при намерении остаться в Витебске и Смоленске, потом при решении идти на Москву в поисках мира, с решением русских заманивать его возможно дальше – нельзя не подивиться легкости, с которой он дал ввести себя в заблуждение.

** * **

Выше было приведено мнение русского главнокомандующего о наилучшем способе войны с Наполеоном. Но не один Барклай понял недостатки Наполеонова гения. Бывший военный агент в Париже, Чернышев, при самом начале надвигавшейся грозы, с замечательною проницательностью определил и назначил как будущий образ действий императора французов, так и наилучший способ отражения задуманных им ударов.

"Приготовления к войне кончены, – писал он в Петербург военному министру в 1811 году. – Император Наполеон все более и более раздражается против нас и если война не откроется этой осенью, то потому только, что поздно, и Наполеон, помня Пултусскую кампанию, может опасаться грязи в Польше, что, конечно, препятствовало бы ему достигнуть цели, которая не может быть иною, как покончить эту кампанию одним громовым ударом, как все предшествовавшие!...

Убедившись в том, что война решена и неизбежна, должно приготовить все средства, необходимые для того, чтобы не только противостоять первому напору, но и продолжать войну насколько это будет возможно. Опыт показал, что это единственный способ, который дает возможность почти наверно победоносно действовать против Наполеона, и что он затруднялся и делал ложные движения всякий раз, когда встречал продолжительное сопротивление... Это единственный образ действия, которому должно следовать наше правительство в таких затруднительных и важных обстоятельствах. Один он даст нам возможность восторжествовать над угнетателем мира...

Настоящий способ вести эту войну, по моему мнению, должен заключаться в том, чтобы избегать всякого генерального сражения и сообразоваться сколько возможно с малою войной, принятою в Испании против французов, чтобы их тревожить, и стараться уничтожить недостатком продовольствия такие огромные массы, которые они поведут против нас."

Интересны также советы маршала Бернадота, тогда уже правителя Швеции: "В том положении, в котором находится Россия в отношении к Франции, вся ее выгода заключается в том, чтобы затянуть войну надолго, потому что она может это сделать, а Наполеон не может. Следует как можно менее рассчитывать на случай и потому необходимо избегать больших сражений, а скорее привести войну к мелким стычкам... Чтобы было много казаков... отнимать у него обозы и уничтожать продовольственные средства... Если бы пришлось отступить за Двину и, чтобы все сказать, за Неву – только бы упорно продолжали действовать – все устроится и Наполеон окончит с Александром, как Карл XII с Петром I.

Наполеон ничем не пренебрегает для успеха; его средства уже истощены и он не может выдержать войны на два года – ни денег, ни людей, ни лошадей, и чем более он подвинется вперед, тем ему будет хуже; но, конечно, было бы лучше, чтобы дела не дошли до такой крайности, потому что много вреда будет причинено провинциям и, при начале, несчастие произведет дурное впечатление."

Несмотря на все эти умные советы, мы едва не попались в нами же устроенной мышеловке, под Дриссою. Теперь можно сказать: напротив, для России вышло лучше, что дело дошло до отступления за Двину, так как иначе трудно было бы одолеть врага.

Наполеон пошел прямо к Москве.

Проходя Вязьмою, он натолкнулся на беспорядки, страшно рассердился, въехал в толпу солдат, некоторых избил, некоторых повалил лошадью, приказал схватить одного маркитанта и велел тотчас же нарядить суд и расстрелять его. Этого несчастного поставили потом на колени по дороге императора и поместили тут же около него какую-то женщину с несколькими детьми, как бы его семью, благодаря чему дело кончилось благополучно. Об этом случае поминает Fezensac: «При проезде маленьким городом Вязьмой, Наполеон наткнулся на солдат, грабивших винный погреб. Он пришел в бешенство, бросился на них, стал бранить и бить хлыстом направо и налево. Невозможность захватить русскую армию и опустошения, ею сделанные на нашем пути, сердили его так, что попадало всем окружающим.»[9]

* * *

Князь Кутузов был назначен главнокомандующим русскою армией и император пожелал собрать возможно более сведений о своем новом противнике. Ему описали его как «старца, выдвинувшегося в былые времена весьма интересною, прямо необыкновенною раной. С тех пор он сумел воспользоваться обстоятельствами. Самое поражение, понесенное им под Аустерлицем, которое он предсказал, только увеличило его репутацию. Последняя же кампания против турок еще более ее усилила. Не было сомнения, что это был человек с достоинствами, но его упрекали в том, что он слишком придерживался своих собственных интересов, делал все с личным расчетом. Это был темперамент медлительный, злопамятный и, главное, хитрый – чисто татарский... Скорее, впрочем, куртизан, чем генерал, но бесспорно опасный своею репутацией... Русские находили в его наружности, разговоре, одежде, наконец, в его суеверии и даже в его летах напоминание Суворова и людей Екатерининского времени, чем он был дорог своим соотечественникам. В Москве радость по поводу его назначения была так велика, что обнимались и поздравляли друг друга на улицах»...

Приезд Кутузова в армию произвел тем большее впечатление на солдат, что постоянное отступление уменьшило доверие к начальству. Первым виновником проявленной трусости считался, конечно, главнокомандующий, человек больших талантов и ума, настойчиво проводивший раз намеченный образ действий – непонятый вполне никем из современников, включая и императора Александра, который, также поддаваясь давлению окружающих, изъявлял знаки нетерпения, требовал наступления, немедленных побед и проч. Пылкий князь Багратион, особенно настаивая на переходе в наступление, увлекался до доносов; но он не нес ответственности Барклая и вряд ли не сознавал втайне, что решительное сражение имело бы дурные последствия для России. Военный совет императора Александра решал наступления, но главнокомандующий неизменно принимал решение, противное общему увлечению, подавая сначала вид, будто разделяет его, и репутация его сильно пострадала от этого. Новый главнокомандующий Кутузов не решился рисковать своей очень большой популярностью и порешил принять битву, которую, как умный человек, тоже вряд ли одобрял.

Нельзя не сказать, что выбор Бородинского поля для большого оборонительного сражения делает честь как Кутузову, так и его начальнику штаба, полковнику Толю – это сильная позиция на двух линиях, стоящая и теперь посещения офицеров генерального штаба для изучения ее, так же, как и системы защиты, спешно на ней построенной, слабой лишь на левом фланге.

Французская армия, состоявшая при переходе через Неман из четырехсот тысяч человек, сравнительно мало потерявшая в битвах, явилась на Бородинское поле не более как со ста тридцатью тысячами. Невольно является вопрос: что же сделалось с двумястами пятьюдесятью тысячами, которых недоставало даже по признанию XVIII бюллетеня? Откуда явились также массы русских войск, которые, по словам тех же бюллетеней, в продолжении 2 1/2 месяцев французы безустанно, десятками тысяч,

истребляли, которые разбегались по домам и т.п.?

Накануне Бородинской битвы Наполеон, по свидетельству близких ему, был совершенно спокоен. Он говорил о России, как о доброй французской губернии. Послушать его – окрестности были готовые житницы армии и превосходное место для зимних квартир. Первое распоряжение его управления – которое он расположит в Гжатске – будет оказание покровительства хлебопашеству... По-видимому, он был в восторге от перспективы, перед ним открывавшейся. Редко император бывал так мирно настроен, редко сказывалось столько спокойствия в его разговоре и во всей его фигуре.

Нужно заметить, что Бородинские укрепления были весьма слабого профиля частью из-за спешности работы, частью из-за того, что, например, во второй армии, составлявшей левый фланг, не было шанцевого инструмента, отчего батарея Раевского и Семеновские флеши были далеко не грозны. У Тучкова, на позиции при Утице, почти ничего не было сделано, по неимению средств, а ее, конечно, следовало связать редутами и флешами с. левым флангом[10].

Наполеон сообразил, что самая слабая часть русской позиции —левый фланг и, после тщательного осмотра Бородинских высот, убедился в необходимости направить все усилия на это место, т.е. на атаку своим правым флангом – когда к нему явился маршал Даву с предложением "отдать ему Понятовского, слишком слабого для отдельного действия, для **обхода** неприятеля: ночью перед рассветом он двинется с ним и со своими пятью дивизиями, силою в 35000, под прикрытием леса, в который упираются русские, обойдет их по старой Смоленской дороге и быстро ударит на левый фланг с тыла. Пока император поведет атаку с фронта, он пройдет безостановочно от редута к редуту, от резерва к резерву, разнесет все стоящее на Можайской дороге и прикончит тут русскую армию, а с нею и войну."

Предложением этим Даву еще раз доказал, что он лучший тактик из всех маршалов Наполеоновской школы, и весьма вероятно, что исполнение его смелого плана привело бы русскую армию в полное расстройство. Но Наполеон, внимательно выслушав маршала, после нескольких минут молчаливого размышления, ответил: «Нет! Это слишком своеобразное движение; оно очень удалит меня от моей прямой цели и заставит потерять много времени...»

Герцог Экмюльский, уверенный в справедливости своего взгляда, настаивал; по словам Сегюра, он брался выполнить этот маневр до 6 часов вечера и ручался за полный разгром русской армии. Но Наполеон, видимо недовольный настойчивостью маршала, прервал его: «Ах! Вы всегда за эти обходы, это слишком опасно!» – Маршал замолчал и ушел ни с чем... к счастью для русской армии.

Кутузов между тем скоро заметил намерение противника и уже в деле, под огнем, перевел весь корпус Багговута с правого фланга, против которого слабо действовал принц Евгений, на помощь второй армии, да кроме того, в свою очередь, напугал французов движением в обход их левого фланга кавалериею Уварова и казаками.

Обе стороны поняли, что Семеновские высоты составляли ключ позиции.

Надобно сказать, что всю ночь перед битвой Наполеон опасался, как бы русская армия опять не отступила. Эта боязнь не давала ему спать; он беспрерывно призывал, спрашивал который час, не слышно ли у русских шума и посылал смотреть, не ушли ли они?

Успокоившись на этот счет, он начинал выражать опасение за своих голодных, ослабевших солдат – как-то они выдержат этот удар?.. Он призывает Бессиера, к которому, кажется, из всех маршалов питал наиболее доверия. Он хочет знать, получила ли гвардия все, что ей следует, несколько раз спрашивает о том-же.

Наконец, все еще не доверяя, встает и сам переспрашивает у часовых своей палатки, получили ли они свой паек? После утвердительного ответа он снова ложится и тревожно засыпает.

Скоро, однако, он опять зовет. Адъютант находит его с опущенною на руку головой; послушать его, так он занят мыслями о суетности земной славы! Наполеон обдумывает критическое положение, в котором находится, и прибавляет: «Готовится великий день, битва будет ужасна!» и спрашивает Раппа, – уверен ли он в победе? Конечно, отвечает тот, но победа достанется кровью.

Опять его берет старое беспокойство, и он снова посылает разузнать насчет русских – тут ли, не ушли ли они? Уверенный, что они тут, он старается успокоиться, но утомительные переходы последнего времени, ночные тревоги, всяческие заботы и ожидания так разбили его, что, с охлаждением за ночь температуры, его схватывает лихорадка, сухой кашель и нервное раздражение! Всю последующую часть ночи он не может утолить сильной жажды. К этому прибавляется старая беда: со вчерашнего дня у него мучительный припадок болезни dysurie[11], от которой он уже давно и сильно страдал...

Пять часов, наконец. Приходит офицер от Нея с донесением, что русские перед ним и что маршал просит разрешения начать атаку. Наполеон приободряется, встает, собирается свита, и он выходит со словами: «Наконец-то они в наших руках! Вперед! Перед нами ворота Москвы!» – так рассказывает Сегюр.

Началась знаменитая в военных летописях Бородинская битва, гром пушек которой разносился по ветру за 120 верст!

Весь главный день этой битвы Наполеон большей частью сидел, иногда тихо прогуливался немного впереди, влево от занятого Шевардинского редута, близ обрыва – оттуда он едва мог различать битву, с тех пор как она передвинулась вперед... Не один раз он поднимался, делал по нескольку шагов и снова садился... Все окружающие смотрели на него с удивлением. Привыкли в подобных обстоятельствах к спокойной самоуверенной распорядительности, а тут видели какое-то тяжелое спокойствие, слабость, бездеятельность. Одни видели в этом усталость, другие думали, что должно быть, ему все надоело, даже и битвы; некоторые подозревали тайное страдание, большое недомогание...

Последнее предположение было наиболее вероятное: слуга Наполеона Constant положительно утверждает, что во все продолжение Бородинской битвы он страдал от припадка помянутой dysurie; к тому же с некоторого времени у него был сильный насморк, который он запустил и который усилился от тревог этого дня; вдобавок оказался еще упадок голоса.

"Во время сражения, – пишет de la Fluse, – Наполеон не садился на лошадь. Он ходил со свитою офицеров и не переставал следить за ходом битвы, гуляя взад и вперед по одному направлению. Говорили, что он не садился на лошадь оттого, что был нездоров...

Адъютанты беспрестанно получали от него приказания и отъезжали прочь. Позади Наполеона стояла гвардия и несколько резервных корпусов. Полковая музыка наигрывала военные мотивы, напоминавшие военные поля первой революции: «allons, enfants de la patrie!»[12]. Тут эти звуки не одушевляли солдат, а некоторые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи. Перед ними расстилалось зрелище ужасной битвы, но ничего не было видно за дымом тысячи орудий, гремевших без перерыва... Я несколько придвинулся к императору, который не переставал смотреть в трубу на поле сражения. Он одет был в свое серое пальто и говорил мало. Случалось, что ядра подкатывались к его ногам он сторонился, так же как и все мы."

Было три часа пополудни; французы завладели и Семеновскими флешами, но русская армия держалась крепко позади второй линии укреплений и не думала не только бежать, но и отступать. Наполеон, устрашенный необычными потерями солдат, офицеров и генералов, остановил дальнейшие атаки и, несмотря на настойчивые просьбы, не давал последних резервов для решительного, окончательного натиска.

Маршалы отправили к нему за помощью генерала Беллиара, который объяснил, что с позиции их

видно, как все пространство Можайской дороги покрылось отступающими, повозками и беглецами... что нужен только еще один хороший удар, чтобы покончить с неприятельскою армией!

Император колеблется, сомневается и приказывает генералу пойти еще раз посмотреть и потом доложить ему.

Удивленный Беллиар отъезжает и скоро снова возвращается с известием, что «неприятель, по-видимому, начинает оправляться, что момент для окончательного удара ускользает, так что ни минуты терять нельзя, если хотят им воспользоваться; иначе придется дать второе сражение, чтобы закончить первое»... Но Бессиер воротился в это время с высот, на которые Наполеон послал его для наблюдения за положением русских. Этот маршал настаивает на том, что «они не только не отступали в беспорядке, но, отойдя на вторую позицию, прямо готовились к атаке.» Тогда император сказал Беллиару, «что дело еще не выяснилось, что перед тем, как решиться дать последние резервы, он хочет яснее разобраться на своей шахматной доске!» Это выражение он повторил несколько раз.

Совершенно сконфуженный, Беллиар возвращается к Мюрату и другим маршалам, нетерпеливо ожидавшим подкреплений, и доносит о невозможности добиться их. "Он нашел императора на том же месте, видимо страдающего и обескураженного, с опустившимися чертами лица, потухшим взглядом, вяло раздающего приказания...

Все были поражены, а Ней, необузданный, горячий, прямо разразился: «Что же это, наконец! Разве мы пришли сюда для удовольствия занимать поля? Что император делает там, назади? Он видит только обратную сторону дела. Коли он не хочет сам вести войну, перестал быть генералом и корчит императора, пускай убирается... в Тюльери и передает дело нам!»...

Дарю, в свою очередь, подбитый Дюма и Бертье, шепнул императору, что со всех сторон слышен один голос: «Время гвардии ударить!», но Наполеон ответил ему: «А если завтра придется дать второе сражение, с кем я поведу его?»

Страдания Наполеона, по-видимому, увеличились, он через силу сел на лошадь и тихо направился к Семеновским высотам. Он убедился, что поле битвы отвоевано далеко не вполне и снаряды неприятельские, даже пули, еще оспаривали его...

Мюрат выразился, что в этот великий и знаменательный день он не узнал гения Наполеона. Вице-король Евгений признался, что не может понять нерешительности своего вотчима. Ней же, когда обратились к нему за его мнением, был так сердит, что посоветовал отступить...

Вся французская армия была недовольна результатами битвы и недостатком энергии со стороны Наполеона. Особенно обвиняли Бессиера: в самую критическую минуту, когда император решился уже было дать свои резервы, он подошел и шепнул ему: «Ваше величество, не забывайте, что вы за 800 лье от вашей столицы.»

Есть, однако, и другие голоса; так, Шамбрей свидетельствует, что «вся французская армия была поражена упорным характером этого великого боя»; а Гурго, защищая Наполеона, прямо говорит, что «если бы в Бородинской битве ослабили гвардию, то остатки французской армии, которой она составляла ядро и главную силу за время отступления, вряд ли дотащились бы до Немана.»...

Из русских писателей одни винят Наполеона, другие находят, что иначе он не мог действовать: «Ничто, – говорит Бутурлин, – не может оправдать Наполеона в том, что он закончил битву в три часа, в тот момент, когда еще несколько усилий с его стороны наверное закрепили бы за ним победу. Последние резервы русских уже были в деле, тогда как со стороны французов обе гвардии, старая и молодая, со всею их кавалерией, всего с лишком 20000 человек, не участвовали еще в сражении. Нет ни малейшего сомнения в том, что пустивши в дело 23 батальона и 27 эскадронов, составлявших это отборное войско,

Наполеон начисто разбил бы русскую армию и заставил бы ее все остальные четыре часа этого дня не готовиться к атаке, а бежать и бежать.»

Данилевский, засвидетельствовавши тот факт, что занявши Семеновские флеши, французы не только не продолжали нападения на совершенно близко от них стоявших в новой позиции русских, но даже отовсюду отошли на ночь назад; упомянувши о том, что будто до 11 часов следующего дня французская армия не решалась возобновить нападения, ожидая его с русской стороны, и двинулась вперед только тогда, когда последняя начала отступать[13] – выражает мнение, что отказом Наполеона дать молодую гвардию на подкрепление кавалерии, прорубавшейся через наш левый фланг, армия наша обязана движению конницы Уварова на правом фланге, т.е. маневру, приказанному лично самим Кутузовым. Можно прибавить, что и Уваров и казаки сделали слишком мало – если бы последние смелее зашли французам сзади, разграбили их обозы и вообще напугали бы тыл армии, к чему они имели все средства, то по всей вероятности пришлось бы посылать резервы не вперед, а назад; мы могли бы не только обескуражить неприятеля, но может быть даже распространить панику по всей французской линии.

Многие склоняются в сторону приведенного выше мнения маршала Даву, что Наполеон вернее выиграл бы битву, если бы вместо того, чтобы серьезно атаковать русский левый фланг, сильно демонстрируя тут, послал бы большие силы на старую Смоленскую дорогу, чтобы поддержать Понятовского против Тучкова. Он был бы бесспорно в состоянии зайти прямо в тыл русской армии, которая, будучи тогда отрезана от Можайска и отброшена в угол между реками Колочею и Москвою, оказалась бы в самом критическом положении.

Нет сомнения, что князь Кутузов намеревался принять бой и на следующий день, в новой позиции, занятой русскою армией. Но полученные ночью донесения начальников корпусов о расстройстве частей, а главное, о недостатке снарядов, заставили его изменить намерения.

Ночью же Граббе был послан в первую армию с приказанием начать отступление. В Горках, рассказывает он, царила глубокая тишина; отыскав крестьянский дом, в котором стоял Барклай де Толли, он насилу добился свечи и вошел в избу, где генерал спал на полу, вповалку с адъютантами и ординарцами. Когда он тихонько разбудил его и, подавши записку, объявил, с чем приехал, генерал вскочил и, вероятно первый раз в жизни, из умеренных и кротких уст его вылились самые жестокие выражения против Бенигсена, которого он неизвестно почему почитал главным виновником решенного отступления.

Русская армия начала опять отступать, французская – вновь наступать. Значит, официально, французы выиграли сражение.

"Господин епископ, – писал Наполеон во Францию Мецкому епископу, – переход через Неман, Двину и Днепр, битвы под Могилевым, Дриссою, Полоцком, Смоленском и, наконец, под Москвою достойны того, чтобы за них возблагодарить Бога сил. Мы желаем, чтобы, по получении сего, вы условились о надлежащем с кем следует. Созовите народ мой в храмы и воспойте хвалу Всевышнему, сообразно с правилами церкви на подобные случаи.

Посылая вам на сей предмет письмо это, прошу Бога...

В нашей императорской квартире в Можайске. 10 сентября /28 августа/ 1812 г.

Наполеон".

"Мы, Клавдий Игнатий Лоран, Божьим изволением епископ Метца, генеральный администратор Округа и барон империи – духовенству и всем верным сынам Мецкого Округа.

Дражайшие братья!

Новые подвиги, триумфы еще более славные, чем все, которые до сих пор поражали нас, повергают теперь в глубокое удивление всю вселенную. Наполеон еще раз заявил себя титаном, подъявшим исполнение великих подвигов, и его победоносные фаланги, как орлы, перенеслись от устьев Гвадалквивира к источникам Волги. Уже не северный варвар попирает теперь благословенные долины юга, а высокодостойный боец запада гонит в полярные льды этого противника мира вселенной.

Более века кичливые обитатели гиперборейских стран, пользуясь несправедливо присвоенной им репутацией, стращают скромных и доверчивых государей цивилизованной Европы. Долго, слишком долго продавали они помощь своих, якобы непобедимых легионов, народам, которых сами же намеревались потом победить и которых восстановляли друг против друга, а королям последовательно изменяли, завлекши в безысходные затруднения. Тот, которого Творец, Бог войны, избрал для искоренения всякого коварства, для рассеяния всех чар, усмирения всякой гордыни, для свержения всех земных кумиров, для победы над всеми царями мира и покорения всех столиц – тот увидел, дорогие братья, что пришло время смирить несносную кичливость и показать людям, что эти дикие воины не более непобедимы в своих родных степях, чем они показали себя в долинах Гельвеции, на полях Польши и равнинах Моравии.

Как решено, так и исполнено: не успели пройти несколько месяцев, и уже быстрота успехов наших, громадность наших побед повергают мир в изумление.

Бессмертное орудие совершения стольких чудес, по-видимому, само поражено таким успехом – он почтительно сознает, что Божья, а не его десница побеждает вызвавшего на бой неприятеля.

На поле битвы, среди побед, он первый возносит благодарственный гимн и, с края света, где бьются в настоящее время, приглашает всех пастырей своей обширной империи собрать народ в храмы и вслед за ним воспеть хвалу Богу, в благодарность за победы. Кто, гордый, не преклонится перед Всевышним, когда сам победитель, рушащий троны, припадает к престолу Божества, по произволу ведущего вперед и возвращающего, поднимающего и повергающего, Божества, раздающего, кому пожелает, победы и поражения, жизнь и смерть, войну и мир!

Наполеон великий, братья, не упускал никогда случая провозгласить эти вечные истины, тотчас же вслед за своими необычайными триумфами. Радостное письмо, которым его императорское и королевское величество осчастливил нас, служит верным доказательством твердости его религиозных верований. Возблагодарим же источника великих даров, так как наш августейший государь все успехи свои повергает к ногам Творца, обладателя неба и земли.

В силу этого для достойного выполнения достохвальных намерений нашего августейшего императора и короля по совещании и проч. повелеваем..."

По общему голосу, французские потери под Бородиным были не менее русских, т.е. около 50000 человек. Сегюр признает 40000. Дюма говорит, что «потери были необъятны.»

Около девяти часов вечера Наполеон призвал графа Дарю и Дюма. Бивуак был раскинут среди гвардейского каре. "Он только что поужинал, – рассказывает Дюма, – сидел один и посадил нас одного по правую, другого по левую сторону от себя; расспросивши о распоряжениях, сделанных для подаяния помощи раненым, он стал говорить нам об исходе битвы; потом тут же, сидя, вздремнул минут пять и затем, встряхнувшись, стал говорить: «Вероятно, удивятся, что я не отдал мои резервы для получения более решительного результата, но ведь мне нужно было беречь их для последнего удара, который придется еще нанести перед вступлением в Москву: успех дня настолько обозначился, что оставалось позаботиться о таком же успехе всей кампании —вот почему я не дал гвардии»...

В эту ночь Наполеон снова принялся за кабинетные занятия, уже в продолжение пяти дней прерванные. Но оказался такой упадок голоса, что он не мог ни диктовать, ни говорить... Пришлось

прибегнуть к помощи пера и он принужден был писать на кусочках бумаги. Секретари и все из штаба, кто только могли помогать, наскоро переписывали их. Граф Дарю и князь Невшательский (Бертье) тоже трудились, но над каждой строкой приходилось сидеть, чтобы разобрать каракули императора, который писал по приказу каждую минуту и то и дело постукивал по столу, подавая знак, чтобы принимали бумаги, накоплявшиеся горками...

Целые двенадцать часов прошли в этой немой работе – только и слышен был скрип Наполеонова пера, да стук его молоточка.

** * **

Французская армия приближалась к Москве. Наполеон ехал сначала в карете, но, с половины последнего перехода, сел на лошадь.

Издали, сквозь облака пыли, видны были французам длинные колонны русской кавалерии, в порядке отступавшей перед французскими войсками по мере того, как те надвигались. Наконец, масса колоколен с золотыми, блестевшими на солнце куполами, открыли громадный город и все передовое войско в неудержимом восторге закричало: «Москва! Наконец Москва!» Слова эти наэлектризовали всех: офицеры и солдаты бежали на высоты, чтобы полюбоваться знаменитым городом, может быть, предназначенным судьбою служить новою границей французской империи.

Сам Наполеон залюбовался видом с Поклонной горы; за ним толпились восхищенные маршалы.

Налево и направо видны были приближавшиеся к городу принц Евгений и Понятовский. Впереди по большой дороге Мюрат, со своими разведчиками, подходил уже к предместьям... но депутации от города все еще не было. Время было за полдень, а Москва не дает знать о себе, точно вымерла. Офицеры, побывавшие уже в городе, рассказывают, что Москва пуста! Но об этом долго не решаются донести Наполеону, боясь вспышки его гнева.

Сначала он просто отказывается верить, потом садится на лошадь и подъезжает к Дорогомиловской заставе. Он приказывает соблюдать строжайшую дисциплину и все еще не теряет надежды, что слухи окажутся несправедливыми: «Может быть, этот народ не знает, как принято сдаваться – здесь ведь все ново, мы для них, с нашими порядками, так же новы, как и они для нас со своими.» Но все сведения подтверждают прежнее известие, сомневаться в нем более нельзя.

Наполеон зовет Дарю: «Москва пуста! Статочное ли это дело. Поезжайте туда и разыщите бояр!»

Дарю, однако, ничего не мог сделать, потому что никаких бояр не было: ни дыма из труб или какого другого намека на жителей – ни малейшего шума над громадным городом.

Но такова была настойчивость Наполеона, что он еще ждал, еще надеялся...

Наконец, один из офицеров, очевидно, желавший угодить во что бы то ни стало, поехал, поймал в городе несколько бродяг и погнал их перед собой – как депутатов...

Ростопчин говорит, что депутация состояла человек из двенадцати, очень дурно одетых; представлявший в этом торжественном случае власти, дворянство, духовенство и именитое купечество столицы был простой типографщик. – Наполеон понял смешную сторону фарса и отвернулся, не утерпевши, чтобы не обозвать бедного депутата **болваном[14]**! Убедившись в том, что Москва действительно оставлена и, бросив свои расчеты и надежды, он пожал плечами и с презрительным видом сказал: «Русские еще не понимают, какое впечатление произведет занятие их столицы»...

Нетерпение Наполеона получить ключи города вполне понятно, так как этим осуществилось бы исполнение давнишней мечты. За час еще до прихода к Москве, он позвал генерал-адъютанта графа

Дюронеля, командовавшего императорскою главною квартирой, и сказал ему: «Поезжайте в город, приведите все в порядок и выберите депутацию для поднесения мне ключей.» Нет сомнения, что он обдумал и приготовил все подробности вступления в Москву: речь к боярам, в которой, воспользовавшись соперничеством первопрестольной столицы с Петербургом и недостатками политического устройства государства, сумел бы расположить этих храбрых, но диких людей в пользу своего вмешательства и заступничества; свои распоряжения по наложению контрибуции непременно золотом и распространению отпечатанных им в Париже фальшивых сторублевых ассигнаций, которыми он надеялся окупить издержки войны и т.д. Конечно, он заранее обдумал, с кого он взыщет, кого наградит, над чем проявит свое императорское милосердие и щедрость; какие сделает перемены в управлении, наконец, как поведет переговоры о мире, быстро или медленно, высокомерно, строго или милостиво... Человек, издавна привыкший своею гениальною головой решать все мелочи, касавшиеся покорения, умиротворения и устройства новозавоеванных стран, должен был и тут, добравшись, наконец, до цели давнишних желаний, все заранее вперед обсудить и распределить... И вдруг такая обида: ничего, решительно ничего для Европы, напряженно ожидавшей этого события, ничего для «Монитера»!

Очевидец-француз, повествуя об этих минутах, рассказывает, что он нашел императора в предместье, ожидавшего русских посланных и рассматривавшего в трубу их кавалерию, отступавшую влево от него. К нему привели нескольких крестьян и торговцев, на которых жалко было смотреть – так они перепугались, полагая, вероятно, что пришел их последний час...

Наполеон сошел с лошади; ему было, видимо, холодно, он кашлял, когда отдавал приказания; кажется, он был в нерешительности насчет того, что ему предпринять... Потом, вероятно, рассудивши, что благоразумнее не рисковать еще входить в город, занял один из ближайших деревянных домов.

Тут, в Дорогомиловском предместье, Наполеон назначил маршала Мортье военным губернатором города. «Позаботьтесь, чтобы не было грабежа! Вы головою отвечаете за это – сберегите Москву ото всех и всего!» – будто бы сказал он маршалу.

У Дорогомиловского же моста был приведен к Наполеону книгопродавец Рис, рассказывавший потом, что, принужденный остаться при своей лавке, он, выйдя на звуки труб и барабанов, раздавшиеся на улице, был схвачен и представлен императору. «Кто ты?» – спросил его Наполеон. – «Французский книгопродавец.» – «А! Стало быть, мой подданный». – «Да, но давнишний житель Москвы.» – «Где Ростопчин?» – «Выехал». – «Где городское управление (magistrat)?» – «Также выехало». – «Кто же остался в Москве?» – «Никого из русских.» – «Быть не может!» – Рис, кажется, поклялся в истине своих слов. Тогда Наполеон нахмурил брови и простоял довольно долго в глубокой думе; потом, как бы решившись на опасное дело, скомандовал: «Марш, вперед!»

Один из русских рассказывает, что за депутацией и ключами ходили в губернское правление, в думу, в полицию, к генерал-губернатору, словом, всюду, где была хоть малейшая надежда встретить какой-нибудь остаток чиновников. После многих бесполезных поисков, предпринявший их усердный польский генерал вернулся к Наполеону и донес ему, что в Москве не осталось никого из властей, и что город покинут всеми, исключая некоторых оставшихся там иностранцев. Вследствие этого император французов отсрочил свой въезд: может быть, он рассчитывал, что к следующему дню часть жителей вернется и ему вышлют-таки депутацию или, по крайней мере, его подданные – французы, итальянцы, немцы – выручат, явятся к нему.

Ничего этого не случилось. Наполеон ночевал перед заставой, в доме трактирщика, и, как кажется, не мог спать всю ночь: "В доме стоял такой неприятный запах, что каждую минуту его величество призывал своего камердинера: «Вы не спите, Констан?» – «Нет, ваше величество!» – «Голубчик, пожгите, пожалуйста, уксуса, я не могу вынести этого ужасного запаха чистое наказание!» – Дом был до того грязен, что на

другой день нашли в постели императора и даже в его платье «противных насекомых, которых в России такое изобилие», т.е. наших клопов, как известно, яростно нападающих на «свеженьких».

Говорили, будто Наполеон, "хотя имея намерение поселиться в Кремлевском дворце, счел за лучшее пообождать ехать прямо туда из-за слуха, что под древнее обиталище царей подведены мины и потому нужно было принять некоторые предосторожности.

Две армии одновременно исполнили движение на Москву: король Неаполитанский и маршал Ней перешли через мост офицеры и солдаты русского арриергарда и французского авангарда перемешались тут и король очутился совершенно окруженным русскими из отряда генерала Милорадовича. По словам Сегюра, Мюрат громко спросил: «Нет ли здесь кого-нибудь, кто говорил бы по-французски?» – «Есть, ваше величество», – ответил один юный офицер, из близко находившихся. – «Кто командует арриергардом?» – Юноша указал на старого служаку, закаленного вида, в казацкой форме. «Спросите его, пожалуйста, знает ли он меня?» – «Он говорит, что хорошо знает, ваше величество... видел вас всегда в огне...» Король намекнул в разговоре на то, что пора бы и мир заключить – довольно войны, да кстати заметил, что бурка, которую почтенный воин имел на себе, должно быть, хорошо служит на бивуаках? – Казацкий генерал сейчас же снял бурку с плеч и предложил Мюрату на память об этом свидании, за что тот предложил в обмен, тоже на память, дорогие часы, взятые у одного из бывших с ним офицеров – этим несчастливцем оказался ординарец Наполеона Гурго, горько жалевший потом о своих часах, дорогих ему по воспоминаниям.

Вот интересный по простоте и наивности рассказ русского чиновника Кербелецкого, захваченного еще не доходя Москвы и представленного Наполеону: "Дюк д'Истри, статс-секретарь Наполеона Делоран и адъютант его, из поляков, подполковник Вельсович 1-го сентября утром расспрашивали меня со многими подробностями не токмо о расположении и количестве всех наших армий, о движении и успехах каждой, но даже и о намерении правительства нашего в рассуждении мира.

Все вышеупомянутые чиновники, по собственному их объявлению, якобы из полученных Наполеоном **вернейших** сведений, совершенно знали о состоянии Москвы, что в оной **войск российских нет**, и предполагали, что перед Москвою не токмо сражения со стороны российской армии не будет, но, напротив того, **российское правительство** перед оною **непременно просить должно** у Наполеона **мира**. Адъютант же Вельсович сверх того утверждал, что Наполеон, их император, завтра, т.е. 2 сентября, **будет обедать в Москве**, которую, бывшая в Можайском сражении – так называли они по Можайску Бородинское сражение – Российская армия сколько бы ни защищала, возьмет он с **бою**, взыщет знатную **контрибуцию**, принудит русских против желания их **просить мира**; **восстановит Польшу** в прежнем ее достоинстве, с присоединением к ней Белоруссии и Смоленска; оденет, обует свои войска **и, погостивши в сей Российской столице**, отправится обратно в Париж; буде же российское правительство станет еще упорствовать и на таковой мир не согласится, тогда и **Москва с ее уделами останется за Польшею**, а Наполеон пойдет в С.—Петербург и далее **всю Россию покорит под свою державу**. "

"1-го числа в 10 часов утра, с многочисленною своею армией, тут же стоявшей вокруг всей дачи, им занимаемой, отправясь вперед к Москве и остановясь к вечеру в селе Вяземе, отстоящем от Москвы в 34 верстах, принадлежащем князю Голицыну, ночевал тут же в господском доме. В этот день Наполеон ехал сперва верст 12 в карете, вместе с принцем Невшательским (Бертье), а потом, по невозможности проехать в оной, стороною через овраг, за сожжением на большой дороге моста, вышел из кареты, сел на лошадь и продолжал уже ехать верхом всю остальную дорогу до Москвы и в Москву. 2 сентября, на рассвете, Наполеон, отправясь с сего ночлега далее к Москве, прибыл в 10 часов утра на дачу, в правой стороне большой Смоленской дороги, лежащую не доезжая до Москвы 12 верст. Тут встречен он был королем Неаполитанским, с коим, не входя в комнаты, пошел влево на особый подле церкви двор и там,

расхаживая с ним сам-друг более часа, рассуждал, как заключить надлежало о распоряжениях ко взятию Москвы.

После чего Мюрат, не обедавши, отправился вперед к Москве, куда безостановочно следовала вся французская армия и многочисленная артиллерия. Наполеон же тут в комнатах пообедавши, вскоре и сам с бывшим при нем генералитетом (который обедал на дворе) и с особым конвоем, состоявшим из эскадрона шассеров и эскадрона польских уланов, в сопровождении трех русских пленников, пустился по следам Мюрата, нарочито поспешно.

По прибытии Наполеона в 2 часа пополудни к Поклонной горе, отстоящей от Москвы в 3-х верстах, авангард перед оною горой, по распоряжению короля Неаполитанского, был уже построен в боевой порядок. Наполеон с планом в руках, поданным ему тут же, и некоторые из провожатых его генералов сходят с лошадей и в ту же минуту начинается движение, показывающее приготовление к сражению.

Прождав тут полчаса и не видя со стороны Москвы никакого вызова, приказывает сделать сигнал выстрелом из пушки, после чего, спустя минут пять, садятся все на лошадей и скачут во весь опор к Москве. В то же мгновение вместе с ним двинулся как авангард, так и часть стоявшей позади центральной армии, с невероятным стремлением; конница и артиллерия равномерно скакали во весь опор, а пехота бежала бегом. Топот лошадей, скрип колес, треск оружий, смешавшись вместе с шумом бегущих солдат, составляли дикий и ужасный гул. Свет померк от поднявшейся густым столбом пыли!.. Не более как через 12 минут все очутилось у Дорогомиловской заставы.

Нечаянная весть о том, что из Москвы как российская армия, так и жители все выехали, казалось, поразила и самого Наполеона. Он приведен был в чрезвычайное **изумление**, мгновенно произведшее в нем некоторый род **исступления** или **забвения самого себя**. Ровные и спокойные шаги его в ту же минуту переменяются в **скорые** и **беспорядочные**. Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавливается, трясется, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает; выдергивает из кармана платок, мнет его в руках и, как бы ошибочно, кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет; далее, опять сдернув с руки перчатку, надевает оную торопливо и повторяет то же несколько раз... Это продолжалось битый час, и во все это время окружавшие его генералы стояли неподвижно, как бездушные истуканы, и ни один из них не смел и пошевелиться... Потом Наполеон, пришедши несколько в себя, садится на лошадь и въезжает сам в Москву, в которую последовала за ним и конница, стоявшая до того вне заставы; но, проехав Дорогомиловскую ямскую слободу и приближаясь к берегу Москвы-реки, останавливается у оной, в правой стороне улицы, на береговом косогоре, сходит с лошади и опять расхаживает взад и вперед, но токмо уже **покойнее**...

Сего числа Наполеон и его конвой ночевали в Дорогомиловской слободке, в обывательских домах, где жителей московских, кроме четырех человек дворников, никого не замечено.

Ночь, проведенная Наполеоном в предместье, была неспокойна и печальна. Кроме клопов (а может быть, и других паразитов, довольно обычных в России) ему не давали спать и досадные донесения, беспрерывно следовавшие одно за другим, между прочим предупреждавшие о том, что город будет сожжен... «Император беспокоился и не мог найти себе места, постоянно звал своих людей и заставлял повторять себе эти слухи. Кажется, он все еще не совсем доверял им – когда около двух часов ночи получил известие, что пожары начались.»

В Москву он въехал во вторник 3-го сентября в половине одиннадцатого часа утра. Арбат был совершенно пуст. Он сидел на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке, в простой треугольной шляпе, без всякого знака отличия. Свита маршалов и других чиновников, окружавших Наполеона, была весьма многочисленна. Пестрота мундиров, богатство оных, орденские ленты различных цветов: все сие делало картину прекрасною, а простоту Наполеонова убранства еще более разительною. Таким образом

победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя ни одного почти жителя. Негодование Наполеона было на всех чертах лица. Он не брал даже на себя труд скрыть то, что происходило в душе его..."

В это время видны были во многих местах Арбата, новые пожары, а после вступления в кремлевский дворец запылал гостиный и так называемый каретный двор и многие обывательские дома, окружавшие Кремль. Наполеон сам бросился на пожар, распоряжался, бранился, угрожал солдатам и самому маршалу Мортье.

«Однако, вид Кремля, – говорит Сегюр, – этой величественной постройки Рюриковичей и Романовых, вид трона их, стоявшего на обычном месте, креста Ивана Великого и созерцание лучших частей города, над которыми Кремль господствует, несколько успокоили его. Надежда опять зарождается в нем; завоевание это льстит его самолюбию, и он с самодовольствием говорит: „Наконец я в Москве, в старинных царских хоромах! В Кремле!“ Он осматривает все в подробности с гордым любопытством и довольством; начинает расспрашивать о ресурсах города и думает уже о возможности заключения мира»...

Восторг парижан при известии о вступлении Наполеона в Москву был неописуем; боялись только, чтобы он из нее не прошел триумфально прямо в Индию!

***

«Посмотрим, – сказал император, – что станут делать теперь русские; если они еще будут избегать переговоров, мы примем свои меры. Зимние квартиры у нас теперь есть. Мы покажем миру, что армия может спокойно зимовать посреди неприятельского народа, со всех сторон ее окружающего – как корабль, затертый льдами; весною мы опять начнем войну – впрочем, Александр не доведет меня до этого, мы сговоримся, и он подпишет мир.»

По-видимому, Наполеон все предвидел, все рассчитал одного только не предугадал: страшных пожаров, до того быстро разгоревшихся при наставшем порывистом ветре, что с полуночи самых суток вступления в Кремль вокруг крепости ничего не видно было, кроме извивавшегося в воздухе выше облаков пламени.

Многие из оставшихся в Москве жителей, в страхе и смятении от грабежа и огня перебегавшие из дома в дом, были схвачены и, по подозрению в зажигательстве, расстреляны.

Первую свою ночь в Кремле Наполеон провел в чрезвычайном возбуждении: на солдат, офицеров, самого Мортье кричал, топал ногами, требовал прекращения пожара.

Когда ему донесли, что пламя со всех сторон окружило Кремль, – он послал Бертье на возвышенную террасу дворца проверить это, но порывы ветра и сила движения воздуха от пожаров были так велики, что едва не снесли князя с его офицерами.

Временами император просто столбенел от силы впечатления, лицо его было красно и покрыто горячим потом. Король Неаполитанский, принц Евгений и князь Невшательский умоляли его уйти из дворца, но он не решался еще бежать. «Эти негодяи, —жаловался он своему слуге Констану на поджигателей, – не оставят камня на камне в Москве.»

Огонь показывается, наконец, в самом Кремле, начинает гореть арсенал... там нашли русского, его ведут к Наполеону, который сам допрашивает его! И... отдает на штыки солдатам – это был арсенальный сторож!

«Слово „невозможно“, – говорил обыкновенно Наполеон, – не находится в моем словаре», но теперь, по-видимому, приходилось включить туда и это слово, особенно когда Бертье представил, что если он не

выедет, а Кутузов атакует армию, то он, император, окажется отрезанным от нее...

Император решился оставить Кремль и приказал провести себя в Петровский дворец, но это легче было приказать, чем сделать: кругом было целое море огня, закрывавшего все выходы из крепости. Наконец, нашли-таки проход к Москве-реке, через который император, его свита, гвардия и вышли, – чтобы очутиться в настоящем огненном аде. Офицеры свиты предлагали Наполеону покрыть его плащом и пронести на руках, но он отказался и разрешил вопрос о том, как выбраться, смело бросившись вперед. Приходилось пройти через огненную арку пламени, обжигавшего глаза, лицо и, главное, руки, которыми закрывались и защищались от искр и головешек, поминутно покрывавших платье.

На счастье солдаты, грабившие поблизости, узнали императора и указали ему дорогу из огня. Его волосы были опалены, платье сожжено во многих местах, обожжены руки, прожжены сапоги.

Здесь встретился он с маршалом Даву. Уверяют, что князь Экмюльский, еще страдавший от раны, полученной в Бородинской битве, узнавши об опасности, которой подвергался Наполеон, устремился к нему навстречу, чтобы вывести или погибнуть вместе с ним. Они бросились, будто бы, в объятья друг другу.

За Наполеоном все главное начальство перешло в Петровский дворец. Генерал-интендант Дюма так рассказывает о своем бегстве туда: «Была ночь, когда я покинул занятый было дом. Мы вышли из Москвы под настоящим огненным дождем; ветер был так силен, что срывал с крыш и разбрасывал раскаленное железо; наши лошади пережгли свои ноги. Нельзя себе даже и представить беспорядка этого стремительного бегства. Шум пожара можно было уподобить только реву волн – это была настоящая буря в огненном море. Вся дорога до Петровского дворца была усеяна всевозможными обломками, особенно осколками бутылок, набросанными солдатами. Мы стали бивуаком на опушке леса, откуда смотрели на это истинное подобие ада. Весь громадный город представлял одну сплошную огненную равнину, пылали небо и весь горизонт.»

После пятидневного пребывания в Петровском, полного всяких тревог и беспокойств, Наполеон снова возвратился в Москву. Надобно заметить, что с самого вступления своего в Кремль и за все пребывание в Петровском дворце, он не сделал ни одного военного распоряжения – очевидно, он был так подавлен впечатлением пожара, что не знал, что предпринять, на что решиться.

Въехавши в Москву, Наполеон был поражен: от громадного города остались только груды развалин, с кое-где торчавшими трубами; тяжелая, невыносимая атмосфера стояла над этим павшим, обуглившимся колоссом... Горы золы и пепла, да местами остатки полуразрушенных стен или колонн указывали направление улиц.

Император увидел, что вся его армия разбрелась по городу. Даже его проезд был затруднен множеством мародеров, искавших добычи и таскавших ее шумными толпами; солдаты толпились у входов во все погреба и богатые дома, перед лавками и церквами, к которым приближался огонь и которые они считали необходимым ограбить. Ему поминутно преграждали дорогу обломки всевозможной мебели, выброшенной из окон, и всякие награбленные вещи, брошенные грабителями, в виду чего-нибудь более ценного и лакомого. – Он молча проехал мимо всего этого.

Однако, беспорядок достиг скоро крайних пределов; даже старая гвардия приняла в нем участие и Наполеон решился, наконец, на суровые меры, несколько помогшие делу.

Вообще, по возвращении в город император стал веселее, что отразилось и на всех приближенных. Когда он смотрел в окна на окружавшие картины разрушения, тяжелые мысли, видимо, одолевали его, и злость на все происшедшее временами обрушивалась на тех, кто имел несчастие подвертываться в такую минуту, но не было уже прежних беспрерывных знаков нетерпения и ярых вспышек гнева. Больше всего, разумеется, доставалось Ростопчину – к счастью для него отсутствовавшему – и поджигателям.

Наполеон зло смеялся над русскими, отпраздновавшими битву под Бородиным, как первую победоносную встречу своих войск со вторгшимся неприятелем. «В России служили, – говорит он в бюллетене, – благодарственные молебны за битву под Островною и под Смоленском – разумеется, армия пришла в Москву тоже под звуки благодарственных гимнов»...

"В доме "**негодяя**« Ростопчина, – продолжает Наполеон, —захватили ружья, бумаги и начатое письмо – он убежал, не успев его кончить... Москва, один из богатейших городов в свете, не существует более; эта потеря неисчислима для русских, для их торговли, для дворянства; ее можно оценить в несколько миллиардов. Арестована и расстреляна сотня поджигателей. Тридцать тысяч раненых и больных русских сгорело. Богатейшие торговые дома России разорены. Ничего не успели вывезти и когда увидели, что все попало в руки французов – сожгли свою первопрестольную столицу, свой святой город, центр империи... Это преступление Ростопчина. Мы боролись против огня, но негодяй губернатор принял ужасную предосторожность – вывез и уничтожил пожарные инструменты.»

Как бы в ответ на все это, ему доносили из Парижа, что невозможно описать того ужаса, изумления и даже негодования, которое произвела там весть о пожаре Москвы... Можно было понять, что бюллетень, из которого узнали бы теперь, что французские солдаты в тепле, одеты, сыты, произвел бы гораздо более впечатления на общество, нежели всевозможные известия о победах...

Впрочем, Наполеон, после жалоб на вероломную встречу со стороны города, объявил, что «армия его поправляется: у нее много хлеба, картофеля, капусты и других овощей, говядины, солонины, вин, водки, сахару, кофе и всего прочего. Солдаты нашли много мехов и шуб для зимы.»

«Авангард стоит на дороге в Казань, другой – на пути в Петербург.»

Мягче всех относился Наполеон к императору Александру, который, по его мнению, не задумался бы заключить мир, если бы только получил хоть одно из писем, к нему посланных – писем грустного, меланхолического характера.

Изложивши свои великодушные намерения Яковлеву, русскому барину, захваченному на выезде из Москвы – ограбленному солдатами и представившемуся во фраке своего камердинера —Наполеон после разных упреков и выговоров, значительно смягчив тон, спрашивает: «Если я напишу письмо, согласитесь ли вы отвезти его; обещаете ли, что оно будет передано Александру, в его собственные руки? – В таком случае я отправлю вас, но имеете ли вы возможность дойти до вашего государя и ручаетесь ли вы мне, что он получит письмо?»

Разумеется, Яковлев обещает все.

Ночью Наполеон встает нарочно, чтобы написать это письмо: «Я воевал с вашим величеством без злобы. Два слова от вас перед или после последней битвы – я остановился бы, пожертвовал бы правом вступления в Москву. Если ваше величество еще сколько-нибудь расположены ко мне, вы примете в уважение это мое обращение к вам... Человечество, выгоды вашего величества и этого обширного города требовали вверить мне столицу, оставленную вашими войсками», – пишет он далее Александру...

В три часа утра он отсылает письмо пленнику, который едет с ним через французские аванпосты, в восторге от возможности так дешево расплатиться за свою оплошность.

Тутолмин, директор Воспитательного дома, тоже имел честь беседовать с Наполеоном и услышать из его уст об уважении и братских чувствах к Александру, так же как и готовности заключить мир. «Я никогда подобным образом не воевал, – говорит Наполеон Тутолмину, – мои войска умеют сражаться, но не жгут. От самого Смоленска я встречал только один пепел... Надо же положить предел кровопролитию, пора нам и примириться... мне нечего делать в России».

Так как служебные обязанности не позволяли Тутолмину отлучиться из Москвы, то Наполеон просил его в первом же донесении императрице – которое он перешлет через аванпосты – не забыть замолвить словечко о мирном расположении его и полной готовности приступить к переговорам о мире.

Немало беспокоила Наполеона первые дни по вступлении в Москву неизвестность насчет местопребывания русской армии, совершенно упущенной из вида за пожаром, грабежом и всеми бедами. Наполеон сердито выговаривал генералу Себастиани, раздражаясь и осыпая его упреками за потерю следов Кутузова. Предполагая, что частые переговоры на аванпостах с русскими послужили поводом ко всем оказавшимся оплошностям, он приказал маршалу Бертье написать Мюрату, чтобы, под страхом смертной казни, запрещалось входить в сношение с русскими аванпостами. «Его величеству угодно, писал Бертье, – чтобы сносились с неприятелями только ружейными и пушечными выстрелами». Впрочем, не один Наполеон встревожился исчезновением русской армии и обрадовался, когда след ее отыскался – маршалы тоже опасались одно время, как бы Кутузов не перерезал сообщения французской армии.

"11 сентября Наполеон, – по словам Кербелецкого, – в предшествии двух камер-пажей, в сопровождении своего генералитета, придворных чинов, трех русских пленных и конвоя, состоящего из эскадрона шассеров и польских уланов, в первый раз выезжал из Кремля осматривать разоренную Москву и в первый раз, оставя светло-серый свой сюртук, показался в мундире. Надлежало думать, что когда у маршалов и у всех генералов французских, по общей воинской форме, мундиры были вокруг богато вышиты золотом, то император их при сем случае блестит отличным золотым шитьем и украшен будет орденами; но он, напротив того, одет был в простой армейский мундир темно-зеленого сукна, с красным воротником, без всякого шитья, с одними только эполетами, со звездою на левой стороне и с алою лентой по камзолу, но которая едва была видна из-под мундира, и в низенькой треугольной, наспех связанной шляпе с небольшою кокардой и ехал на простой польской лошади; под генералами же и придворными чиновниками были английские, а под нами русские крестьянские, довольно изморенные голодом. При этом выезде Наполеона многие из жителей Московских, испивших всю чашу бедствий от нашествия на них иноплеменников, увидев издали многочисленную свиту, убегали прочь. Другие, быв посмелее, отваживались украдкою выглядывать из-за обвалившихся стен. Напоследок, в одном переулке, близ Охотного ряда, одетая в лохмотья толпа мещан человек до 40, на коих от страху, от голоду и холоду едва подобие человеческое осталось, выждав когда свита приблизилась к переулку, падают на колени, простирают к иноплеменному государю свои руки, вопиют о претерпленном ими грабеже и всеконечном разорении, и просят пощады и хлеба!

Но сей жестокий человек поворотил от них лошадь свою вправо и не удостоил их своего взгляда и только приказал статс-секретарю своему узнать, о чем они просят?

Тогда по всему пространству Москвы представлялся мрачный образ неизъяснимого ужаса и совершенного запустения. Уцелевшие от пожара дома были разграблены, и церкви пограблены и обруганы. Везде валялись по мостовым разбросаны и разорваны, либо разбиты, либо разломаны: люстры, зеркала, столовая посуда, мебель, картины, книги, утварь церковная и даже священные лики угодников Божиих"...

Как уже упомянуто, грабеж, раз допущенный, трудно было остановить, несмотря на самые строгие запрещения и угрозы. Своевольство стало так велико, что, например, Себастиани признавался приходившим с жалобами, что он не в силах удержать солдат. Мало того, сам император терпел от своеволия и забвения дисциплины. В приказе от 22 сентября сказано, что «не взирая на все повеления, караулы не исполняют своей обязанности; ночью часовые не окликают прохожих!» 24 сентября: «Сегодня на разводе офицеры не салютовали шпагой императору.» Обер-церемониймейстер дворца жаловался на то, что «несмотря на неоднократное запрещение, солдаты продолжают отдавать долг природе во всех

дворах дворца, даже под самыми окнами императора.»

Не весело проводил Наполеон время в Кремле – дни были долги и тяжелы. Он ждал от Александра ответа, который не приходил. Между прочим, его приводило просто в отчаяние громадное количество галок и ворон, о которых он говорил: «Боже ты мой, неужели они всюду следуют за нами.»

Почти ежедневно Наполеон прогуливался по городу верхом: он ездил на маленькой белой арабской лошади, в сопровождении нескольких генералов, адъютантов и пятидесяти улан. Никогда ни с кем не говорил он на улице.

Как уже раньше сказано, в одном из уцелевших домов был устроен театр для солдат и офицеров армии, но сам Наполеон ни разу там не был. Иногда, по вечерам, он играл в карты с Дюроком. Было дано несколько концертов во дворце: пел итальянец Тарквинио, недавно приехавший в Москву из Милана, также играл пианист Мартини, но император слушал их с печалью в сердце. «Салонная музыка, – замечает Констан, – не трогала более его больной души», – очевидно, все эти развлечения, как и прогулки по городу, не рассеивали тяжелых дум, направленных к разрешению неразрешимой задачи: как полную неудачу похода представить перед Европой великим успехом, как ловким движением выйти из безвыходного положения?

Постоянно, несмотря ни на какую погоду, Наполеон делал смотры и парады гвардии и гарнизону, с раздачею наград и крестов почетного легиона; о последней церемонии один очевидец так рассказывает: «Небольшой полный человечек спустился с лестницы дворца; его окружала многочисленная свита маршалов и генералов. Военная музыка дала знать о его прибытии, и он подошел шагов на пятьдесят к фронту войск. Он был в зеленом мундире, а шляпа была надвинута до самых глаз, злых и проницательных. Лента почетного легиона была так скрыта под мундиром, что не всегда была заметна. Иногда при этих церемониях он произносил речи... При имени каждого новоназначенного кавалера музыка играла туш... Судя по гордому взгляду Наполеона, он вполне чувствовал и сознавал свое могущество.»

Тем временем становилось ясно, что Александр не удостаивал Наполеона ответом – это была кровная обида и он страшно рассердился. "3 октября (21 сентября), – рассказывает Сегюр, —после бессонной ночи он зовет маршалов. Лишь только входят они: «Войдите, войдите, – говорит он, – послушайте новый план, который я составил. Принц Евгений, читайте: сжечь остаток Москвы, идти через Тверь на Петербург, куда Макдональд придет на соединение с нами! Мюрат и Даву пойдут в арриергарде»... В сильном волнении он смотрит на своих генералов, остающихся холодными, молчаливыми, по-видимому, только удивленными. Воспламеняясь сам, чтобы подогреть и их энтузиазм, он восклицает: «Да вы ли это? Неужели эта мысль вас не увлекает. Представлялся ли когда-нибудь более высокий военный подвиг?... Какою славою мы покроемся и что скажет свет, когда узнает, что в три месяца мы покорили обе великие столицы севера?»

Но Даву и Дарю противопоставляют его увлечению время года, недостаток провианта, голую, голодную, к тому же больше воображаемую, дорогу из Твери в Петербург, идущую по болотам, и которую триста человек крестьян, в несколько часов, сделают непроходимою! Зачем идти на север навстречу зиме, призывать ее – она без того уже тут. А что будет с шестью тысячами раненых в Москве? Их придется выдать Кутузову! Ведь он пойдет следом за армией – надобно будет в одно время защищаться и атаковать, побеждать и убегать! Теперь нужно оканчивать, а не затягивать кампанию, говорят они Наполеону. Вопрос не в лишней победе, а в том, чтобы поскорее добраться до зимних квартир, по самой короткой дороге. Надобно бросить и Кутузова и битвы с ним и уходить.

Пришлось не только выслушивать такие советы, но и следовать им. Прошло время, когда Наполеон говорил о своих маршалах: «Эти люди думают, что они очень нужны, а не знают того, что у меня сотни бригадных генералов, которые вполне могут заменить их.»

Маршалы хорошо понимали не только опасность близости зимы, но и ненадежность состояния войск. Со времени прихода в Москву гордость Наполеона заставляла его держаться в полнейшем неведении относительно этого предмета. Он все представлял себе армию в том виде, в каком желал ее иметь, и преспокойно раздавал соответственные этому приказания; он не слушал генералов, пробовавших вывести его из заблуждения, и решался делать настоящие распоряжения только тогда, когда необходимость их бросилась в глаза, когда было уже поздно...

Ввиду упрямства маршалов и нежелания России принять поздно протянутую руку, Наполеон выказал замечательное добродушие и заботливость о счастии воевавших народов, решившись добиться мира во что бы то ни стало. Напрасно говорил ему Коленкур, которого он хотел сначала послать в Петербург, что в это время года Россия должна чувствовать свою силу и превосходство, что такая попытка будет скорее вредна, так как выкажет затруднительность его положения – Наполеон, боявшийся больше всего необходимости произнести слово «отступление», решился еще раз поставить на карту свое обаяние: не допуская, по воспоминаниям Тильзита и Эрфурта, чтобы из Москвы это обаяние было меньше, чем из Парижа, решился послать в главную квартиру Кутузова генерала Лористона.

Тот также почтительно заметил, что, в это время года, нужно не переговариваться, а отступать на Калугу и возможно скорее. Наполеон зло и ядовито ответил, что «любит только планы самые простые, дороги самые прямые, большие дороги, в данном случае, ту, по которой он пришел; но что он не хочет идти по ней иначе, как после заключения мира.» Потом, показавши как и Коленкуру письмо, которое он написал Александру, приказал отправиться к Кутузову и потребовать пропуска в Петербург. Вся безвыходность положения Наполеона высказалась при этом в последних словах, обращенных к Лористону: «Я хочу мира, слышите! Дайте мне его во что бы то ни стало!» – только честь как-нибудь спасите!!"

«Старая лиса» Кутузов хорошо понимал необходимость предоставить Наполеону время «изжариться в Москве в своем соку»; она убаюкала Лористона с таким искусством, что бедный посол в значительной степени поддался надежде на скорый мир, а главное, внушил ее своему повелителю, который решился еще ждать!

Однако, в ожидании этого желанного мира, положение французской армии начало делаться критическим: стала разгораться партизанская война. На фуражировки приходилось посылать отряды под сильными прикрытиями не только кавалерии, но и пехоты, даже артиллерии; всякую меру овса, каждую связку сена приходилось брать с боя.

Выступили на сцену крестьяне, на которых Наполеон приучил свои народы смотреть только как на наследственных рабов и дикарей, но которые начали проявлять самосознание и волю, отказались принять насильно навязываемые чужеземцем благодеяния.

Понимая ужас своего положения в этой стране, чувствуя, что его обманывают, но не смея порвать своих заигрываний с русским правительством, Наполеон старался изыскать способы сделать мир необходимым для противника. Он приказал собрать всевозможные сведения о пугачевском бунте, особенно добыть одно из последних воззваний самозванца, где рассчитывал найти указания на фамилии, которые имели бы права на русский престол. В этих розысках обращались за советом к кому попало. Однако, увидав скоро, что трудно сделать что-либо с этой стороны, Пугачева бросили.

Татарам предлагали идти в Казань призывать своих соотечественников к независимости, обещая им поддержку, как только поднимутся. Но и тут ничего не вышло.

Оставались прямые переговоры о мире, в подмогу которым были пущены всевозможные слухи: что «Рига взята приступом, что вся дорога от Вильны до Смоленска занята обозами, которые везут зимнее платье в армию, что маршал Виктор ведет значительные подкрепления, что к наступающей весне армия

будет так же сильна и хорошо вооружена, как при вступлении в Россию, словом, что если русские не заключат мира в эту зиму, то император примет крайние меры...»

Все эти слухи и замыслы не привели, однако, ни к чему, ответа из Петербурга по-прежнему не было, а война принимала все более и более угрожающий характер – партизаны, со священником впереди, взяли город Верею, около самой Москвы, под носом у великой армии.

Война была везде: впереди, на флангах, в тылу – видимо громадное завоевание распадалось и Наполеон принужден был отказаться от составленного им мнения насчет системы, которой должны были бы держаться русские при защите своей родины – их система оказывалась лучшею. Атакованные в центре, они устремили свои усилия на фланги и грозили осилить!

Главное – приближалась зима. Наполеон знал об этом, волновался и начал тихо готовиться уходить.

С несчастною Москвой не церемонились: приказано было обдирать ризы с икон и вместе с паникадилами, крестами, сосудами переливать в металл. Семнадцать пудов золота и 365 пудов серебра было приготовлено в слитках для отправки во Францию. Кроме того, были взяты многие «трофеи»: герб Москвы, со здания Сената, орел, с Никольских ворот, крест с колокольни Ивана Великого. На операцию снятия этого гигантского креста потрачено было немало трудов и времени. Император захотел украсить им церковь инвалидного дома в Париже, и сам наблюдая за работой, сердился на то, что «проклятые галки, тучами носившиеся над колокольней, как будто хотели защищать свой крест!» Уверяют, что Бертье, герцог Ваграмский, стоявший во время работ по съемке этого креста с генералом Дюма на балконе покоев императрицы, не утерпел, чтобы не выразить своего негодования: можно ли делать подобные вещи, почти имея уже мир в кармане![15]

Незадолго до выхода из Москвы, был отдан весьма странный приказ. Все начальники корпусов должны были представить цифровые данные числа больных, которые могли бы поправиться 1) через неделю, 2) через две недели, 3) через месяц, 4) количество людей, долженствовавших умереть через две недели, 5) через три недели; приказано было озаботиться перевозкою только означенных под №1, всех остальных предполагалось оставить. Не менее удивителен был приказ, в стране совершенно опустошенной, закупить ни более ни менее как 20000 лошадей, также запастись фуражом на 2 месяца – в местах, по которым самые дальние и опасные фуражировки были не в состоянии доставлять нужного количества фуража на ежедневные потребности.

В последнее время пребывания в Москве снова, как за время великого пожара, угнетенное состояние Наполеона стало сказываться вспышками. Это бывало при приемах по утрам, когда, окруженный начальниками армии, под их пытливыми взглядами, казавшимися ему укоризненными, он будто вызывал всех своим строгим видом; резкий отрывистый голос и бледность лица показывали, что он понимал истину и что она не давала ему покоя. Тут иногда его сердце изливалось на окружающих в жестоких, резких выговорах, не облегчавших, а скорее увеличивавших его пытку сознанием своей несправедливости.

Только во время бессонных ночей, в беседах с графом Дарю, по словам Сегюра, он вполне открывает свою душу: «он хочет, по его словам, ударить на Кутузова, уничтожить его или отбросить, потом быстро поворотить к Смоленску.» – Но Дарю ему отвечает, что раньше это можно было сделать, но теперь уже поздно; что русская армия устроилась, а его ослабла, и победа под Можайском забыта; что как только его армия повернется к стороне Франции – она у него проскользнет между пальцев, так как всякий солдат, нагруженный добычей, побежит теперь вперед во Францию, торговать.

«Так что же делать?» – "Остаться здесь, – отвечает Дарю, – сделать из Москвы большой укрепленный лагерь и провести в нем зиму. Хлеба и соли хватит – он отвечает за это. Для прочего достаточно будет больших фуражировок. Лошадей, которых нечем будет кормить, он посолит. Что касается помещений, то,

если домов мало, так погребов достаточно. С этим можно будет переждать до весны, когда подкрепления и вся вооруженная Литва выручат и помогут довершить завоевание.

Перед этим предложением император сначала молчит, видимо, раздумывая, потом отвечает: «Львиный совет! Но что скажет Париж! Что там будут делать? Что там делается за эти последние три недели? Кто может предвидеть впечатление шестимесячной неизвестности на парижан? – Нет, Франции не привыкнуть к моему отсутствию, а Пруссия и Австрия воспользуются им!»

И так уже Наполеон искусственно подогревал усердие союзников. Подтверждая раньше данные Шварценбергу инструкции и делая новые распоряжения, он не забывал «жаловать ему 12000 франков в месяц, на секретные издержки», приказывал выплатить «в счет будущего» 500000; не отказывал ни в одной из наград по представлению генерала и ходатайствовал перед австрийским императором о чине фельдмаршала для него, а также о разных отличиях для его армии.

Со своей стороны, Шварценберг, платя дружбой за дружбу, секретно уведомил Бертье, что император может рассчитывать на него лично, но не должен рассчитывать на Австрию...

И все-таки Наполеон еще не решался открыто объявить о своем намерении уйти. Все казалось ему потерянным, если удивленная Европа увидит его отступающим, и все спасенным – если удастся переспорить Александра настойчивостью; почти уже побежденный, он откладывал со дня на день публичное признание своего поражения.

Среди военных и политических туч, около него собиравшихся, всегда прежде лихорадочно деятельный, Наполеон в полном смысле бездействовал: он проводил дни в толках о достоинстве тех или других од и посланий, полученных за последнее время из Франции, образцы которых были приведены, или за редакцией правил управления французской комедией в Париже, на которую положил целых три вечера. Все замечали, что его обеды и ужины, обыкновенно простые и короткие, стали затягиваться, и что он начал поддерживать себя ликерами, видимо, ища возможности забыться. Видели его отяжелевшим, проводящим целые часы в полулежачем положении, с романом в руке и глазами, обращенными в пространство... в ожидании развязки.

Письмо его к Александру, посланное Лористоном в Петербург с Волконским, должно было пойти 24 сентября/ 6 октября, и ответ не мог прийти раньше 8/20 октября – очевидно, Наполеон ждал этого числа. По словам Констана, «последние дни пребывания в Москве, предшествовавшие 18-му октября, были донельзя печальны: его величество был как-то умышленно холоден и несообщителен; по целым часам никто из присутствовавших не решался начинать разговора.»

В это время, как всегда, официальные известия, бюллетени и «Монитер» не говорили правды, и всякое незначительное признание какой-нибудь военной неудачи непременно сопровождалось усиленною похвальбой: «21 сентября/ 3 октября в Москве начинают чувствовать зиму... Наши войска расположены по квартирам и наблюдают удивительную дисциплину... Мы нашли в Москве все знамена, взятые русскими у турок в течение последних ста лет слишком.»

Мюрат прислал в это время отчаянное донесение из авангарда о голоде и систематическом истреблении остатков кавалерии, но это донесение испугало только Бертье; Наполеон же призвал офицера, его привезшего, стал его расспрашивать, передопрашивать и довел до того, что тот, видя уверенность императора, сам усомнился в своих показаниях. Наполеон тотчас воспользовался его колебанием, чтобы поддержать надежду в Бертье, заверив его, что можно еще подождать, и затем отослал офицера обратно к Мюрату, в уверенности, что он распространит в авангарде мнение, будто император имеет твердо обдуманный и установленный план.

Нельзя думать, чтобы Наполеон сам вполне доверял своему оптимизму; главным двигателем его

поступков, очевидно, была нерешительность. Все окружающие удивлялись полному отсутствию в нем прежней живой, быстрой, сообразной требованию, решимости; видели, что гений его разучился прилаживаться к обстоятельствам, как это бывало при его возвышении: тут он упирался, спорил, не желая мириться с крушением своих планов. Не только военные замыслы, но и все другие затеи, при успехе называемые гениальными, а при неудаче позорными и бесчестными – не удавались ему, разлетались, как дым. – К числу таких неудачных затей, кроме помянутых попыток возмутить крестьян и татар, надобно отнести и горький промах с поддельными бумажками, которых было сфабриковано на 100000000 рублей. Сомневаться в существовании этих 100-рублевых ассигнаций парижского происхождения нельзя. В одном из писем Бертье есть жалоба на потерю последней коляски, в которой были «самые тайные бумаги» – в этой коляске найдена была улика мошенничества: доска для делания сторублевых русских ассигнаций.

Всевозможные предосторожности были приняты перед войной, чтобы парижские художники, которым поручено было гравирование досок, не догадались, для какого позорного дела они работают. Подделка производилась медленно, что сердило Наполеона, не раз подтверждавшего об ускорении дела. Кампания уже началась, когда привезли 28 ящиков с фальшивыми бумажками, и если он не успел пустить их в оборот, то только потому, что путь был безлюден, некому было платить, некого награждать.

Еще весною 1812 года герцог Бассано передал варшавскому банкиру Френкелю на 20000000 фальшивых денег с поручением пускать их в русские пределы, по мере вступления французов, и в помощь операции был распущен слух, будто, при занятии французами Вильны, было захвачено на многие миллионы ассигнаций – но слух этот не помог делу. Исправлявший должность московского городского головы купец Находкин, получивший за свою податливость 100000 рублей, Поздняков и Кольчугин и др., награжденные из того же источника, не решились распространять эти деньги, а почтенный директор воспитательного дома Тутолмин прямо отказался принять такую помощь: «их была одна зловредность, – писал он в донесении императрице, – чтобы ссужать меня своими фальшивыми ассигнациями, коих привезли с собою весьма большое число и ими даже, по повелению Наполеона, выдавали своим войскам жалованье.» Гвардия неохотно принимала эти бумажки, хотя они были хорошо подделаны и по ошибке были даже принимаемы после русскими банками.

Бездеятельность Наполеона отражалась и на других. Только 5/17 октября роздана была, по приказанию начальника штаба Бертье, кожа войскам для починки обуви – слишком поздно. Трофеи, более легко раненые и выздоравливающие направлены, тоже поздно, на Можайск; остальные, более трудные, свезены в воспитательный дом и к ним приставили французских докторов, в надежде, что вместе лежащие русские раненые будут их защитой.

Наполеон стянул к Москве корпуса, стоявшие за городом, и чаще прежнего стал делать им смотры. Заметно укоротившиеся ряды батальонов не могли не резать ему глаз, и он приказал строить людей не в три, а в две шеренги – была ли в этом сознанная необходимость или он хотел обмануть себя и других протяжением линий войск —трудно сказать.

Во время одного из таких смотров, на кремлевском дворе, между свитою прошел слух, что, по направлению расположения авангарда, слышны орудийные выстрелы. Никто не решался сначала обратить на это внимание Наполеона; Дюрок осмелился, наконец, доложить и все заметили, что император совершенно изменился в лице. Однако, он быстро оправился и стал было продолжать смотр, но в это время прискакал адъютант Мюрата с известием, "что первая линия короля, захваченная врасплох, опрокинута; левый фланг его, под прикрытием леса, обойден, правый атакован, сообщение отрезано. Двенадцать пушек, двадцать зарядных ящиков, множество повозок и багажа взято, два генерала убито и потеряно от трех до четырех тысяч человек; наконец, ранен сам король, который вырвал у неприятеля остатки отряда, только благодаря многим жарким атакам на многочисленные неприятельские войска,

занявшие было у него в тылу единственный путь отступления. Мюрат доносил, что «авангард более не существует, так как изнуренных остатков его хватит еще разве на один удар, на одну битву с неприятелем, сделавшимся более смелым, чем когда-либо.»

Это было 6/18 октября. Война возобновлялась, по понятиям французов – только что начиналась, по словам Кутузова.

При известии об этом нападении в Наполеоне сказалась вся прежняя энергия: тысячи приказаний всевозможного характера, от самых важных до самых мелочных, сразу вылились из его головы. К вечеру этого дня вся армия уже пришла в движение. До света 7/19 октября император сам выступил из Москвы, громко объявивши, что «двигается на Калугу, и горе тому, кто вздумает преградить ему дорогу.»

Он выехал из Москвы по старой Калужской дороге, в намерении добраться до границ Польши через Калугу, Медынь, Ельню и Смоленск. Один из окружавших его, Рапп, заметил, что уже поздно и что зима захватит их на дороге, но император возразил, что нужно было дать солдатам время отдохнуть и поправиться, а больным из Можайска, Москвы и Колоцкого монастыря выбраться к Смоленску; указывая затем на чистое голубое небо, он спросил: «Разве они не узнают его счастливой звезды в этом солнце, в чудной погоде, которая продолжала держаться?» – «Нехорошее выражение его лица, – говорит один из очевидцев, – прямо противоречило этим словам надежды и напускной уверенности.»

И тут, как всегда, даже ближним его трудно было разобраться в правде или неправде его слов. В виду ясных донесений, нельзя предположить, например, чтобы незнакомство с истинным положением дела было причиной полного извращения значения авангардного дела Мюрата. Это была известная битва при Тарутине, с которой фактически начался погром французской армии, участвовавшей в этом деле в числе 50000 человек, совершенно обращенной в бегство, потерявшей до 4000 убитыми и ранеными, 38 орудий, 1 штандарт и весь обоз[16]. – Однако, Наполеон описывает дело в бюллетене так: «У неприятеля появляется множество казаков, которые беспокоят нашу конницу. Авангард кавалерии, расположенный перед Винковым, атакован был врасплох толпою этих казаков, которые явились в лагерь прежде нежели наши успели сесть на лошадей, захватили обоз генерала Себастиани, состоявший из ста повозок, и взяли около сотни в плен. Неаполитанский король сел на лошадь с кирасирами и карабинерами и, приметив неприятельскую колонну легкой пехоты, состоявшую из четырех батальонов, посланную для подкрепления казаков, ударил на нее, разбил и изрубил. Генерал Дези, адъютант короля, храбрый офицер, был убит в этой стычке, приносящей честь карабинерам.»

Лишь только Наполеон убедился, через новое посольство в русский лагерь, что Кутузов не предпринял никакого движения и стоит на старом месте, он выступил к Калуге, в обход русских войск, избегая сражения. Надо полагать, что он говорил о намерении разбить Кутузова и с боя открыть путь своим войскам на зимние квартиры только для поднятия упавшего духа солдат и офицеров и отвлечения глаз Европы. Он должен был понимать, что его войска могли драться и защищать громадную награбленную добычу, но побеждать уже не могли[17].

Отступавшая французская армия растянулась на громадном пространстве. В этой колонне почти в полтораста тысяч человек, при пятидесяти тысячах лошадей – сто тысяч шедших впереди, в ранцах, с оружием, при пятистах пятидесяти пушках и двух тысячах артиллерийских повозок, еще напоминали тех воинов, которые покорили Европу – остальное походило на татарскую орду, возвращающуюся с удачного набега. На протяжении трех, четырех бесконечных линий движения стояла полная толкотня и смешение колясок и зарядных ящиков, богатых карет и всевозможных телег. Здесь трофеи знамен, русских, турецких и персидских, с громадным крестом Ивана Великого; там русские бородатые крестьяне, тащащие французскую добычу, которой они тоже составляют часть; другие тянут руками тележки, наполненные всем, что только удалось увезти – глупцы, конечно, не дойдут до первого привала, но перед их жадностью

2 – 3 тысячи верст ничего не значат. Элегантные кареты везутся маленькими лошадьми, запряженными веревками; в них награбленное добро и французские женщины, проживавшие прежде в Москве и теперь убегавшие из боязни мести москвичей. Видно также немало русских женщин, частью по принуждению, частью по своей воле следующих за армией. – «Можно было подумать, – говорят очевидцы, – что это какой-то караван кочующего народа, подобие одной из древних армий, возвращающейся после грабежа, с рабынями и всяким добром.»

Несмотря на ширину дороги и крики конвоя, Наполеон едва успевает протискаться через эту бесконечную толпу – на него начинают уже мало обращать внимания.

В молчании пробрался он вперед и направился по старой Калужской дороге. В продолжение нескольких часов он ехал в этом направлении, потом, в середине дня, на высоте Красной Пахры, вдруг свернул с армией направо и через поля, в три перехода, дошел до новой дороги в Калугу, прикрывши свое движение корпусами Нея и остатками кавалерии Мюрата. Письмо к Бертье и Кутузову, помеченное днем выхода из Москвы и трактовавшее о вопросах человеколюбия, было военною хитростью, имевшею именно целью усыпить бдительность русских и дать возможность выиграть день-другой спокойного отступления.

Хитрость едва не удалась; случилось, однако, что русский партизан Фигнер высмотрел отступавшую армию и уведомил о выходе ее из Москвы довольно беспечно стоявшего в Леташевке Кутузова, тотчас двинувшегося параллельно с нею, к Калуге же.

Нет сомнения, что если бы Наполеон меньше заботился о сохранении награбленного добра и шел скорее – он предупредил бы русских; но, двигаясь не спеша, как позволяли обстоятельства, он сделал непоправимую ошибку, опоздал...

«Никогда, – говорит Fezensac, – французская армия не таскала за собой столько повозок. Всякая рота запаслась телегой для провизии и когда не могла увезти всю, которую имела, то лишнее сжигала, на что полковые командиры не обращали внимания.»

"Все, и гвардия в особенности, – рассказывает Rene Bourgeois, – были **нагружены** золотом, серебром и массою драгоценных вещей, набитых всюду, в ущерб провизии, так что уже не в далеком расстоянии от Москвы, армия стала нуждаться в предметах первой необходимости. У редкого офицера не было мехов, но у большинства солдат не было другой одежды, кроме мундира и шинели, а обувь – в самом печальном виде. У редкого офицера не было также в карете или повозке, ему принадлежавшей, подруги сердца, французской или русской."

Французская армия медленно подходила к Малоярославцу, и авангард ее уже занял этот город, так что главное препятствие казалось счастливо обойденным. Наполеон завтракал в поле с Мюратом, Бертье и генералом Ларибуазьером, когда со стороны авангарда послышались пушечные выстрелы: под Малоярославцем началось сражение. Император, сев на лошадь, поскакал по тому направлению. Адъютанту вице-короля, донесшему о вступлении в бой всех наличных сил, император ответил: «Поезжайте назад к вице-королю и скажите, чтобы, раз начавши, выпил чашу до дна – я приказал Даву поддержать его!»

Битва была жаркая. Малоярославец переходил из рук в руки 11 раз. Город был совсем уничтожен; направление улиц видно было только по массе трупов, которыми они были устланы. От домов остались груды развалин, из-под которых торчали полуобуглившиеся трупы. Когда сам император приехал на место битвы, ему указали на редуты, возводимые отбитыми русскими на новозанятой позиции. Общее мнение у французов было то, что Кутузов не отступит, и придется принять генеральное сражение, для которого не было ни энергии в войске, ни снарядов в артиллерии.

«Под Малоярославцем, – говорит Fezensac, – выгода боя осталась на стороне французов, но Кутузов

занял позицию сзади и укрепил ее редутами. Один из его отрядов начал уже обходить наш правый фланг по Медынской дороге. Надобно было или дать большую битву, или прямо отступить.»

Положение было очень серьезное и минута решительная. Совещание по этому поводу происходило в деревне Городне, на пути к Малоярославцу. Маршал Бессиер и другие генералы были того мнения, что надобно отступить – не то, чтобы они сомневались в победе, но боялись потерь, с нею сопряженных, и деморализации, полного расстройства армии. Кавалерийские и артиллерийские лошади были обессилены работой и бескормицей —как заменить тех, что будут потеряны? Как везти артиллерию, амуницию, массу раненых, которых, конечно, будет немало. В этом положении поход на Калугу представлялся очень рискованным, и осторожность советовала отступить к Смоленску через Можайск. Сначала Бессиер, за ним и другие советовали **отступить**. Наполеон долго не решался, но, наконец, проведя целый день в осмотре и изучении местности, так же как и в выслушивании мнений и советов своих генералов, решился отойти назад к Можайску и затем отступить по старой разоренной дороге.

Нельзя опять не обратить внимания на то, как мало извещения Наполеона о своих действиях, даваемые Франции и Европе, согласовались с истиною, и как кое-где разбросанные крупицы правды прикрывались правдоподобными, но совершенно неверными подробностями. В XXII бюллетене сказано было о многознаменательной Малоярославецкой битве и последовавшем затем решении отступить, по старому, выжженному, голодному, зараженному пути, так: «Под Малоярославцем русские имели две трети армии в деле, но напрасно: город был взят и неприятель отступал так беспорядочно, что побросал 20 пушек в реку... Император поехал в Малоярославец, осмотрел неприятельские позиции и приказал наступать, но неприятель отошел ночью – тогда и император поворотил на Верею к Смоленску, т.е. на старую дорогу... Погода превосходная, дороги прекрасные. Итальянская гвардия отличилась. Генерал барон Дельзонс, отличный офицер, убит 3-мя пулями. Старая русская пехота истреблена. Люди знающие говорят, что только первые ряды русских состоят из солдат, другие же из рекрутов и милиционеров, которых удержали под знаменами, несмотря на слово, им данное» и т.д.

Теперь Наполеон шел уже шибко, постоянно выговаривая Даву за медленность и задержки арриергарда. Какова была эта медленность, видно из донесений атамана казаков Платова, от самого Можайска шедшего позади Даву и доносившего, что «неприятели бегут так, как никакая армия никогда ретироваться не могла – покидают по дороге раненых, больных и тяжести.»

Миновавши Можайск, французская армия прошла мимо Бородинского поля, на котором было оставлено больше 30000 тел. При приближении войска, стаи ворон со страшным криком поднялись с полурасклеванных и истерзанных трупов, несмотря на довольно сильный холод, издававших невыносимый запах. Наполеон не повернул головы, не сказал ни слова, только ускорил шаг – он шел пешком.

Рассказывают, что когда императорская колонна приближалась к Гжатску, она везде по дороге встречала трупы только что убитых русских, у которых головы были размозжены одинаковым ударом, в упор, с разметанными кругом мозгом и кровью – знали, что две тысячи русских пленников шли впереди, под конвоем, и поняли, что это были их отсталые, для упрощения дела пристреленные. Некоторые из свиты пришли в негодование, другие молчали, третьи даже оправдывали эти хладнокровные убийства. Около императора никто не высказывал своих чувств, только Коленкур разразился: «Это просто невозможная жестокость! Вот она цивилизация, которую мы принесли в Россию! Ведь неприятель отплатит нам за эти варварства: у него в руках масса наших раненых и пленных и он имеет все средства отомстить нам за них.» Наполеон угрюмо молчал, но со следующего дня эти убийства прекратились – без сомнения, он распорядился прекратить их.

По поводу этих пленных, все очевидцы главной квартиры повторяют то же самое: «Колонна русских пленных шла перед нами, под караулом солдат Рейнского союза, – говорит Fain, – им кидали обрывки

лошадиного мяса и караульным было приказано убивать тех, что изнемогали и не могли идти дальше. По дороге валялись их трупы с разбитыми головами.»

«Баденским гренадерам, – рассказывает Rooss, – которые провожали обоз Наполеона, был дан приказ: тех русских пленных, которые изнемогали и дальше идти не могли, сейчас же пристреливать. Двое из этих гренадер говорили мне, что сам Наполеон дал этот приказ.»

«Перо мое, – пишет M. de-B., – отказывается передавать наше обращение с русскими пленными во время отступления, жестокость и варварство, которое напрасно старались извинить законом необходимости и необыкновенностью положения французской армии.»

Labaume сообщает им виденное: «Дорогой не имели чем кормить три тысячи русских пленных, захваченных в Москве, которых загоняли, как скот, ни под каким предлогом не позволяя выходить из тесного пространства, им назначенного. Без огня, замерзающие, они бросались на лед и снег и, чтобы хоть сколько-нибудь утолить голод, нежелавшие умирать ели своих только что умерших товарищей.»

Надобно прибавить, что эти пленные не были взяты с оружием в руках, а представляли сброд из разных сословий, попавшихся на московских улицах.

Дворянин, офицер Перовский, там же задержанный вопреки военным правилам, так рассказывает об этих убийствах: «Вдруг, за несколько шагов позади нас, раздался ружейный выстрел, на который я сначала не обратил внимания... Унтер-офицер донес офицеру, что пристрелил одного из пленных. Я не верил ушам своим и просил офицера объяснить мне слышанное: „Я имею письменное повеление, – сказал он с вежливостью, – пристреливать пленных, которые от усталости или по какой другой причине отстанут от хвоста колонны более 50 шагов. Конвойным приказано об этом раз навсегда.“... В продолжение дня пристрелено было человек 6 или 7, в числе которых один из штатских чиновников. Иногда слышали мы до 15 выстрелов в день. Мне случилось видеть раз старого солдата, упавшего в дороге от усталости; француз, оставшийся, чтобы пристрелить его, три раза прикладывал дуло своего ружья к голове русского, три раза спускал курок – ружье осекалось! Наконец, он ушел и прислал другого, у которого ружье было исправнее. Пленные, предчувствуя свою участь, завидя вдали по дороге церковь, старались дотянуться до нее, останавливались по нескольку человек рядом, на паперти, у дверей, молились и их расстреливали.» Автор этого последнего рассказа, впоследствии граф, испытал бы без сомнения ту же участь, если бы отряд партизан под командой Чернышева не освободил его...

19/31 октября Наполеон подошел к Вязьме. Первый раз со времени выхода из Москвы он ехал в карете и был одет в собольей шапке, зеленой шубе, обшитой соболями, с золотыми бранденбургами, и меховых сапогах. Так одевался он потом во все время отступления, и когда настали большие холода, не позволявшие держаться в седле, или ехал в карете, или шел пешком. Пехота старой гвардии по-прежнему располагалась бивуаком в каре, около его главной квартиры, устраивавшейся преимущественно в кое-где уцелевших домах.

Войска, имея повеление все выжигать, выламывали в домах окна, двери, кидали в них горящие головни, патроны с порохом, даже патронные ящики, тешась взрывами их. В городах и селах нельзя было дышать от дыма пожаров и гнивших трупов... Даву, не находя способов для сохранения людей в таких условиях, писал Наполеону, что « следует одному арриергарду предоставить сожжение оставляемых селений»... Ежедневные потери армии в людях и лошадях делались от этого истребления всякого жилья по дороге еще большими.

Очень несчастливо для французов было дело под Вязьмой: Милорадович взял много пленных, артиллерии и обоза. Между тем, Наполеон извещал Францию только «о потере нескольких отдельных лиц, захваченных казаками, инженеров-географов, снимавших планы, а также раненых офицеров, шедших без

опаски, предпочитавших рисковать вместо того, чтобы идти как следует при обозе...»

"6 ноября/25 октября погода совершенно изменилась и голубизна неба бесследно пропала, – рассказывает Сегюр. Французская армия давно уже двигалась окруженная холодными парами, все более и более сгущавшимися и в этот день разразившимися снежными хлопьями – казалось, холодное небо соединилось с мерзлою землей. Все перемешалось и сделалось неузнаваемым: все предметы изменили свой облик; шли, не зная где, не замечая куда, всюду встречая препятствия. Пока солдат старался двигаться против морозного вихря, снег, гонимый бурей, скоплялся во всех выбоинах, скрывая их глубину; солдаты падали, зарывались и кто послабее – оставался там. За ними следовавшие напрасно отворачивались: вихрь хлестал по глазам, падающим и с земли захваченным снегом, останавливая, не давая идти дальше.

Мокрое платье мерзнет, и эта ледяная оболочка охватывает тело, сковывает все члены. Сильный резкий ветер захватывает дыхание, которое, выходя изо рта, превращается в безобразные сосульки на бороде и одежде. Дрожа всеми членами, люди двигаются еще до тех пор, пока снег, собравшись под подошвами, не затруднит окончательно ходьбу; тогда, споткнувшись о кусок ли дерева, труп ли товарища, они падают, стонут, жалуются, пока снег не покроет их, оставивши на поверхности только маленький, едва заметный глазу бугорок – могилу. Вся дорога усеяна этими крошечными возвышенностями, точно кладбище... Кругом один снег; взгляд теряется в этом печальном однообразии; воображение просто поражено: это какой-то саван, которым природа окружает бедную французскую армию! Единственные предметы, резко выделяющиеся – ели, с их похоронной зеленью, неподвижные, гигантские, с черными ветвями, навевающие грусть и тоску.

В общем, безотрадный вид армии, умирающей, коченеющей, в окоченелой, мертвой природе.

Все, даже и оружие, еще страшное в Малоярославце, но с тех пор только жалкое, мешает несчастным; оно кажется невыносимо тяжелым для их окоченелых рук; при постоянных падениях оно вываливается и ломается или зарывается в снег. Солдаты поднимаются на ноги уже без оружия, не потому, чтобы умышленно хотели бросить его, а потому, что оно просто вырвано у них голодом и холодом. Немало рук отмораживается на ружьях, на которых пальцы не двигаются, коченеют.

Приходит шестнадцатичасовая ночь! На все и всюду покрывающем снеге негде приткнуться, остановиться, сесть и отдохнуть, негде даже вырыть каких-нибудь корней для утоления голода, достать дров для костра! Однако, усталость, темнота и настойчивые приказания останавливают тех, кому нравственные и физические силы позволяют еще повиноваться. Стараются по возможности устроиться, но буря знать ничего не хочет и разметает бивуачные приготовления. Ель, покрытая инеем, не загорается, снег падает сверху, снег тает снизу, и с трудом раздутый огонь не раз тухнет. Наконец, пламя разгорается, офицеры и солдаты начинают приготовлять свой печальный ужин из кусков тощего мяса убитых или павших лошадей, может быть с несколькими ложками овсяной муки, разведенной в растаявшем снеге. На другой день целые круги окоченелых солдат указывают места бивуаков, а по окрестности валяются тысячи издохших лошадей!.."

В тот самый день, как над армией разразилось бедствие установившейся зимы, штаб главной квартиры был остановлен на дороге графом Дарю, по секрету сообщившим что-то императору. Оказалось, что эстафета, первая за целую неделю, добравшаяся до армии, уведомляла о заговоре Мале. На дороге в виду всех Наполеон довольно хладнокровно отнесся к этому событию, но после на бивуаке выказал большое раздражение.

Еще более он был раздражен в Смоленске, где армия, после всех надежд на отдых, не нашла в достаточном количестве ни квартир, ни провианта. Просто бешенство овладело императором. «Никогда еще, – говорит слуга его, Констан, – я не видал его в такой степени забвения самого себя. Он велел позвать интенданта; из соседней комнаты я слышал ужасный крик его. Наполеон приказал расстрелять этого

чиновника и, только после долгого ползания в ногах, тому удалось вымолить прощение.»

Бедствие от недостатка провианта еще увеличивалось тем, что никто не был предупрежден о возвращении армии, и неприготовленные чиновники в Смоленске и др. местах совсем растерялись перед толпами остервенелых беглецов, полезших прямо на штурм всего запасенного и все разграбивших без большой пользы для себя, к гибели за ними следовавших.

Армия не только не отдохнула в Смоленске, как надеялась, но пошла дальше еще более расстроенная. Без сомнения, император надеялся придать своему беспорядочному бегству вид стройного и почетного отступления, так как, между прочим, приказал взорвать стены Смоленска под тем предлогом, как он выражался, «чтобы они не задержали его в другой раз» – точно будто и вправду можно было думать о новом нашествии, когда не знали, как вырваться, как развязаться со старым!

Раньше было сказано, что Наполеон ехал в карете, хорошо закрытой, наполненной мехами, одетый в соболью шубу, шапку и теплые сапоги, так что, конечно, не чувствовал никакого холода. Запершись с Мюратом в экипаже, он меньше рисковал подвергаться оскорблениям со стороны озлившихся людей и сам не имел постоянно перед глазами картин отчаяния и голода своих солдат, требовавших хлеба и хлеба. После Смоленска он много шел пешком и в продолжение пути, конечно, мог хорошо убедиться – в каком ужасном положении была его армия, испытывавшая в это время невыразимые бедствия.

В Днепре, а также в Семлевском озере император приказал утопить большую часть злополучных трофеев, а также множество орудий и всякого оружия. Однако, крест Ивана Великого он, несмотря ни на что, хотел-таки довезти до Парижа и протащил его, кажется, до Вильны.

Выше было уже помещено описание бедствий, постигших отступавшую великую армию, но подробности описаний очевидцев так характерны, интересны и поучительны, что я приведу еще несколько выдержек.

На каждом шагу встречались бравые офицеры, покрытые лохмотьями, опиравшиеся на сосновые палки; волосы и бороды в ледяных сосульках. Поминутно слышались их мольбы о помощи: «Товарищи, – кричал один раздирающим голосом, – помогите мне встать на ноги, дайте мне руку, хотелось бы не отставать от вас!» Все проходили мимо, даже не глядя на просившего. «Именем человечества, помогите, дайте мне подняться!..» Но товарищи не только не трогались этой просьбой, а еще считая такого слабого прямо погибшим, набрасывались на него и снимали всю одежду... Несчастие сгладило все положения и всех перемешало; напрасно некоторые офицеры выставляли свое право приказывать, командовать – никто не обращал внимания на этих командиров; голодавший полковник принужден был выпрашивать кусок сухаря у простого солдата, у которого они водились; имевший маленький запас провизии, хоть бы простой денщик, был окружен толпой куртизанов, откладывавших в сторону свои чины и отличия, льстивших и ухаживавших за счастливцем. Начальники, привыкшие повелевать, не сумевшие найтись в нужде, были самые несчастные люди – их прямо избегали, чтобы не оказывать им услуг.

"Друзья мои, помогите! Дайте мне подняться – я инженерный капитан, – жалостливо взывал один офицер. – Проходивший мимо гренадер остановился – «Как! Ты инженерный капитан?» – «Да, любезный друг, да!» – «Ну, так черти же свои планы!»

Дорога была покрыта солдатами, просто не имевшими человеческого облика, которых неприятель даже отказывался брать в плен. Многие от голода и холода обратились в идиотство, жарили и пожирали трупы товарищей или грызли свои собственные руки; некоторые были так слабы, что не могли принести полена дров или подкатить камень, и садились на замерзшие тела своих товарищей, устремивши тупой неподвижный взгляд в горящие уголья; скоро уголья потухали, а живые скелеты, не в силах будучи подняться, падали около тел, на которых сидели. – Многие, чтобы отогреться, клали свои голые ноги в

середину костра...

Все корпуса перемешались; из их остатков устроилось множество маленьких отрядов, вернее групп, в восемь, десять человек, которые шли вместе, дружно, имея все общее. Каждая такая группа имела русскую лошаденку – cogna[18], как они называли ее – для багажа, принадлежностей кухни, провизии; у всякого члена группы был еще на себе мешок, для запасов же. Все эти кучки жили совершенно особой жизнью и отгоняли всех, к ним не принадлежавших. Члены семьи шли, тесно сплотившись, и всячески старались не разделяться в толпе: беда тому, кто отставал от товарищей – он нигде не находил никого, кто бы принял в нем какое-либо участие или оказал какую-либо помощь: везде с ним обращались дурно, толкали, преследовали его; без милосердия отгоняли от огня и мест, где можно было приютиться; переставали травить его только тогда, когда он догонял опять своих.

«Мы составляли, – говорит Labaume, – шайку разбойников, между которыми ни личность, ни имущество не были в безопасности. Необходимость заставила нас сделаться ворами и мошенниками: не чувствуя ни малейшего стыда, мы воровали друг у друга все, что нравилось; поджоги, убийства, истребления во всех формах были вещами самыми обыденными, мы вполне освоились с преступлением; так же легко, как зажигали дом для того, чтобы минуточку погреться около пожара, – без церемонии отнимали у более слабого весь его запас, чтобы прокормиться самому...»

Несмотря на такое несчастное состояние армии, Наполеон приказывал иногда разные маневры, с каким результатом – это можно себе представить: части, которые можно было еще заставить исполнять движение, пробродивши по занесенным снегом дорогам, кончали тем, что возвращались назад, оставив во рвах артиллерию и багаж...

Печальный и жалкий вид имел, по словам одного очевидца, бивуак штаба. «В плохом сарае, едва покрытом, около небольшого огня, располагалось человек двадцать офицеров, вперемежку со столькими же слугами. Позади все лошади, вкруговую, как защита против ветра. Дым до того густ, что едва видны фигуры сидящих у самого огня и раздувающих пламя под котлом, в котором варится пища. Остальные, завернувшись в плащи и шубы, лежат вповалку, чуть не один на другом, для теплоты. Никто не двигается, лишь время от времени слышится ворчанье и брань тех, кто бродит наступая на людей, и ругань на ржущих лошадей или на искры костра, зажигающие шубы.»

Наполеон, шедший теперь по большей части пешком, хорошо видел состояние армии, но он не находил нужным сообщать Европе даже и части правды в своих бюллетенях. «Дороги сделались очень скользки, – говорит он в XXVIII бюллетене, – и очень трудны для упряжных лошадей – мы много их потеряли из-за холода и усталости.» Под Вязьмою: «Двенадцать тысяч человек русской пехоты, под прикрытием целых стай казаков, перерезали дорогу между герцогом Экмюльским и вице-королем. Герцог Экмюльский и вице-король пошли против них, согнали с дороги, загнали в лес, взяли в плен генерала со множеством пленных и 6 орудий; с тех пор не видали больше русской пехоты, только снуют казаки.» – Ни слова о множестве пленных, об орудиях и обозе, захваченных Милорадовичем в этом несчастном для французской армии деле, также и о том, что в это время великая армия уже потеряла около 40000 человек пленными, около 25 генералов, до пятисот орудий, до тридцати знамен и, кроме невероятного количества багажа, все московские трофеи, которые не успели сжечь или уничтожить. Если к этому прибавить также до 50000 человек, умерших от всяких бед или убитых в разных сражениях, со времени выхода из Москвы, то можно положить, что в армии оставалось не более семидесяти тысяч человек и между ними – с императорскою гвардией включительно – было только около 10000 способных держать оружие.

Кутузов строго приказал своим генералам не доводить неприятеля до отчаяния и в особенности самому Наполеону и старой гвардии, от которых ожидал отчаянного сопротивления, приказано было «строить мосты золотые» в том предположении, что если они и уйдут от холода и голода, то во всяком

случае не перейдут Березины, где будут иметь дело с тремя армиями.

Только этим расчетом и можно было объяснить излишнюю осторожность, проявленную русским главнокомандующим при всех случаях, когда генералы его изъявляли намерение ударить на обессилевшего неприятеля и сразу покончить с ним и с войной. Французская армия, вернее, остатки ее, обязана своим спасением не престижу своему только, а и Кутузову с Чичаговым последнему более, чем кому-либо.

Вследствии помянутых соображений Кутузова, император с его отборным войском не были беспокоимы на пути в Красное, но на следовавших за ним маршалов Даву и Нея сделано было серьезное нападение.

Под Красным Наполеон, после целого ряда нерешительных и противоречивых поступков, снова проявил былую находчивость и смелость: дерзким маневром задержал русских и дал возможность спастись остаткам двух своих отрядов.

Пока он маневрировал тут с гвардией около дороги, мимо него продефилировала вся невообразимая масса беглецов, не могшая защищаться и ни на что не годная. Несмотря на спокойствие, которое император старался показывать, видно было, что эти нищие, эти остатки когда-то непобедимого войска, произвели на него глубокое впечатление. Всю эту ночь он не спал и жаловался, что «не в состоянии выносить положения своего войска, что вид их раздирает его душу.»

Выше было помянуто о гибельных для великой армии делах Даву и принца Евгения в эти дни, также как и об достойном удивления отступлении маршала Нея, растерявшего весь свой двенадцатитысячный отряд, но спасшегося лично после невероятного плутания по снежным равнинам и лесам. Рассказывают, что Наполеон обедал с Бертье и Раппом, когда Гурго прискакал из Орши с известием о том, что маршал Ней жив! Император вскочил, схватил его за обе руки и спросил: «Да верно ли это?» – Узнавши, что сомневаться нельзя было, он воскликнул: «У меня двести миллионов в дворцовых погребах – я охотно отдал бы их за этого человека!»

Опять возобновились ускоренное отступление, нападения казаков и прочее.

«Представьте себе, если только это возможно, – говорит Rene Bourgeois, – шестьдесят тысяч нищих с мешками на плечах, с длинными палками в руках, покрытых рубищами, самыми грязными и самыми уродливо прилаженными, кишащими всякими насекомыми, и совершенно голодных! Прибавьте осунувшиеся физиономии, бледные, покрытые бивуачной грязью, почерневшие от дыма, глаза тусклые и впавшие, волосы в беспорядке, длинные отвратительные бороды – и все еще будете иметь только слабое представление об общей картине армии! Не было ни братьев, ни друзей, ни земляков, ни начальников. „Спасайся, кто может“, – было единственным лозунгом. Мы вели друг с другом отчаянную войну и можно сказать, что и в прямом и в переносном смысле сильный пожирал слабого. Куда ни взглянешь, везде сцены ужаса и варварства. С бешенством бросались на того, кого подозревали в укрывательстве провизии, вырывали ее у него, несмотря на сопротивление и ругательства. Постоянно слышно было, как лошади давили и колеса дробили кости трупов, вдавливая их в колеи.»

При таких ужасах, нельзя не удивляться тому, что все-таки хоть небольшая часть великой армии смогла добраться до границы и желанных зимних квартир и в виду этого небезынтересно проследить распорядки ежедневной жизни беглецов.

"Когда мы останавливались, – рассказывает Bourgogne, – чтобы перекусить, живо бросались к лошадям или покинутым, или таким, за которыми не было надсмотра, резали их, собирали кровь в кастрюлю, наскоро варили и ели. Когда случалось, что раздавался приказ выступать или подходили русские и нужно было утекать, кастрюли уносили с собою и ели из них походя, горстями, зато же и пачкались в

крови.

Те, что гнушались есть своих товарищей и дохлых лошадей, питались только зернами, попадавшимися в лошадином корме. За место у огня платили по золотому.

Дрались из-за самого ничтожного предлога и самая ужасная брань разливалась в воздухе. Гнуснейшие ругательства, самые позорные названия бросались в лицо из-за пустяков. Обыкновенно все ссоры кончались тем, что кидались друг на друга с кулаками и палками; общее бешенство было так велико, что готовы были разорвать друг друга...

На остановках, как сумасшедшие, бросались в дома, сараи, навесы и всевозможные постройки, которые встречались, и в несколько мгновений наполняли их так, что нельзя было ни войти, ни выйти. Те, что не могли войти, устраивались снаружи, по возможности около стен. Первая забота была достать дров и соломы для бивуака, для чего лазили на соседние постройки, снимали крыши, стропила, чердаки, перегородки и кончали тем, что разваливали совсем постройку, несмотря на сопротивление, крики и угрозы тех, что были внутри. Эти выдерживали настоящую осаду и, делая время от времени вылазки на нападавших, отгоняли их, хотя ненадолго, потому что отступившие заменялись еще более сильными и настойчивыми. Приходилось уступать, наконец, силе и выходить, чтобы не быть погребенными под развалинами. Часто, когда невозможно было силою войти в дом, его зажигали снаружи, чтобы вытурить всех гревшихся внутри – это обыкновенно бывало, когда здание захватывалось генералами, выгонявшими раньше вошедших. Последние тогда угрожали зажечь дом и действительно приводили угрозу в исполнение. Несчастные офицеры с проклятиями бросались к выходам, падая и давя друг друга, чтобы спастись..."

Теперь даже высшее начальство говорило, что Наполеон завел свою армию в Москву, как Карл XII в Украину, что в военном отношении кампания испорчена нерешительностью в большой битве, а в политическом – пожаром Москвы; и что в свое время армия могла бы воротиться в добром порядке! Со времени вступления в Москву и русский главнокомандующий, и русская зима давали ведь хороший срок: один 40, другой 50 дней для отдыха и отступления. Горюя о потере времени в Москве и нерешительности, проявленной в Малоярославце, рассуждавшие высчитывали свои беды: с Москвы потеряли весь обоз и багаж, половину артиллерии, тридцать знамен, до тридцати генералов, сорок тысяч пленных, шестьдесят тысяч умерших, остается до 50000 безоружных бродяг и тысяч до десяти способных защищаться! С другой стороны, была большая ошибка оставить все дело прикрытия отступления армии и все ее магазины австрийцу, не поставивши в Вильне или Минске авторитетного начальника, который мог бы восполнять ошибки и недочеты в действиях австрийской армии. Вся армия обвиняла Шварценберга в измене, хотя сам Наполеон молчал, может быть из политики, а может быть потому, что не ожидал от этого союзника большего усердия.

Наполеон старался остановить общее разложение и упадок духа: наедине он, как помянуто уже, крепко горевал о страданиях солдат, но публично делал вид, что невозмутим, и отдал приказ, «чтобы всякий занял свое место, иначе начальников он будет разжаловать, а солдат – расстреливать.» Но эта угроза не произвела никакого действия на людей, которые, конечно, меньше боялись смерти, чем продолжения такой жизни.

В Орше Наполеон сжег собственными руками свои вещи, чтобы они не достались неприятелю. Тут пропали документы, собранные им для истории своей жизни, которою он хотел заняться, отправляясь в эту кампанию. Он рассчитывал тогда победоносно и угрожающе остановиться на Двине и Березине, и за 6 месяцев зимней скуки заняться составлением своих воспоминаний. Все эти предположения и надежды разлетелись теперь.

Явился слух о том, что Минск занят Чичаговым, и что, следовательно, путь отступления в опасности, но

император не придавал этому большого значения, потому что был уверен в обладании переправы через Березину, в Борисове. Тамошний мост был защищен хорошею крепостью, занятою польским полком. Наполеон был так спокоен на этот счет, что, для облегчения армии, еще в Орше приказал сжечь все понтоны. Каково же было после этого узнать, что действительно город Борисов, командующий переправой через Березину, взят Чичаговым!

Интересно описание минут, следовавших за получением Наполеоном известия о занятии русскими переправы через Березину, сделанное одним офицером молодой гвардии – вот оно дословно: "16/24 ноября мы шли большою дорогой, по направлению к Борисову. До города было уже не очень далеко. Бонапарт шел, как и все мы, с палкою, он был одет в меховую шубу и шапку и шел по середине дороги в нескольких шагах от меня, следом за князем Невшательским (Бертье). Кругом было как-то тоскливо тихо и спокойно – когда мы увидели шедшего к нам навстречу офицера. Это был состоявший при главном штабе полковник de F. Он остановился перед князем и отрапортовал ему что-то – я расслышал только слова «Березина» и «русские». Все остановились, так же и Бонапарт, который был шагах в шести от начальника штаба и от полковника. Я придвинулся немного, чтобы разузнать, в чем дело. Слышу, Бонапарт спрашивает сердито: «Что он там толкует? Что он толкует? Что он толкует?» – Князь приказал полковнику повторить донесение Бонапарту. – Как теперь слышу:

de F. – Г-н маршал поручил мне уведомить о том, что русская Молдавская армия пришла к Березине и завладела всеми переправами.

Бонапарт. – Это неправда, это неправда, это неправда!

de F. – Что две неприятельские дивизии завладели мостом и занимают уже левый берег; также, что река замерзла недостаточно для перехода по льду.

Бонапарт (с гневом). – Вы лжете, вы лжете, это неправда!

de F. (хладнокровно и тоном повыше) – Меня не посылали проверять положение неприятеля; г-н маршал послал меня с этим донесением, и я исполняю свой долг.

Видя, что Бонапарт стал шевелить своей палкой, я подумал, что он хочет ударить ею полковника; но в эту минуту он, с широко расставленными ногами, откинулся назад и, опираясь левою рукою о палку, со скрежетом зубов, кинул к небу свирепый взгляд и поднял кулак! Настоящий крик бешенства вырвался из его груди, он повторил свой жест угрозы и прибавил короткое и выразительное слово... само по себе составляющее богохульство. Уверяю вас, что в жизнь мою я не видел более ужасного выражения лица и всей фигуры! Он, очевидно, совсем забыл о старании, с которым скрывал до сих пор перед нами свои ощущения и старался казаться веселым, чему, конечно, никто не верил. Мы так внимательно следили за всеми его движениями и были до такой степени поражены виденным, что опомнились только, когда он приказал продолжать путь."

"Эту ночь Наполеон не спал, – рассказывает Сегюр. – Дюрок и Дарю, считая его уснувшим, тихонько разговаривали об отчаянном положении, в котором очутились, не зная, что он все слышал; когда они произнесли слово «государственный пленник», он не вытерпел и подал голос: «Так вы думаете, что они осмелятся?» Дарю, сначала удивленный, ответил, что, если ему придется сдаться, он должен быть готов ко всему; что нельзя рассчитывать на великодушие неприятеля, так как политика в широком смысле слова не признает обыденной морали и действует самостоятельно.

«А Франция, – спросил Наполеон, – что скажет Франция?»

«О! Что касается Франции – об ней можно загадывать, что угодно, но трудно сказать, что именно в ней произойдет. – Самое лучшее, – прибавил Дарю, – и для нас и для вашего величества было бы, если бы хоть по воздуху, коли нельзя по земле, вы перенеслись как-нибудь во Францию, откуда спасли бы нас

вернее, чем оставаясь здесь.»

– Значит, я вас стесняю? – спросил Наполеон.

– Да, ваше величество.

– А вы не хотите быть государственными пленниками?

Дарю ответил ему в том же духе, т.е. шутя, что «с него довольно быть и военнопленным».

На это император ничего не ответил, а после долгого молчания спросил: все ли донесения сожжены?

– Ваше величество не хотели ведь делать этого?

– Ну так подите сейчас сожгите все – надобно сознаться, что мы в неважных обстоятельствах!.."

Маршалу С. -Сиру строго приказано было прогнать русских за реку; он это и исполнил, тем не менее вопрос о том, как ее перейти под неприятельскими пушками, не имея готовых понтонов, оставался открытым и волновал в армии всех, от мала до велика.

Надежда пройти между русскими армиями была потеряна: под ударами Кутузова и Витгейнштейна, толкавших французов к Березине, приходилось немедленно переходить через реку, несмотря на угрожающее положение Чичагова на другой стороне ее. С 23 ноября Наполеон приготовился к этому отчаянному шагу. Остатки кавалерии, поставленной под начальство Латур-Мобура, еще быстро убавились и оставалось уже всего сто пятьдесят человек. Император собрал всех офицеров, еще сидевших на лошадях, и назвал этот отряд, приблизительно в 500 человек, своим «Священным эскадроном»; начальники дивизии служили в нем капитанами; Груши и Себастиани назначены были командирами его. Наполеон приказал еще, чтобы все лишние экипажи были сожжены и чтобы ни один офицер не имел более одного, чтобы была сожжена половина всех фургонов и повозок во всех корпусах и лошади из-под них были отданы в гвардейскую кавалерию.

Вскоре отступавшие толпы наткнулись на армию маршала Виктора, ожидавшего прихода Наполеона.

"Еще в хорошем составе, мало пострадавшая, она приветствовала своего императора обычными восторженными возгласами, давно уже не слышанными между московскими беглецами, – говорит Сегюр, – эти солдаты совсем не знали о бедствиях главной армии, так что когда вместо стройных колонн покорителей Москвы, они увидели за Наполеоном толпу скелетов, покрытых лохмотьями, женскими кацавейками, обрывками старых ковров или грязнейшими остатками плащей, порыжелых, прожженных, которых ноги были обернуты в обрывки всевозможных рубищ – они были поражены! Настоящие солдаты с ужасом глядели на несчастных воинов, совсем осунувшихся, с лицами какого-то землистого цвета, обросших бородами, безоружных, толпившихся как стадо, с опущенными головами и глазами.

Что их удивляло всего более, так это обилие генералов и полковников, шедших порознь, отдельно, без командования, занятых только собою, своими особами или своим добром; они шли между нижними чинами, которые их не замечали, которыми они уже не командовали, от которых ничего более не ожидали, так как все связи были порваны, все чины сравнены несчастием. Солдаты Виктора и Удино не верили своим глазам! Впечатление этого ужасного погрома с первых же дней поколебало дисциплину второго и девятого корпусов – у них скоро тоже начался беспорядок, солдаты побросали ружья и взялись за дорожные палки."

**** * ****

Великая армия подошла к переправе, которая была решена в Студянке. Нужно было обмануть русских, так как силою, очевидно, ничего нельзя было сделать. Для этого, 24-го, триста человек солдат и

несколько сот беглецов были посланы ниже по реке, в Ухолду, с приказанием собирать там материалы для постройки моста, стараясь как можно больше шуметь. Туда же послали по самому видному, для русских, месту все, что оставалось, кирасир. Кроме того – и в этом состояла главная хитрость – начальник штаба призвал к себе местных евреев и с большой таинственностью стал расспрашивать их насчет бродов и дорог, ведущих от них в Минск. Потом, будто бы очень довольный результатом допроса и показывая уверенность в том, что лучшего исхода нет, он оставил некоторых из этих плутов как проводников, а остальных выпроводил за аванпосты. Чтобы быть, однако, уверенным в том, что они разболтают все это, генерал заставил их поклясться в том, что они выйдут к французам навстречу, ниже по р. Березине, для извещения о неприятельских движениях.

В то же время, как старались таким образом отманить Чичагова, в Студянке приготовили все нужное к переправе. Присутствие неприятельской дивизии на той стороне реки отнимало, однако, надежду на то, что русские дадутся в обман. Каждую минуту ждали, что вот-вот русская артиллерия разразится по рабочим, трудившимся над постройкою моста. Если бы даже неприятель сделал это только с рассветом, работы наверное не были бы еще далеко подвинуты к тому времени, а противоположный берег, низкий, болотистый, был совершенно удобен для того, чтобы помешать переходу силою.

"Наполеон понимал все и, выйдя в десять часов вечера из Борисова, приготовился к безнадежному удару. Он остановился со своими остальными шестью тысячами гвардейцев в Старо-Борисове, в доме, принадлежащем Радзивилу. Эту ночь он не ложился спать, а поминутно выходил, прислушивался и наведывался в место, где решалась его судьба. Нетерпение его было так велико, что он постоянно ожидал, что ночь кончится и начнется утро; много раз окружающие должны были разуверить его в этом.

Он вышел ждать на берег реки в маленькую избушку. «Ну что, Бертье, как мы выберемся?» – говорит он своему начальнику штаба, который постоянно держался около него; в минуты покоя, когда Наполеон сидел в горенке избушки, видели слезы, которые показывались на его глазах и катились по щекам, более обыкновенного бледным.

Король Неаполитанский откровенно выразил свое сомнение в возможности переправы и, именем армии, упрашивал позаботиться о своем личном спасении. «Есть молодцы-поляки, которые предлагают сопровождать императора: они поднимутся с ним вверх по берегу Березины и через пять дней доставят в Вильну.» Наполеон опустил голову в знак несогласия, но ничего не сказал.

Едва были поставлены первые устои моста, маршал Ней и король Неаполитанский прибежали, запыхавшись, к императору, крича, что неприятель покинул свою грозную позицию на том берегу! Наполеон вне себя, не смея верить, сам бегом бросился на реку – то была правда! В восторге, запыхавшийся, он вскричал: «Значит, я обманул адмирала!» И действительно, русские были в полном смысле слова обмануты. Их начальники даже не потрудились обратить внимание на работы, производившиеся у Студянки в продолжение 48 часов. Самая неосторожность, неосмотрительность французов только еще более убеждали адмирала Чичагова в том, что его хотят обойти ниже, куда он и стянул весь корпус Чаплица, стоявший прямо против устраиваемого моста при Студянке и, конечно, видевший и слышавший производимые работы."

Адмирал Чичагов был тип ловкого царедворца, выдвинувшегося случайно, личною дружбой и милостью, надменный, дерзкий, все и всегда знавший лучше других. Недаром Крылов написал на него басню о щуке, взявшейся ловить мышей, – подосланные французами евреи и демонстрации в Ухолде вполне убедили его в том, что переправа замышляется ниже Студянки, от которой, несмотря на донесения о производимых там работах, он отозвал отряд, весь до последнего человека!

Поистине, Наполеон, несмотря на всю веру в свою счастливую звезду, не мог рассчитывать на такую наивность, и французы правы, когда говорят, что историку будет предстоять решить серьезную задачу: как

могло случиться, что армия, расстроенная, обессиленная, со всех сторон сжатая неприятелем, несравненно многочисленнейшим, которому буквально стоило только протянуть руку, чтобы схватить свою добычу – находит путь перед собою совершенно свободным. Русские отошли – препятствий нет, французская армия может свободно отходить по нетронутому, по невыжженному пути, меж сохранившихся деревень. Что бы ни было тут со стороны русских: недосмотр, неумение или нерадение, во всяком случае французы могли отблагодарить небо за то, что между их неприятелями нашлись такие глупцы.

Сегюр картинно описывает и свои впечатления, и чувства Наполеона в эти часы: "Со вчерашнего дня каждый из ударов наших саперов, раздававшихся по окрестным лесам, должен был привлекать внимание неприятеля. Мы ждали, что при первых проблесках утра увидим его батальоны и артиллерию выстроенными перед утлым сооружением нашего генерала Эбле, которому нужно было еще восемь часов работы, чтобы окончить мост – без сомнения, думали мы, неприятель ждет света, чтобы быть в состоянии лучше направлять свои выстрелы. Утро настало, и мы увидели покинутые бивуачные огни, совершенно пустынный берег и вдали, на возвышенностях, тридцать орудий... уходящих! Одного, единственного ядра было довольно, чтобы уничтожить всю нашу надежду на спасение! Но их артиллерия отходила на наших глазах все дальше и дальше, пока наша в то же время становилась на позицию.

Далеко виднелся хвост длинной колонны русских, уходивших к Борисову – хоть бы они оглянулись назад! Пехотный полк при двадцати орудиях стоял еще перед нами, но в разброде, видимо не намереваясь мешать нам, да по опушке леса еще виден был отряд казаков – это был арриергард дивизии Чаплица, силою в 6000 человек – удалявшегося, чтобы очистить нам путь.

Французы просто не смели верить своим глазам. Наконец, в припадке радости они закричали, захлопали в ладоши! Рапп и Удино вбегают к императору: «Ваше величество, неприятель снял лагерь и очистил позицию.» – «Невозможно!» – ответил император, но Ней и Мюрат в свою очередь прибегают и подтверждают это известие. Наполеон бросается из избы, смотрит и видит последние точки колонны Чаплица, удаляющегося, скрывающегося в лесу."

К часу дня казаки совершенно очистили берег, и мост для пехоты был готов. Дивизия Леграна быстро перешла его со своею артиллерией, при криках: «Да здравствует император!» на глазах у Наполеона, все время торопившего работы и теперь даже помогавшего переходу артиллерии, ободрявшего солдат словом и примером. Когда первые войска завладели наконец тем берегом, – он не утерпел, чтобы не вскричать: «И здесь опять она, моя звезда!»

Чичагов к первой ошибке, сделанной им, прибавил еще и другую, которую не сделал бы умный фельдфебель и которую невозможно простить ему: Зембин, на другой стороне реки, построен на большом болоте – по этому болоту идет Виленская дорога: полотно дороги состоит из двадцати двух деревянных мостов, которые русский генерал мог и должен был, перед своим уходом, зажечь; в этих видах под них даже были подложены горючие материалы, но никто не потрудился зажечь их!

Если бы Чичагов не был так самонадеян, чтобы считать все свои решения безошибочными, то, уходя в Ухолду, должен бы был обеспечить на всякий случай невозможность перехода и в Студянке, если уж не оставлением там наблюдательного отряда, то хоть приказанием испортить Виленскую дорогу; французская армия была бы безвозвратно потеряна и все ее труды перехода через Березину, со всеми жертвами, пропали бы даром, так как глубокие незамерзающие болота, окружающие Зембин, остановили бы ее. Русский генерал, с истинно рыцарским великодушием, дал спокойно построить мост через реку, оставил в полное беспрепятственное владение все мосты по болотам и сам отошел со всеми силами, со всею артиллерией!

Суета, толкотня, беспорядок, драки и убийства, происходившие при переходе через Березину, по словам всех очевидцев, не поддаются описанию. Все бешено бросилось к мостам: никто не помнил более

себя, свирепость обуяла всех. Прочищали себе дорогу саблями и всяким оружием и валили все, что встречали на пути. Слово «император», месяц тому назад пользовавшееся еще таким блеском и почетом, не производило более никакого впечатления: Коленкур, великий конюшенный, пихаемый, толкаемый, чуть не сброшенный с лошади, с величайшим трудом, провел императорских лошадей и экипажи.

"К вечеру русская артиллерия, придвинувшейся армии Витгенштейна, стала на позицию и открыла огонь по массе народа, покрывавшей берег и мосты. Трудно, невозможно передать сцены ужаса, настоящего разбоя, которые разыгрались под ядрами русских батарей. Испуганная толпа была до такой степени сжата, сбита вместе, что каждый снаряд производил страшное опустошение. К отчаянным крикам, раздававшимся со всех сторон, к стонам людей, ржанию лошадей, падавших, задавленных, прибавились беспрерывный свист ядер, взрывы снарядов, удары по повозкам, каретам и ящикам, которые разбивались, разлетались, осколками увеличивая число жертв. Это было избиение, истинная резня, в которой все, что не падало под ударами русских, было убиваемо своими же товарищами по несчастию.

Ночь положила, наконец, предел этим бедствиям. Некоторым частям 9-го корпуса удалось перейти реку, но большая часть была истреблена. Целая дивизия генерала Портюно положила оружие: она заблудилась, наткнулась на русских и была окружена. Марбо утверждает, но это маловероятно, что при генерале был проводник из Борисова, старавшийся дать понять, насколько мог выразительно, что лагерь впереди был русский, но, за неимением переводчика, его не поняли, в результате чего была потеря для французов 7000-8000 человек. Не доказано и тяжелое обвинение Наполеона, объявившего в приказе, что, «по слухам, начальник дивизии потерял ее потому, что шел отдельно»...

"К восьми часам утра следующего дня мост, назначенный для повозок и лошадей, разорвался, и обоз с артиллериею двинулся к другому мосту, чтобы завладеть им. Тогда началась битва в полном смысле слова между пешими и конными; много погибло в этой резне и еще больше в голове моста, где трупы людей и лошадей в такой степени завалили проезд, что приходилось перебираться буквально через горы мертвых.

Последнею перешла дивизия Жерара, оружием расчистившая себе путь; перебравшись через горы трупов, затруднявших дорогу, они едва успели добраться до другого берега, как русские бросились за ними – в это время французы зажгли мост, пожертвовавши всеми оставшимися на левом берегу, чтобы не дать перейти и русским."

Тогда не успевшие перебраться просто одурели с отчаяния. Многие еще старались проскочить по пылавшему мосту и, чтобы не сгореть, бросались в воду, где тонули. Наконец русские спустились к месту битвы, французские войска отошли от реки, пальба прекратилась и за невероятным шумом последовало гробовое молчание.

Тысячи огней осветили высоты, занятые русскими войсками, а внизу под этими возвышенностями на самом берегу десятки тысяч несчастного люда умирали или готовились к смерти, не имея ни огней, ни крова – только по стонам можно было догадаться в темноте, что вся эта масса народа еще была тут, все еще дышала.

"Много говорили, – пишет Марбо, – о Березинских бедствиях, но никто еще не сказал, что большая часть их могла быть избегнута, если бы главный штаб, лучше понимая свои обязанности, воспользовался ночью с 27 на 28, чтобы перевести через мосты обоз и все эти тысячи, которые на другой день запрудили проходы. Этою ночью мосты были совершенно пусты; никто не переходил, а во ста шагах при лунном свете можно было видеть более 50000 человек всякого сброда, отделившегося от своих полков, которых называли «жарильщиками». Люди эти, спокойно сидя перед огромными кострами, жарили себе конину, по-видимому, не думая о том, что завтра переход через реку будет стоить жизней многим из них, тогда как теперь, сейчас, они могли бы перейти не торопясь и приготовить свой ужин на той стороне. И то сказать: не

было ни одного офицера со стороны императора или адъютанта от главного штаба армии или, наконец, от кого-нибудь из маршалов, чтобы предупредить несчастных, а если нужно, то и протолкать их силою к мостам.

Если бы взяли из корпуса Удино или из гвардии несколько батальонов, еще соблюдавших порядок, то легко заставили бы всю эту массу перейти через мост. Напрасно, проходя мимо главного штаба и штаба маршала Удино, говорил я, что мосты пустуют и что следовало бы заставить всех безоружных переходить, пока неприятель держится спокойно – мне отвечали неопределенно, уклончиво, ссылаясь на товарищей!.."

*** * * ***

Можно считать, что на Березине прикончилась судьба великой армии, когда-то заставлявшей трепетать Европу – в военном отношении она перестала существовать и остаткам ее не было другого исхода, как бежать и бежать.

Столько говорилось потом на все лады, будто один мороз истребил французскую армию, что необходимо сказать: нет, не один мороз. Второй и девятый корпус сохранились в полном порядке, вытерпевши приблизительно те же морозы, что и главная армия. Главная причина погрома был голод, потом быстрые беспрерывные переходы и бивуаки без сна и отдыха, наконец и холод, когда он был очень силен. Не нужно забывать также стойкость и выносливость русских войск. Например, Наполеон и вся французская армия были поражены тем, что в «Великой битве» при массе убитых русских не было их пленных! Что касается лошадей, то они переносили холод очень хорошо, когда их кормили, так что и они передохли главным образом от голода и усталости.

Как уже сказано, нельзя винить одного Кутузова в том, что Наполеону удалось уйти из России и еще два года заливать Европу кровью. Русский главнокомандующий судил о положении императора французов вполне здраво и с этой стороны весьма интересны его беседы с одним пленным, занимавшим высокий пост в администрации французской армии. Кутузов говорил ему, «что он хорошо изучил характер Наполеона и был уверен, что, раз перейдя через Неман, он захочет покорять и покорять. Ему уступили достаточно пространства, чтобы утомить и разбросать армию, дать победить ее тактикой и голодом и окончательно погубить в суровые морозы. По какому ослеплению он один не видел западни, которую все замечали?»

Фельдмаршал удивлялся сравнительной «легкости, с которой удались все хитрости, употребленные для того, чтобы удержать Наполеона в Москве и утвердить в его смешной претензии заключить в ней почетный мир, когда у него не было больше силы воевать»...

Наполеон потерял рассудок, вся кампания доказывает это; жаль, что он не вздумал идти еще за Москву – мы предоставили бы ему для покорения еще 5000 верст."

"Фельдмаршал сознавался, что трудно было представить что-либо более опасное для России, чем первоначальный план Наполеона: остановиться в Смоленске, прикрыть Польшу и весною снова начать войну... Но он был уверен, что план этот исходил не от самого Наполеона, слишком привыкшего к коротким кампаниям, чтобы можно было ожидать от него решимости посвятить целые два года на покорение одного государства, что нужно было слишком мало знать его, чтобы считать способным на терпеливое совершение подвига, требующего времени, предосторожностей и долгих мелочных забот...

Фельдмаршал, когда я его оставил, – говорит этот французский офицер, – высказывал уверенность в том, что Бонапарт неизбежно должен был погибнуть на переправе через Березину..."

Хотя все эти рассуждения «apres coup»[19], но в них много правды, и, если результат был не тот,

который ожидался, то, кроме нерешительности старика Кутузова, пропустившего Наполеона при Вязьме и Красном, виноват – нужно сказать это еще раз – Чичагов, проглядевший неприятеля на Березине.

Отступление за Березиной представляло бедствие еще горшее, чем – предыдущее: это было одно долгое безоглядное бегство, без всяких военных построений. Отступавшие солдаты в полном смысле слова остервенели. Муравьев, Феньшау, Чичагов и многие другие самым положительным образом утверждают, что сами видели, как французы питались мертвыми товарищами: часто встречали их в сараях сидящими около огня, на телах умерших, из которых они вырезывали лучшие части, жарили и ели. Когда один из русских офицеров изъявил людоедам свой ужас и омерзение – один из них ответил совершенно равнодушно: «Конечно, это не особенно приятно, но все-таки это лучше опротивевшей конины.»

В Минске, в госпитале, выздоравливающие французы играли в карты, за неимением столов, на умерших и окоченевших товарищах, а вокруг стен, для украшения комнаты, поставлены были тоже умершие, которым для забавы расписали рожи кирпичом и углем и надели шутовские костюмы.

Дрова были такой редкостью, что, например, для вице-короля Евгения не находилось их; рассказывают, что один раз, чтобы раздобыть несколько полен, пришлось напоминать баварцам, что принц Евгений женат на дочери их короля и, следовательно, имеет право приказывать им!

Главная беда – теперь как и прежде, состояла в том, что в городах и во всех этапах по дороге не знали ни об истинном положении армии, ни об ее приближении, так как и то, и другое скрывалось до последней минуты. Это было причиной того, что беглецы везде заставали дорожные власти врасплох, неприготовленными. Например, в Вильне было припасено муки на сто тысяч человек, на сорок дней, не считая зерна в магазинах; говядины – на сто тысяч человек, на тридцать шесть дней, в стадах; пива и водки в еще большей пропорции; тридцать тысяч пар сапог; двадцать семь тысяч ружей и громадное количество одежды, амуниции, седел, упряжи и всякого снаряжения. Не получивши своевременно никаких распоряжений, власти не посмели тотчас раздать все это, промедлили, и все запасы перешли в руки следовавших за французами по пятам русских!

Вильна, как прежде Смоленск, была обетованною землей в мыслях солдат; в ней думали они и насытиться, наконец, и отдохнуть, но ожидания не оправдались, пришлось немедленно бежать дальше. Самый город представлял заразную клоаку: тысячи умерших не вывозились за город для погребения, а просто выбрасывались на дворы домов, где больные были расположены, так что составлялись целые кучи мертвых тел, и больные, чтобы недалеко ходить, на этих же телах расположили свои нужные места.

Большая часть домов города была обращена в такие госпитали, и все они были битком набиты ранеными и больными. Лишь только французы отошли за Вильну, как домовладельцы, евреи, выбравши от больных все деньги, пораздевали и повыкидывали их, совершенно голых, на улицу – русские власти и сам император Александр должны были предпринять деятельные и строгие меры для водворения раненых в домах и облегчения их участи.

В нескольких верстах за Вильною есть крутая гора, бывшая покрытою в то время гололедицей; она наделала французским экипажам столько же хлопот, сколько Березина людям: напрасно лошади выбивались из последних сил, чтобы подняться на нее – не удалось спасти почти ни одной частной кареты, ни одного орудия. У подножия этой горы так и остановилась вся гвардейская артиллерия, обоз императора и казна армии.

Выше было уже сказано о разгроме обоза под этой горой: проходя мимо, солдаты разбивали кареты и брали оттуда дорогие платья, меха, серебряные и золотые деньги. Тут можно было видеть людей, покрытых золотом и умиравших от голода, и любоваться раскиданными по снегу всевозможными предметами роскоши и комфорта. Грабеж продолжался до тех пор, пока не налетели казаки и не захватили

все богатства.

Один из офицеров рассказывает о выступлении из Вильны и об этом последнем разгроме, который, по словам очевидцев, мог бы быть избегнут, так как невдалеке был объезд этой горы: "Мы молча вышли, оставив улицы сплошь покрытыми солдатами, пьяными, заснувшими и мертвыми. Дворы, галереи, лестницы зданий были переполнены ими, и ни один не захотел не только стать и последовать за нами, но и пошевелиться на призыв начальников.

Мы подошли к подножию горы, совершенно невозможной для подъема по крутизне и гололедице; кругом валялись экипажи Наполеона и обоз, остававшийся в Вильне, и казна армии.

Спасение императорской казны решили поручить конвою; так как денег было около пяти миллионов и не все в золоте, а большею частью в серебряных экю, то пришлось раздавать их всем без разбора – многие, сознавая полную невозможность уследить за ними, присвоили себе то, что им было поручено. Знамена, взятые у неприятеля, уже не интересовавшие людей, были позорно брошены у горы вместе со знаменитым крестом Ивана Великого – трофеем, который мы непременно хотели увезти! Русские, называемые варварами, показали нам после благородный пример умеренности, редко проявляемой после победы.

Вновь подоспевшие к этому месту увеличили число грабителей и, право, было поучительно смотреть на этих людей, умиравших с голода и в то же время обвешанных всякими богатствами в таком количестве, что им было трудно двигаться. Везде видны были вскрытые чемоданы, разбитые ящики; великолепные шитые золотом придворные одежды и богатые меха были надеты личностями самого отталкивающего вида; за золотой предлагали по 60 франков серебра и десять пятифранковиков шли за стакан водки. Один гренадер в моем присутствии предлагал всем бочонок серебряной монеты, купленный, наконец, одним из высших офицеров, положившим его в свои сани.

Все солдаты, обратившись в старьевщиков, продавали награбленное тем, которые в свою очередь обокрали казну. Только и разговоров было, что о слитках и драгоценностях; серебра было у всех множество, но ружей ни у кого. Можно ли удивляться, что одно появление казаков вселяло в беглецов такой ужас. Они не замедлили явиться и здесь." Очевидец говорит, что на этот раз страсть к наживе сравняла храбрых и трусов, врагов и неприятелей, и что казаки грабили тут вместе с французами!

В этих местах захватили беглецов самые жестокие морозы, даже в гвардии разрушившие дисциплину, так что, когда барабан созывал к выступлению, это храброе испытанное войско, эта последняя надежда начальников, сплошь и рядом отказывалось покинуть огни и становиться в ряды. Упреками, просьбами, угрозами удавалось уговорить и собрать некоторых, зато другие не двигались – так как оказывались замерзшими; самые костры не в состоянии бывали предохранить от замерзания.

Даже для такого высокого начальства, как Мюрат, гренадеры отказывались идти за дровами или за снегом для воды, из боязни «замерзнуть на ходу», как они выражались!

Один раз, когда четвертый корпус решительно отказался выступить, начальнику главного штаба, герцогу Невшательскому, только после усиленных увещеваний удалось тронуть с места... всех бывших в комнате, составлявших корпус великой армии!

Что касается арьергарда, то он вовсе не существовал.

Результатом кампании было полное истребление почти полумиллионной армии и громадного военного материала. Вся артиллерия, состоявшая из 1200 орудий с ящиками, была взята неприятелем, так же как многие тысячи повозок и офицерских экипажей, всевозможные запасы и магазины. По официальным сведениям, сожжено в губерниях Московской, Витебской и Могилевской 253000 тел. В Вильне и окрестностях на две версты – 53000. В плен взято более 100000.

В летописях истории со времени Камбиза до нашего времени не найдется подобного погрома таких страшных полчищ.

Возвращаясь лично к Наполеону, нужно сказать, что с Березины у него была одна мысль: поскорее уехать во Францию, собрать новую армию и, если не удержать за собою своих союзников, то хоть помешать им вступить немедленно в союз против него. Проект оставления армии и отъезда в Париж содержался в большой тайне, хотя некоторые приближенные знали и в большинстве одобряли его, потому что только в быстрой организации новой полумиллионной армии видели спасение.

За последнее время пребывания императора при армии, он тоже начал сравнительно бедствовать: под главную квартиру занимали грязные вонючие избы, причем приходилось употреблять насилие, выгонять без церемоний всех, туда ранее забиравшихся. Хлеб, что пекли в это время для Наполеона, был черный, ржаной, дурно смолотый и едва поднявшийся; кроме того, он отдавал затхлостью, так что его с трудом можно было есть.

Например, в местечке Занивках главная квартира поместилась в маленькой избушке о двух комнатах: заднюю занял Наполеон, а в первой расположилась свита, улегшаяся спать вповалку так тесно, что слуга императора, как он после рассказывал, должен был, несмотря на все старание и искусство, ходить по рукам и ногам... В Сморгони император в последний раз занял помещение главной квартиры, сделал последние распоряжения и написал последний XXIX бюллетень, в котором, как и прежде, крупицы правды пересыпал полной неправдой, сведя результат погрома к случайности, быстро и скоро поправимой. "Более 30000 лошадей, – говорит он, – пало в несколько дней. Наша кавалерия очутилась пешим войском, артиллерия и транспорты – без запряжек. Пришлось уничтожить и покинуть добрую часть орудий с принадлежностями... Неприятель, видевший по дороге следы бедствия, постигшего французскую армию, постарался воспользоваться ею: он окружил все колонны казаками, которые, как арабы в пустыне, отхватывали отделявшиеся поезда и повозки. Эта ничтожная (meprisable)[20] кавалерия, которая сильна только шумом и не способна померяться с ротою стрелков, сделалась страшна при данных обстоятельствах. Однако, неприятеля заставляли раскаиваться после каждой серьезной попытки против нас...

Лошади и все нужное, – утверждалось далее, – начинают прибывать. Генерал Бурсье имеет в разных депо свыше 20000 лошадей. Артиллерия уже восполнила свои потери..."

Все предосторожности были приняты, чтобы до самого отъезда ничего не знали о намерении Наполеона. Однако, предчувствие этой беды охватило его свиту – всем хотелось следовать за ним, поскорее уехать из ада...

"Вечером были созваны начальники армии. Явились маршалы. По мере того, как они входили, – рассказывает Сегюр, – Наполеон отводил каждого в сторону и посвящал в свой проект, для чего не жалел ни доводов, ни выражения доверия и ласки.

Завидя Даву, он пошел к нему навстречу и осведомился, не сердится ли он. Почему его не видно более? На ответ маршала, что, кажется, он заслужил его неудовольствие, Наполеон любезно принял все объяснения и подробно рассказал о своем намерении уехать и указал на самое направление пути. Он был добр и ласков со всеми. За столом он воздал хвалу всем за доблестное поведение в продолжение кампании, а относительно себя выразился, что «ему, конечно, легче было бы не ошибаться, если бы он был Бурбон.»

По окончании обеда Наполеон приказал принцу Евгению прочитать вслух XXIX бюллетень и громко объявил о том, о чем говорил перед этим конфиденциально: «ныне ночью он выедет с Дюроком, Коленкуром и Лобо в Париж, где его присутствие необходимо как для Франции, так и для остатков армии.

Только оттуда он в состоянии сдерживать австрийцев и пруссаков, которые, конечно, поостерегутся объявить ему войну, когда узнают, что он стоит снова во главе всей нации и миллионного войска!..»

Он объявил, что передает командование армию королю Неаполитанскому. «Надеюсь, – прибавил он, – что вы будете повиноваться ему, как бы мне самому, и что между вами будет согласие.»

Конечно, никто не протестовал. Маршал Бертье, не пробуя отговаривать Наполеона, заявил только о необходимости включения своей особы в число отъезжающих и – получил сильнейший нагоняй: Наполеон осыпал его упреками за эту претензию, напомнил все свои милости и благодеяния и в заключение предложил или одуматься и согласиться, или немедленно ехать в свои поместья и там ждать решения участи за ослушание воле императора.

В десять часов вечера он пожал всем руки, расцеловался и вышел на подъезд средь двух рядов свиты, раздавая, направо и налево, печальные вынужденные улыбки.

Наполеон и Коленкур сели в возок, на козлах которого поместился мамелюк Рустан и польский офицер – за кучера. Дюрок и Лобо выехали следом, в открытых санях.

Как только узнали в армии об отъезде императора, так никто не стал более сдерживаться. До тех пор группы вооруженных солдат еще держались около знамен – тут и они рассеялись, попрятав орлы в ранцы и сумки. Наполеон один был в состоянии сколько-нибудь поддерживать остатки дисциплины – с его исчезновением Мюрат и все власти потерялись, уничтожились.

"Час спустя после отъезда императора, – говорит очевидец, – один из старших офицеров обратился к другому со словами: «Ну что, разбойник-то уехал?»

«Уехал, – ответил тот, – удрал такую же штуку, как в Египте!»

Два короля, один князь, восемь маршалов в сопровождении нескольких офицеров, генералы пешком, вразброд, и несколько сот человек старой гвардии, еще несших оружие – вот все, что осталось от великой армии.

Наполеон, едва не захваченный по дороге казаками русского партизана Сеславина, с замечательным счастьем выскользнул из беды и в Варшаве, уже несколько оправившийся, так объяснил несчастный исход кампании: "Я выехал из Парижа с намерением дойти войной только до старых границ Польши; обстоятельства увлекли меня! Может быть, я сделал ошибку, пойдя на Москву, может быть напрасно остался в ней слишком долго, но ведь от великого до смешного один шаг, и потомство рассудит меня! Мои французы, – прибавил Наполеон, – ничего не стоят на морозе – холод делает их рохлями...

При отступлении у меня не было кавалерии и, сознаюсь, когда казаки нападали на мои колонны, я бывал в затруднении. Мне нельзя было собрать всю армию, это затруднило бы отступление, нельзя было также и очень разрозниваться, потому что казаки перерезали бы нас. Надобно было идти вперед, отступать, забивать прорехи, обманывать неприятеля. Признаюсь, нужна была вся моя опытность, чтобы выбраться..."

Он выбрался, но с этой кампании началась агония его власти...

НАПОЛЕОН I В РОССИИ В КАРТИНАХ В. В. ВЕРЕЩАГИНА

С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМ ОПИСАНИЕМ КАРТИН

Изучение жизни и деятельности такого вершителя судеб, своего времени, каким был Наполеон I, представляет большой интерес, – говорю об изучении разностороннем, исключающим поклонение легенде. Обыкновенно сверхъестественное в такой степени примешивается к памяти о великом полководце, что бывает трудно отличить правду от вымысла, и чем блистательнее карьера героя, чем необыкновеннее его подвиги, тем легендарные рассказы о нем чудеснее.

Жизнь Наполеона I за 20 лет представляла ряд фактов, до такой степени поражавших воображение, что люди склонялись придавать им значение свыше предопределенных событий, а в самом великом полководце видеть исполнителя неотразимых приговоров судьбы.

Позже, в кампанию 1812 года, Наполеон увлекся до того, что сразу вступил в борьбу с людьми, климатом и пространствами Севера и пал, но облик его через это не потерял своего обаяния, а, напротив, украсившись ореолом страдальчества, стал еще более интересен для всякого мыслящего человека – художника, философа, политика или военного.

Литература всех родов уже занималась изучением этой крупной личности, но живопись – искусство сравнительно отсталое в умственном отношении, как требующее трудной специальной техники, – до сих пор почти не затрагивала Бонапарта-человека, пробавляясь Наполеоном-гением, полубогом, стоящим вне условий места, климата и законов человеческой жизни.[21]

Наполеон I – без сомнения, самая яркая фигура XIX столетия, а кампания 12-го года – наиболее выдающееся военное событие этого века: громадность замысла, быстрота событий и важность их последствий невольно приковывают внимание к делам, имевшим влияние на все XIX столетие.

Представляя в картинах несколько черт характера героя и его наружного облика, я хочу в то же время обратить внимание читающего эти строки на некоторые маловыясненные факты его жизни.

К числу таких фактов, способных до некоторой степени осветить причины настойчивого недоброжелательства Наполеона к России, надобно отнести: 1) прошение поручика Бонапарта, поданное в 1789 г. русскому генералу Заборовскому, о принятии его на царскую службу – прошение, на которое последовал отказ из-за претензии носителя на майорский чин[22]; 2) намерение императора Наполеона породниться с императором Александром женитьбой на одной из его сестер, не удавшееся из-за нерасположения к жениху матери невесты.

Конечно, несправедливо было бы сказать, что оскорбленное самолюбие поручика-императора было единственною причиною почти постоянной вражды его к России, но, с другой стороны, нельзя смотреть на эти факты как на второстепенные при данных темперамента и характера героя.

В кампанию 1812 года Наполеон проявил столько стремительности и противоречий, составил столько порывистых, непрактичных планов, что одним желанием отомстить за несоблюдение каких-то условий трактата нельзя объяснить всего этого – очевидно, в дело замешалось смертельно ущемленное самолюбие.

При всех бесспорно высоких качествах ума Наполеон после второй женитьбы на австрийской принцессе – за отказом русской, как будто теряет свою прозорливость и, несмотря на ясно сознанную пользу союза с великой Северной державой, бьет на разрыв с нею, увлекается, теряет терпение и, по привычке действовать стремительно, решительными ударами, быстро идет к погибели.

Даже оставивши в стороне первую, как весьма отдаленную, попытку вступить в добрые отношения с Россией (поступлением в русскую службу), нельзя не признать, что вторая неудача, – неудача сватовства, при которой, с одной стороны, было пушено в ход, а с другой стороны, отвергнуто обаяние мужчины, императора, героя, – прямо и непосредственно повела к известной развязке.

Еще за время Тильзита Наполеон кидал взоры на великую княжну Екатерину Павловну, но лишь только намерение его стало известно, молодую принцессу поспешили выдать за

герцога Ольденбургского. Французский император не признал себя, однако, побежденным, и посватался хотя тоже секретно, но уже с соблюдением всех форм, к великой княжне Анне Павловне. Когда и тут дело стало затягиваться – вместо предложенного срока 48 часов на многие и многие недели, – Наполеон понял смысл проволочки, резко оборвал переговоры и тотчас женился на австрийской эрцгерцогине; а русская императрица-мать, Мария Федоровна, не довольствуясь сделанным афронтом, еще увеличила его, сосватав и эту дочь за одного из мелких немецких князей. Это было уже слишком, и Наполеон разразился: выгнал герцога Ольденбургского из его владений и, пообещавши ту же участь всей немецкой родне Александра, стал решительно готовиться к войне.

За подбором и подтасовкою фактов, за эффективными трескучими фразами о необходимости похода цивилизации против варварства, которое должно быть изгнано из Европы в Азию, нечего было много тратить времени, так как приниженное общество Европы, при полном сознании славы Франции и величия ее повелителя, а также и своего бессилия перед его решениями, было вполне готово к принятию всякого нового откровения этого воплощенного Провидения.

Не невозможно, что вначале Наполеон желал только застращать своего противника грандиозностью военных приготовлений и заставить его публично, перед всею Европою, смириться; так, по крайней мере, понимали французские приготовления к войне русский канцлер Румянцев и многие другие лица; то же, очевидно, допускал и император Александр, потому что до последней минуты не терял надежды на возможность сговориться. Но когда он отказался сделать к этому первый шаг, императору французов не оставалось ничего иного, как, по собственному его выражению, «выпить откупоренное вино».

Тут начинается одна из самых поучительных и драматических страниц современной истории: всесветно признанный ум и военный гений, наперекор указаниям своей опытности и опытности всех своих ближайших помощников, не может, несмотря на многократно выраженное твердое намерение, остановиться, а фатально идет все вперед и вперед, идет в самую глубь вражеской страны на сознаваемую всеми окружающими его гибель! Постоянно памятуя и поминая пример Карла XII и высказывая решение никак не повторить его ошибки, делает именно эту же ошибку! Видя, что чудная армия его гибнет, тает как лед на знойных утомительных переходах, чувствуя себя поглощенным громадностью пройденного (но не завоеванного) пространства, обманутым тактикою неприятеля, превзойденным его твердостью, – все-таки идет вперед, буквально устилая путь трупами!



В Витебске Наполеон объявляет кампанию 12-го года конченою: «Здесь я остановлюсь, – говорит он, – осмотрюсь, соберу армию, дам ей отдохнуть и устрою Польшу. Две большие реки очертят нашу позицию; построим блокгаузы, скрестим линии наших огней, составим каре с артиллериею, построим бараки и провиантские магазины; в 13-м году будем в Москве, в 14-м – в Петербурге. Война с Россиею – трехлетняя война!»

Есть все основания думать, что если бы этот план остановки в Литве был приведен в исполнение, благодушный самодержавец России теми или другими мерами был бы приведен к соглашению и миру. Но Наполеон теряет терпение, покидает Витебск и идет вперед. Правда, он решается идти только до Смоленска, «ключа двух дорог, – на Петербург и Москву, которыми необходимо завладеть, чтобы быть в состоянии выступить весною сразу на обе столицы». В Смоленске он собирается отдохнуть, окончательно устроить все и весною 1813 года, если Россия не подпишет мира – прикончить ее! Но, наперекор этому, французская армия покидает Смоленск и идет вперед!

В Москве должна была начаться агония громадного предприятия, участники которого устали, а руководитель потерял голову, – нельзя иначе выразиться о поведении Наполеона относительно Александра, поведении не только унизительном, но как бы рассчитанном на то, чтобы выдать затруднительность и безвыходность своего положения: и стороною, и прямо он пишет письма с любезностями, с уверениями в дружбе, преданности и братской любви; посылает генералов с новыми предложениями мира, не получив ответа на старые: «Мне нужен мир, – говорит он Лористону, отправляемому с такою деликатною миссией в русский лагерь, – мир во что бы то ни стало – спасите только честь!»

Разрешение грабежа и гнев на невозможность остановить его; намерение идти на Петербург, т.е. на север перед самым началом зимы; приказ о закупке в совершенно разоренном, выжженном крае громадного количества провианта и фуража, а также 20000 лошадей – все это факты, граничащие с насмешкою.

Потом обратное движение, с его рассчитанною медленностью для сохранения награбленного солдатами добра, давшею возможность русским предупредить французские войска и преградить им дорогу; разделение армии на отдельные самостоятельные отряды, один за другим побитые, почти истребленные; приказ систематического выжигания передними войсками всех окрестностей пути – в прямой ущерб остальной армии; наконец, святотатственное отношение к религии страны, поблажка осквернению храмов, убийствам, замариванию голодом всякого люда, попадавшегося под руку под именем «пленных», – все это поступки, вызвавшие страшные проявления мести со стороны озлобившегося населения, поступки, о которых «свежо предание», но которым «верится с трудом».

Там и сям, как под Красным и при Березине, блещут еще искры гениального самосознания великого полководца, но эти отдельные проявления силы духа и военного таланта, эти последние лучи закатывающегося светила не в состоянии уже предупредить величайшего из представляемых историею погрома.

Кроме предлагаемых здесь объяснений к картинам, я собрал в отдельную книгу много интересных сведений, на которые и обращаю внимание читающего эти строки: это характерные выдержки из воспоминаний современников-очевидцев о пребывании Наполеона в России в 1812 году, с сохранением, по возможности, простоты и безыскусственности рассказов.

Люди, мало знакомые с войной, скажут, пожалуй, читая эти страницы: «Какой ужас! Французы только и делали, что били, жгли, расстреливали, грабили?» – Конечно, да ведь для этого они и приходили; только надобно сделать оговорку: под словами «французы в 1812 году» в России понимают всю массу войск, собранных в Европе, все «дванадесять язык», составлявших «великую армию»; что касается собственно французов, я должен сказать, что в памяти большинства русских, оставивших рассказы об этой эпохе, они, несмотря на самые бесцеремонные расстреливания, казались более великодушными, чем их союзники, особенно баварцы и виртембергцы. Поляки были также очень жестоки, но они сводили с русскими старые счеты, тогда как неистовства швабов трудно не только оправдать, но и объяснить.

НАПОЛЕОН I НА БОРОДИНСКИХ ВЫСОТАХ

Император сам рекогносцировал русские позиции под Бородиным, для чего, приехав с разведочною партией, долго рассматривал в подзорную трубу размещение и укрепления русских войск с колокольни Колочского монастыря[23]. Бросив взгляд на поле будущей битвы, он понял ошибку Кутузова, принявшего новую Смоленскую дорогу за центр позиции, сильно укрепившего и без того крепкие высоты правого фланга и несколько пренебрегшего левым. Видя, что глубоко текущая Колоча сильно заворачивает на правом фланге расположения русских войск, Наполеон понял, что только крутые берега могли принудить ее к тому, понял, что эти берега должны быть трудно доступны. На левом фланге, напротив, русло реки ровнее, берега отложе; этим он решил воспользоваться и тотчас же составил свой план: вице-король Евгений должен больше демонстрировать перед Бородиным и правым флангом русских, атакуя в то же время большой редут; Понятовский обойдет их левый фланг, а Ней и Даву, овладевши настоящим ключом русских позиций – Семеновскими флешами, сделают поворот налево и втопчут Кутузова с резервами в Колочу.

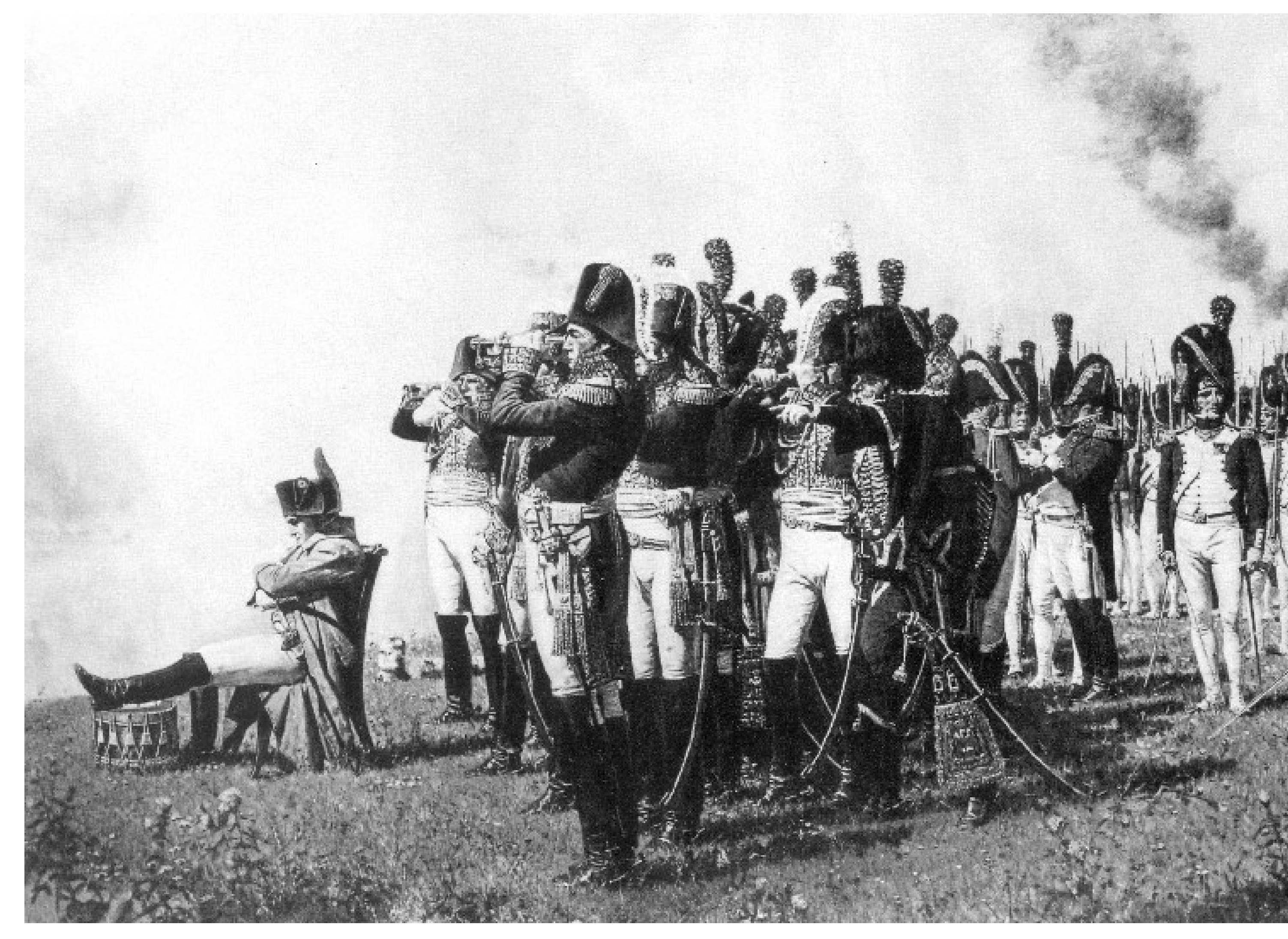
План был не дурен, но его исполнению помешали как неожиданно-отчаянная стойкость русских войск, так и из ряда вон выдававшиеся способности генерала Багратиона: без этого последнего французские маршалы, пожалуй, выполнили бы предписанное им движение.

К счастью для нашей армии, Наполеон не согласился с предложением Даву, просившего послать его с 35000 человек 1-го корпуса и 5000 поляков по старой Смоленской дороге, в тыл русским: в то время, как велась бы атака с фронта, он брался, зайдя глубокою ночью сзади и переходя от редута к редуту, все сокрушить и, окруживши, всех заставить положить оружие. Он ручался, что к 7 часам утра маневр будет выполнен! Принимая во внимание ошибку Кутузова, собравшего главные силы на правом фланге, который никто не думал атаковать, можно допустить, что русская армия была бы разбита. Но Наполеон не принял этого плана наиболее талантливого и тактичного из своих маршалов, из-за слишком большой смелости его, как он выражался – из-за маленькой ревности, jaloisie de metier[24], можно прибавить. Он повел атаку с фронта, и Кутузов имел время, заметив свою оплошность, хоть и в самом пылу битвы, под сильнейшим огнем, перевесть войска справа налево, где Багратион уже изнемогал в непосильной борьбе. Понятовский с одними поляками сделал немного: застрявши было в болотах, он смог только заставить Тучкова отвести войска крайнего фланга на 2 версты назад.

Французская армия подошла к Бородинским высотам в числе 170-180000 человек[25] и тотчас же завладела Шевардинским редутом, не без того, однако, чтобы он не перешел несколько раз из рук в руки, прежде чем остаться за французами[26]. На другой день после этого дела обе армии оставались в бездействии, как бы в негласном перемирии, будто условясь в том, что на следующий день все будет окончательно решено, – значит, пока нечего напрасно беспокоиться.

Со стороны французов тишина лишь временем нарушалась кликами: «Vive l'Empereur»[27] – это гвардия воодушевлялась лицезрением портрета маленького сына Наполеона , привезенного из Парижа и выставленного для гренадеров, перед палаткою императора. Со стороны русских было больше движения: по рядам коленопреклоненных войск обносили с пением псалмов икону Смоленской богоматери в сопровождении Кутузова с штабом; все плакали, молились, приготовлялись к смерти за свободу родины, за Москву.

«Великий день готовится, – сказал Наполеон одному из своих приближенных, – битва будет ужасна!»



Наполеон I на Бородинских высотах. 1897 г.

Ночью перед сражением французский император снова стал бояться, как бы русские, пользуясь ночной темнотой, опять не отступили – эта мысль не давала ему спать. Он часто призывал, расспрашивал: не слышно ли у неприятеля какого-нибудь шума, тут ли он еще? Наконец, в 5 часов ординарец Нея пришел доложить, что маршал просит дозволения атаковать, и тут загорелся бой, равного которому по кровопролитию не было еще с самого времени изобретения пороха! Дрались с обеих сторон с таким ожесточением, что не брали ни пленных, ни каких других трофеев, только бились, бились, бились! Признано, что потери с обеих сторон превышали 100000 человек, но принимая во внимание, что на Бородинском поле зарыто, по официальным сведениям, до 57000 трупов, надобно положить, что у французов и русских в этом сражении выбито из строя свыше 150000[28].

По привычке без меры преувеличивать результаты своих успехов Наполеон объявил победу решительною и похвалился 50000 убитых и раненых русских, сравнительно с 10000 у себя. В действительности он потерял никак не менее 60000, – 43 генерала с невероятно большим числом офицеров; целые полки не существовали более, кавалерия совершенно дезорганизована, почти уничтожена, и при всем том не достигнуто никакого ощутительного результата, так как русская армия отошла лишь к другому ряду высот и затем на следующий день отступила в порядке, увезя артиллерию и багаж. Действительно, к 3 часам Наполеон овладел батареей Раевского (La grande redoute) и Семеновскими флешами, но этот успех нисколько не обеспечивал за ним возможности овладеть и теми новыми позициями, в которых русские войска ожидали неприятеля до глубокой ночи. Для обращения

противника в бегство нужно было еще и еще драться, на что устрашенный потерями Наполеон не решился[29]. Его умоляли дать гвардию для последнего удара, но он отказался, досадливо ответивши: «А если придется принять еще битву под стенами Москвы, с чем я ее выдержу?»

Эта нерешительность была строго осуждена всею французской армией, не знавшей, что главной причиной ее была болезнь Наполеона.

Наполеон объявил в приказе, что во время битвы будет находиться на Шевардинском редуте; в действительности он сидел на холме влево, недалеко от помещичьей усадьбы. Он пробовал ходить, но скоро в изнеможении снова садился.

«Перебирая все, чему я был свидетелем в продолжение этого дня, – говорит очевидец барон Лежен в своих воспоминаниях, – и сравнивая эту битву с Ваграмом, Эйслингом, Эйлау и Фридландом, я был поражен недостатком у него энергии и деятельности... Каждый раз, возвращаясь после исполнения поручений, я находил его сидящим в той же позе, следящим в трубу за ходом битвы и с невероятным спокойствием раздающим приказания. В этот день мы не имели счастия видеть его, как в былые времена, личным присутствием ободряющим те части войск, перед которыми было наибольшее сопротивление, где успех был более сомнителен. Мы дивились, не узнавая героя Маренго, Аустерлица и других битв. Мы не знали, что Наполеон был болен и что это болезненное состояние делало невозможным его личное участие в великой драме, разыгрывавшейся перед его глазами исключительно для его славы. За и против Наполеона творились чудеса храбрости: 80 000 русских и французов проливали свою кровь исключительно для утверждения или свержения его власти, а он смотрел на это с невозмутимым спокойствием...»

«Наполеон, – рассказывает маркиз де Шамбрей, – присутствовал пеший, одетый в форму гвардейских стрелков... Завоеватель во все время битвы оставался на одном месте, прохаживаясь взад и вперед с Бертье. За ним стояла пехота старой гвардии и немного впереди влево вся остальная гвардия. Он апатично сидел в продолжение всей битвы в этом месте, слишком отдаленном от театра действий, для того, чтобы следить за ходом их и вовремя распоряжаться. В критические минуты он выказал великую нерешительность и, пропустив счастливую минуту, оказался ниже своей репутации. Необходимо заметить, что он был нездоров...»

Делафлюз рассказывает, что за спиной императора стояла его свита, а дальше выстроенные в боевом порядке гвардия и резервы. «Наполеон за все время не садился на лошадь, потому что, – как говорили, – был болен; он был одет в серый сюртук и говорил мало... Ничего нельзя было разобрать на поле битвы, так как тяжелые облака дыма от тысячи орудий, не переставая стрелявших, все застилали...»

Сегюр говорит: "Почти весь этот день Наполеон либо сидел, либо тихо прохаживался, влево и немного впереди от занятого 24 числа редута (Шевардина), на краю оврага, вдали от битвы, которую едва можно было видеть; он не выражал ни беспокойства, ни нетерпения, ни на своих, ни против неприятеля. Временами только он делал рукою жест, выражавший печальную покорность, когда приходили докладывать о потере лучших генералов. Иногда он вставал, но, сделав несколько шагов, снова садился. Все окружающие, привыкши видеть его при таких важных событиях спокойно деятельным, а здесь встречая тяжелую, неуверенную бездеятельность, смотрели на него с изумлением. Видимо страдающий, опустившийся, он не сходил со своего места и вяло давал приказания, обводя мутным взглядом совершавшиеся перед ним ужасы, как будто его не касавшиеся...

Мюрат вспомнил, что видел, как накануне император, осматривая линии неприятеля, несколько раз останавливался, сходил с лошади и, припав лицом к орудию, подолгу стоял с выражением страдания на лице. Король догадывался, что в эти критические минуты сила его гения была скована немощью тела, разбитого усталостью, лихорадкою и, главное, болезнью, которая более, чем какая-либо другая, способна была парализовать физические и нравственные силы человека".

Сегюр оканчивает свой рассказ о недостатке распорядительности, проявленном в этот день Наполеоном, такими строками: "Когда он остался один в своей палатке, к физическому упадку сил присоединились нравственные сомнения. Он видел поле битвы, и места говорили сильнее, чем люди: победа, которой он так добивался, которою купил такой дорогой ценой, была далеко не полная – громадные потери были без соответствующих результатов. Все его приближенные оплакивали смерть, – кто друга, кто брата или родственника, потому что жребий войны пал на самых выдающихся. Сорок три генерала были убиты или ранены. Какой траур в Париже! Какое торжество для его врагов! Какой опасный предмет для размышления Германии! В армии вплоть до его собственной палатки победа принята молча, пасмурно, угрюмо – даже льстецы молчат... Мюрат воскликнул, что «он не узнал в этот великий день гений Наполеона». Вице-король признался, что «не понимает нерешительности, высказанной его приемным отцом», а Ней прямо заявил, что, «по его мнению, следует отступить...».





Конец Бородинского боя. 1899-1900 гг.

Те, что были все время с ним, видели, что этот победитель стольких народов был сам побежден лихорадкой и особенно возвратом той мучительной болезни, которая возобновлялась у него при всяком слишком сильном движении, всяком глубоком потрясении. Они вспоминали его собственные слова: «Для войны необходимо хорошее здоровье, которое ничем не может быть заменено!» Вспоминали также его пророческое восклицание после Аустерлицкой битвы: «Для войны нужны известные годы. Я сам буду годен для нее только еще шесть лет – после этого мне придется остановиться». Под Бородиным, где срок прошел и где к годам и нездоровью присоединилась из ряда вон выходившая стойкость противника, ему приходилось пожалеть, что он не остановился...

ПЕРЕД МОСКВОЙ – ОЖИДАНИЕ ДЕПУТАЦИИ БОЯР

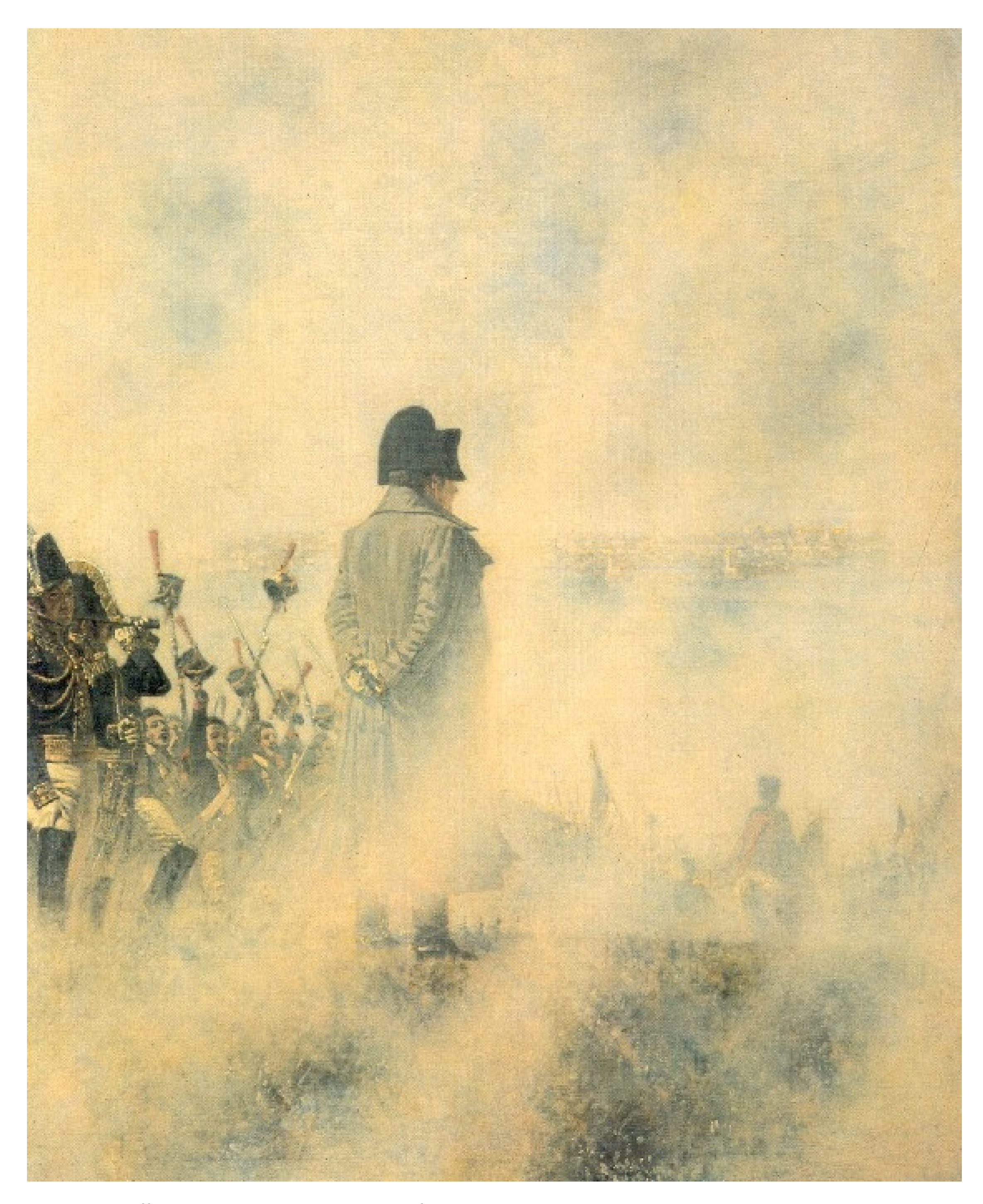
Усталый, еще не вполне оправившийся от тяжелых впечатлений Бородинской битвы, Наполеон подъезжал к Москве в карете. Последний переход, однако, он сделал верхом, двигаясь тихо, осторожно, обшаривая кавалериею все окрестные рощи и овраги.

Ждали битвы, так как местность казалась удобною для нее: кое-где находили начатые земляные работы, но они оказались покинутыми, и нигде не встречено было ни малейшего сопротивления.

Наконец, осталось подняться на последнюю перед городом высоту, называемую «Поклонною», потому что с нее богомольцы совершают первое поклонение московским святыням.

Солнце ярко играло на крышах и куполах громадного города. Было 2 часа дня, когда французские разъезды показались на этой горе и раздались их восторженные крики: «Москва! Москва!» Все бросилось вперед в беспорядке, как бы боясь опоздать, и вся армия, неистово аплодируя, повторяла: «Москва! Москва!», – подобно тому, как моряки в конце долгого и трудного плаванья кричат: “Земля! Земля !”

Подъехал сам Наполеон и остановился в восхищении, у него невольно вырвалось радостное восклицание.



Перед Москвой в ожидании депутации бояр. 1891-1892 гг.

Маршалы, несколько отдалившиеся от него со времени Бородинской битвы, в которой он не проявил должной решимости, теперь, при виде Москвы, – «чудной пленницы, лежащей у его ног», – пораженные таким великим результатом и под впечатлением слухов о явившемся будто бы русском парламентере с мирными предложениями, забыли свои неудовольствия: приблизившись к императору, они еще раз преклонились перед его звездой и, наперерыв высказывая свои поздравления, пожелания, надежды, не затрудняясь, отнесли к его предусмотрительности то, за что прежде порицали его.

Однако скоро беспокойство овладевает Наполеоном: не видно депутации бояр, нет ни ключей города, с преклонением перед его мощью, ни неизбежного воззвания жителей к его великодушию и милосердию, к чему так приучили его Берлин, Вена и другие столицы.

Он ждет с тем более понятным нетерпением, что еще за час до этого приказал своему адъютанту,

коменданту главной квартиры графу Дюронелю, поехать в город распорядиться там и нарядить депутацию для поднесения ключей!

Наконец, он узнает, что Москва оставлена жителями, что не только чиновники, от мала до велика, но почти все обитатели выехали, так что город пуст.

Не смея вполне верить этому, он еще продолжает надеяться, что хоть какие-нибудь посланцы выведут его из неловкого положения перед армиею, Европою, перед самим собою.

Действительно, в городе наскоро собрали кое-каких иностранных торговцев, которые просили у Мюрата защиты; их-то вместе с несколькими русскими простолюдинами представили Наполеону. На оборвышей жалко было смотреть – до того они все были перепуганы: полагая, конечно, что пришел их конец, они менее всего были готовы не только говорить речи, но и просто разевать рот перед нахмуренным, окруженным блестящею свитою императором, который, оглянув с ног до головы эту шутовскую депутацию, ответил пробормотавшему несколько слов от ее имени типографу-французу: «imbecile!»[30] Речь к боярам и другие громкие слова, издавна, конечно, заготовленные pour la circonstanse[31], эхо которых должно было разнестись по всему миру, приходилось отложить до более удобного случая.

Очевидец, русский пленный, рассказывает о том, как был поражен Наполеон известием о пустоте Москвы: "Он приведен был в чрезвычайное изумление, некоторый род **забвения самого себя**. Ровные и спокойные шаги его в ту же минуту переменились на скорые и беспорядочные.

Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавливается, вздрагивает, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, мнет его в руках и, как бы ошибкою, кладет в другой карман, потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув с руки перчатку, торопливо надевает ее и повторяет то же несколько раз...

Это продолжалось битый час, и во все это время окружавшие его генералы стояли за ним неподвижно, как истуканы, не смея пошевельнуться..."

Тяжел был удар самолюбию Наполеона: громадный результат, добытый ценою невероятных усилий и жертв, разыгрывался в фарс, от которого он поспешил отвернуться, чтобы не сделаться смешным.

Со стороны города ни малейшего выражения покорности или даже почтения, о котором можно было бы заявить в газетах. Все фразы снисхождения, ласки, милости, заготовленные для москвичей, с помощью которых он надеялся, обойдя императора Александра, сговориться с московскими боярами, преклонить их на свою сторону и вызвать рознь между двумя столицами, – оказывались мыльным пузырем, детским карточным домиком.

Он велел подать себе лошадь и поскакал к предместью.

«Свет померк, – говорит очевидец, – от поднявшейся столбом пыли».

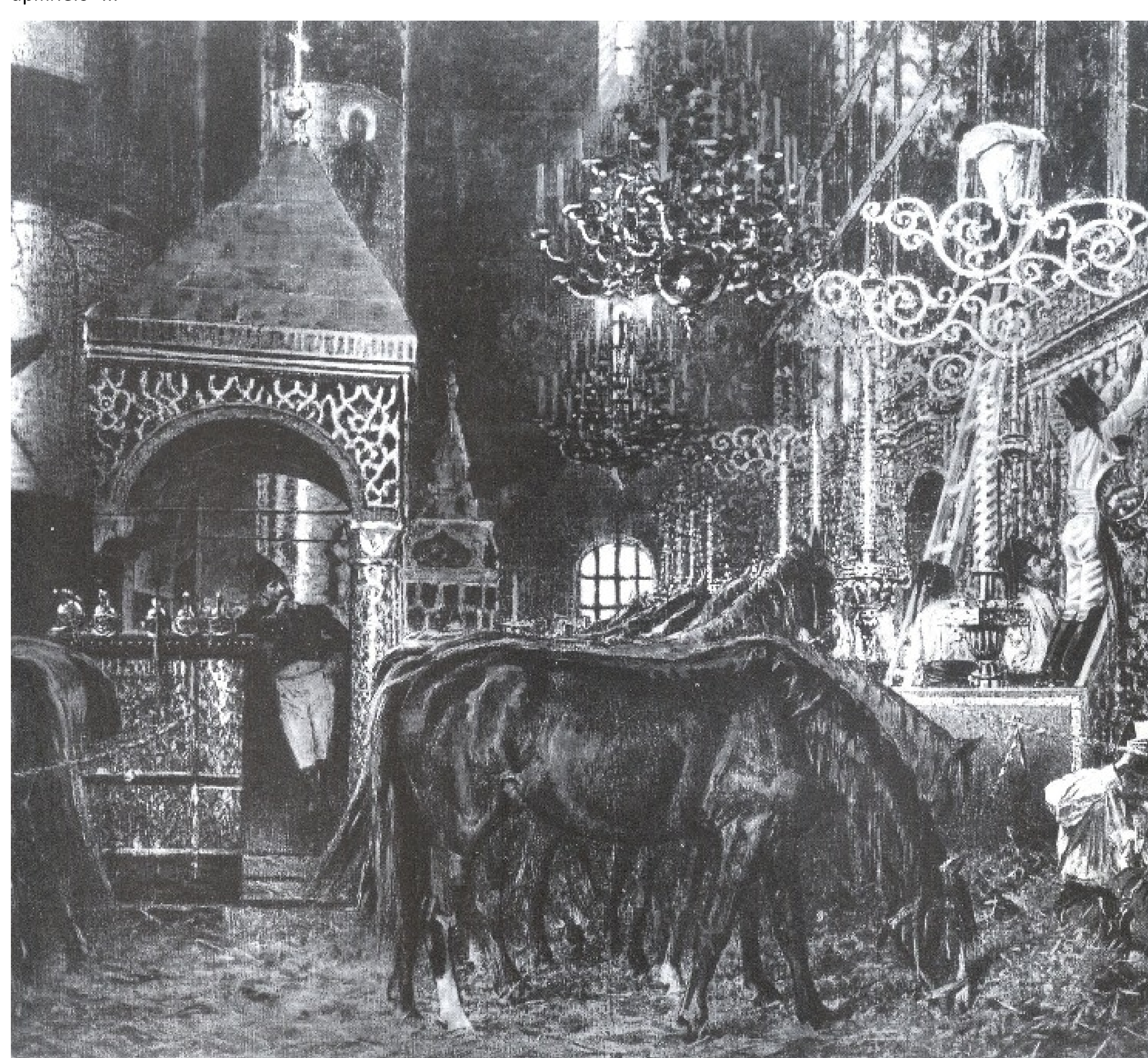
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

Все свидетельства современников сводятся к тому, что русские церкви по пути следования великой армии были обращены в конюшни. Над входом собора в Малоярославце красовалась надпись углем: «Ecurie du General Guilleminot» (Конюшня генерала Гильемино).

«Церкви, – говорит Labaume, – как здания, страдавшие менее от пожаров, были обращены в казармы и конюшни. Таким образом, ржание лошадей и страшные солдатские кощунства заменили святые гармонические гимны, раздававшиеся под священными сводами».

R.Bourgeois коротко замечает: «Уцелевшие церкви были отданы под кавалерию».

Автор «Journal» замечает, что «церкви были очень богаты в Вязьме, за то же они и были разграблены армиею»...



В Успенском соборе. 1887-1895 гг.

Вокруг наружных стен Успенского собора стояли горны, в которых французы плавили ободранные ими оклады с образов и похищенные в храмах металлы. Количество их было записано мелом: «325 пуд. серебра и 18 пуд. золота».

«Наглости всякого рода и ругательства, чинимые в церквах, столь безбожны, – говорит очевидец, – что перо не смеет их описывать: они превышают всякое воображение».

Престолы были всюду опрокинуты: на них ели и пили; иконы рубили на дрова, ставили как щиты для стрельбы. Все, кто мог и хотел, одевались в церковные ризы. В Чудове монастыре были лошади, в Благовещенском соборе валялось бездна бумаги, бутылок и бочек...

В Успенском соборе[32] "неприятель не только оборвал ризы со всех святых икон, не оставляя и верхних окладов со всеми их украшениями, но и самые местные и около передних столпов большие иконы, древностию своею доселе прославившиеся, похитил или истребил, оставляя одни пустые места. Три сосуда из повседневного употребления, два креста серебряные, подсвечники выносные и малые, лампады, большое паникадило[33], кадила, блюда, ковши, тоже всегда употребляемые, – также похитил. Не оставил никакой утвари, как-то евангелий, риз и проч. – все истребил или сжег, как свидетельствует найденный в соборе на полу сверток выжиги..."

Есть сведения, что Наполеон при себе приказывал обдирать ризы с образов в Успенском соборе.

"Все было разграблено, разрушено в соборе, – говорит кн. Шаховской, первым вошедший в него по оставлении французами Москвы. – Рака св. митрополита Филиппа не существовала, а мы, собрав обнаженные от одежды и самого тела остатки его, положили на голый престол придела.

Гробница над бывшими еще под спудом мощами митрополита Петра была совершенно ободрана, крыша сорвана, могила раскопана... В соборе от самого купола, кроме принадлежащего к раке св. Ионы, не осталось ни лоскутка металла, ни ткани. Дощатые надгробия могил московских архипастырей были обнажены, но одно только из них изрублено, а именно патриарха Гермогена."[34]

…………………………………………………

…………………………………………………

«В Архангельском соборе грязнилось вытекшее из разбитых бочек вино (тут была устроена кухня для императора), была разбросана рухлядь из дворцов». В числе этой рухляди, очевидно в насмешку и поругание, поставлены были манекены и чучела из Оружейной палаты.

В Успенском же соборе Наполеон, пожелавший видеть архиерейскую службу, заставил священника Новинского монастыря Пылаева отслужить литургию в архиерейском облачении, за что наградил его потом камилавкой (!).

Между другими вещами был снят и увезен крест Ивана Великого 3 сажен вышиною, обитый серебряными вызолоченными листами, только за год перед тем перезолоченный с главою, что стоило 60000 рублей.

Этим крестом Наполеон хотел украсить купол Дома Инвалидов, но при разгроме отступления крест, по одним сведениям, утопили в Семлевском озере[35], по другим – бросили за Вильною.

В КРЕМЛЕ – ПОЖАР!

Пожары в Москве начались в первую же ночь по оставлении города нашими войсками. Когда Наполеон въехал в Кремль, уже сильно горели москательные и масляные лавки, Зарядье, Балчуг и занимался Гостиный двор на Красной площади.

Маршал Мортье если не совсем потушил пожар, то значительно ослабил силу огня, угрожавшего Кремлю. Но на следующий день пламя снова стало распространяться во все стороны с такой невероятной быстротой, что все Замоскворечье занялось. Четыре ночи, говорит очевидец, не зажигали свечей, было светло как в полдень!

Порывы северо-восточного ветра несколько раз снова обращали огонь к Кремлю, в который, как нарочно, были свезены подвижной пороховой магазин и все боевые снаряды молодой гвардии. Понятно, какая тревога стояла там!

Пожар Замоскворечья, расстилавшийся прямо перед дворцом, представлялся взволнованным огненным морем и производил поразительное впечатление: Наполеон нигде не находил себе места, быстрыми шагами перебегал он дворцовые комнаты; движения его обличали страшную тревогу... Он выходил для наблюдения на кремлевскую стену, но жар и головешки от замоскворецкого огня принудили его удалиться. Лицо его было красно, покрыто горячим потом.



В Кремле – пожар! 1887-1898 гг.

В своих бюллетенях Наполеон утверждал потом, что пожар Москвы был задуман и приготовлен Ростопчиным, но это совершенно неверно: так как половина оставшегося в Москве люда были сброд, бродяги, то не невозможно, что они старались о распространении пожаров, но при этом определенного плана сжечь Москву не было. Если, с одной стороны, многие русские держались того мнения, что лучше сжечь добро, чем уступить врагу, и действительно зажигали свои дома, то, с другой стороны, и неприятельские солдаты, ходившие для грабежа по домам с лучинами, огарками, факелами и зажигавшие на дворах костры, очевидно, не принимали никаких предосторожностей; в таких условиях на 3/4 деревянный город должен был сгореть – и он запылал.

Велик должен был быть ужас Наполеона при виде этого необыкновенного пожара: обратив все свои усилия на Москву и надеясь взятием ее поразить Россию в самое сердце, он с болью в душе следил за тем,

как Москва превращается в груды камней и золы, которыми русские, конечно, уже не будут дорожить...

Ночью же в день вступления в Москву начался и грабеж города. Весть о том, что Москва полна богатств, которые расхищаются, с быстротой молнии облетела все лагери, и когда возвратились первые грабители с ношами вина, рома, сахара и разных дорогих вещей – сделалось невозможно удержать солдат: котлы остались без огня и кашеваров, посланные за водою и дровами не возвращались, убегали из патрулей. Добыча была так велика, что ею начали соблазняться сами офицеры, даже генералы...

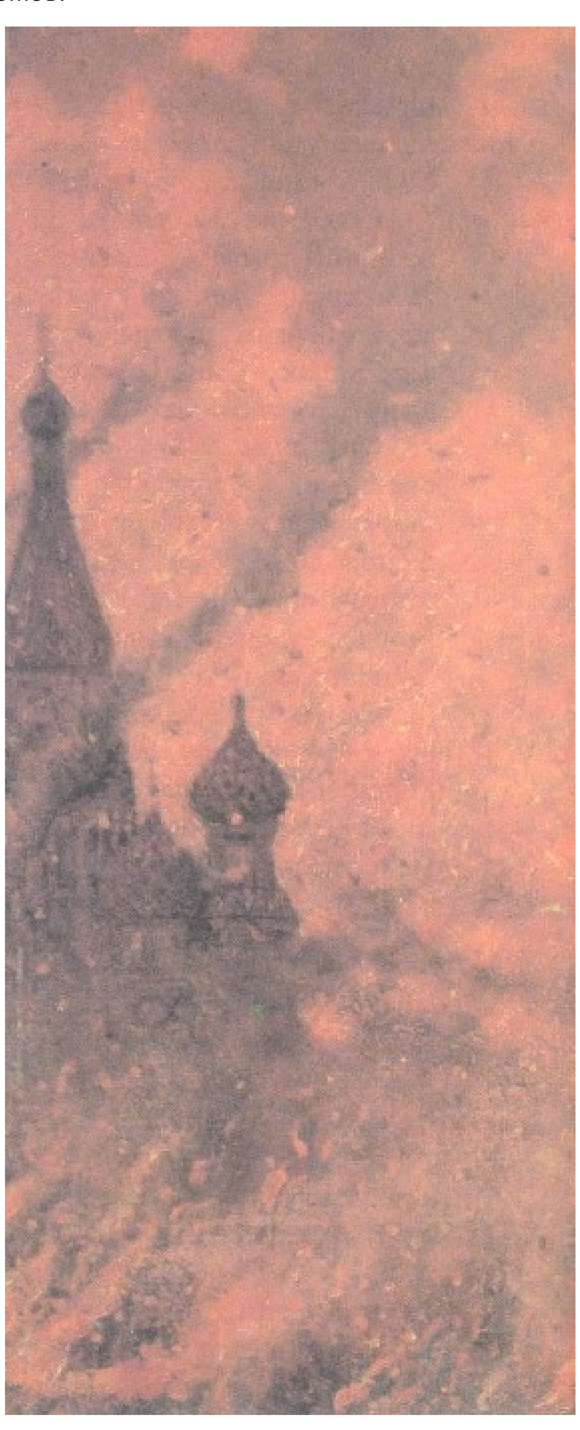
Особенно свирепствовали немцы Рейнского союза и поляки: с женщин срывали платки и шали, самые платья, вытаскивали часы, табакерки, деньги, вырывали из ушей серьги... Баварцы и виртембергцы первые стали вырывать и обыскивать мертвых на кладбищах. Они разбивали мраморные статуи и вазы в садах, вырывали сукно из экипажей, обдирали материи с мебели...

Французы были сравнительно умеренны и временами являли смешные примеры соединения вежливости и своевольства: забравшись, например, по рассказу очевидца, в один дом, где лежала женщина в родах, они вошли в комнату на цыпочках, закрывая руками свет, и, перерыв все в комодах и ящиках, не взяли ничего принадлежащего больной, но начисто ограбили мужа ее и весь дом.

Наполеон же, решившись, наконец, покинуть Кремль, вышел из него тем же самым путем, которым вошел: от Каменного моста он пошел по Арбату, заблудился там и, едва не сгорев, выбрался к селу Хорошеву; переправившись через Москву-реку по плавучему мосту, мимо Ваганьковского кладбища, он дошел к вечеру до Петровского дворца.

ЗАРЕВО ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ

На Красной площади, кроме рядов, горела гауптвахта и разные мелкие постройки, а Замоскворечье представляло настоящее огненное море. Зрелище было поразительное, —говорит очевидец, – в продолжении 4 суток по ночам было так же светло, как днем. Огненные стены улиц завершались огненным же куполом... Сгорело 14000 домов.





Зарево Замоскворечья.

МАРШАЛ ДАВУ В ЧУДОВОМ МОНАСТЫРЕ



Этюд. Голова маршала Даву

Даву имел главную квартиру в Новодевичьем монастыре, но, приезжая в Кремль, останавливался в Чудовом монастыре, где на месте выброшенного престола была поставлена походная кровать его. Двое часовых из солдат 1-го корпуса стояли по обеим сторонам царских врат.



Маршал Даву в Чудовом монастыре. 1900 г.

В ПЕТРОВСКОМ ДВОРЦЕ. В ожидании мира.

Наполеон, всегда отличавшийся необычайной быстротой мысли и действия, сейчас потерял бодрость духа и способность ясно определять ход событий. Он, который в 1805 году был способен вдруг отказаться от Болонского предприятия, начавшегося со многих бед и издержек, чтобы с невероятной быстротой возглавить всю свою действующую армию против Австрии; он, который последний год без ошибок и просчетов определял все движения своей армии, равно как и Берлина; который не только устанавливал заранее дату своего входа в столицу Пруссии, но даже назначал губернатора, – теперь находил себя, после сожжения Москвы, уничтожившего все его надежды и планы, в плачевном состоянии нерешительности.

Одно время он почти подписал приказ, предписывающий армии держаться в готовности к маршу на Санкт-Петербург, но вскоре отклонил этот план. Он хотел атаковать Кутузова, захватить Тулу и Калугу – арсенал и кладовую России, и таким образом, проложить новый путь к зимним квартирам в Литве, – но опять изменил решение. В конце концов, он задумал атаковать Витгенштейна, но не смог решиться на это действие, так как оно могло быть расценено как отступление.



В Петровском дворце

Мысль завладеть Петербургом и вынудить Императора Александра начать переговоры очень льстила Наполеону. Но предприятие могло быть осуществлено перед зимой: он перебирал идею за идеей, приводящие к миру. Александр сейчас уже получил, или через несколько дней получит, его любезное и дружеское письмо, отправленное из Москвы. Конечно, он полагал, что Император не сможет не воспользоваться этим удобным случаем для переговоров с ним, и таким образом, полный мучительного сомнения, ждал ответа от русского Императора.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЕТРОВСКОГО ДВОРЦА.

С 5/17 сентября пошел сильный дождь, который несколько утишил пожары, но не прекратил их, и когда Наполеон возвращался из Петровского дворца в Кремль, «к трону Московских царей», город не только дымился еще, но местами и пылал.

Бивуаки французских войск, окружавшие Петровский дворец, доходили до Тверских ворот. По словам очевидцев, генералы стояли в зданиях фабрик, лошади – в аллеях. Повсюду горели большие костры, в которых огонь поддерживался рамами, дверями, мебелью и образами. Вокруг огней, на мокрой соломе, прикрытой дощатыми навесами, толпились солдаты, а офицеры, покрытые грязью и закоптелые от дыма, сидели в креслах или лежали на крытых богатыми материями диванах. Они кутали ноги в меха и восточные шали, а ели на серебряных блюдах – черную похлебку из конины, с золой и пеплом.

В городе кое-где виднелись уцелевшие остатки зданий и всюду едкая гарь, выходившая из груд обгорелых курившихся развалин, наполняла воздух. По большей части улиц трудно было пробираться из-за обгорелых обломков домов и выброшенных из них мебели и утвари.

Император встречал толпы солдат, обремененных добычею или гнавших перед собою русских, как вьючных животных, падавших под тяжелыми ношами.

Солдаты различных корпусов дрались между собою из-за добычи и не повиновались начальникам. Большая часть солдат была пьяна...

Обыкновенно хладнокровно, с любопытством и удовольствием осматривавший поля битвы, усеянные трупами, Наполеон вряд ли испытывал то же чувство, когда смотрел на сожженную, ограбленную Москву и на сцены, в ней происходившие. Он тотчас принял участие в ужасном положении иностранцев, особенно французов, жавшихся около бивуаков, но относительно оборванных, голодных, наподобие теней бродивших русских только распорядился немедленно нарядить военный суд, чтобы без жалости расстреливать заподозренных в поджигательстве, т. е. почти всех выходивших из своих ям и погребов жителей.

«Однажды я видела, – говорит одна свидетельница, – как народ сбегался на площадь, и французов много шло... Злодеи притащили наших вешать: поджигателей, вишь, поймали! Одного я узнала: из Корсаковского дома дворовый слепой старик. Сбыточно ли было ему поджигать? Уж одна нога в гробу! Хватали кто под руку попался и кричали, что зажигатели. Как накинули им веревки на шею – взмолились они, сердечные. Многие из наших даже заплакали, а у злодеев не дрогнула рука. Повесили их, а которых расстреляли для примера, чтобы другие на них казнились!»



В покоренной Москве (“Поджигатели”, или “Расстрел в Кремле”). 1897-1898 гг.

Со следующего же дня по возвращении Наполеона в Кремлевский дворец сделано было распоряжение прекратить грабеж, и это было повторено несколько раз, но безуспешно. «Император, – говорилось в приказе, – с неудовольствием усматривает, что, несмотря на строгое повеление, отданное вчера, грабеж производится сегодня в тех же размерах...»

«С завтрашнего 18/30 сентября, – говорилось в одном из следующих приказов, – солдат, которые будут уличены в грабеже, предадут военному суду по всей строгости законов...»

Но слова Наполеона сделались уже бессильны: грабеж все-таки продолжался, и скоро вся французская армия обратилась в тяжело нагруженную добычею, нестройную, недисциплинированную орду...

В ГОРОДНЕ – ПРОБИВАТЬСЯ ИЛИ ОТСТУПАТЬ?

Императорская квартира была в Боровске, когда Наполеон получил радостное известие: «Французская дивизия заняла Малоярославец без боя, т. е. предупредила русских на пути в Калугу».

Весь вечер император верхом осматривал местность влево от дороги, откуда ждал появления русской армии, но ее не было, и ночь эта была сладка ему.

Однако на другой день, 24 октября, пришло донесение: «Русские подошли, разбили и прогнали из города французскую дивизию, на помощь которой должен был выступить весь корпус вице-короля Евгения; идет жаркая битва за обладание Малоярославцем».

Наполеон бросился на одну из высот и, сильно взволнованный, стал прислушиваться. Неужели эти скифы предупредили его? Неужели старая лисица Кутузов перехитрил? Неужели его движение запоздало, не удалось и он, Наполеон, из-за своей медленности оказывается виновником этой неудачи?

Если бы не остановил он Евгения на целый день в Фоминском, тот дошел бы ведь до Малоярославца, а следовательно, и до Калуги раньше своего противника, и план был бы выполнен... Непростительно было не принять всех мер к быстрейшему переходу; надобно было поджечь все те ящики и повозки, которые не везли самого необходимого... Надобно было скорее бросить несколько орудий, чем замедлять из-за них движение... Нужно было начать с уменьшения обоза маршалов и его собственного... Многое нужно было сделать не так, но теперь уже поздно...

Все благоприятствовало ему: и погода замечательно хорошая, и состояние армии, вышедшей из Москвы оправившеюся, отдохнувшею, и самые ошибки его противника... Все рушится из-за его неумелости! Это ужасно!

Он все прислушивается: шум увеличивается, слышен залп за залпом.

«Да, это большое сражение», – говорит он, хорошо понимая, что теперь дело идет уже не о славе, а о том, чтобы удержаться и не погубить армию, не побежать.

Когда выстрелы начали утихать, он вошел в одну из изб деревни Городня, в нескольких верстах от Малоярославца, чтобы, посоветовавшись с маршалами, решить, что предпринять.

Весь вечер он выслушивал донесения, сводившиеся к тому, что поле битвы осталось за французами, но что русские заняли за городом твердую позицию, примыкающую к лесам, и спешно укрепляют ее.

Доносили также о том, что, по-видимому, русские намерены обойти правое крыло армии по Медынской дороге, и, следовательно, придется или отчаянно пробиваться, или отступать.

В 11 часов вошел в избу маршал Бессиер, которого Наполеон посылал осматривать расположение неприятельских сил, и объявил, что «позиции русских неприступны!».

«О, боже мой! – воскликнул Наполеон, скрестив руки, – да хорошо ли вы их осмотрели? Уверены ли вы, что говорите?»

Тот повторяет сказанное и утверждает, что на этой позиции достаточно отряда в 300 гренадер, чтобы задержать целую армию.

Бессиер, а за ним и некоторые другие генералы решаются дать совет **отступить**!..

Император выслушивает разные мнения. Он спрашивает графа Лобо: «А ваше мнение?»

«Мое мнение, ваше величество, – отступать кратчайшим путем и как можно скорее – чем скорее, тем лучше...»

Наполеон, скрестив руки на груди, опустил голову, да так и остался недвижим, погруженный в печальные мысли: нет сомнения, его предупредили, перехитрили, – давно задуманное движение не удалось, и некого винить, кроме себя самого: еще вчера ведь дорога в Малоярославец была свободна, а он не занял ее, промедлил... не счастие изменило ему, а он изменил своему счастию!

И образ Карла XII, так часто поминавшегося в эту кампанию, ошибку которого Наполеон твердо решился не повторять, невольно представился его воображению.

Но как же это могло случиться?

И, как бывают в таких случаях проверки поступков совестью, вся история дела, с самого занятия Москвы, быстро прошла перед ним.

Он вспоминал свой наказ маршалу Мортье, назначенному военным губернатором города, не позволять ни жечь, ни грабить. «Вы мне отвечаете за это головою! Защищайте Москву от всего и против всего!»

Затем тоскливая ночь, в продолжение которой ходили зловещие слухи о поджогах. Он был расстроен всем этим и не мог найти себе покоя. Ежеминутно призывал своих людей и заставлял повторять все слухи; он еще надеялся, что авось они не сбудутся, когда в 2 часа пополуночи пожар вспыхнул!

Тогда он стал посылать приказание за приказанием, потом сам бросился к месту пожара, бранился, угрожал. Огонь стал как будто утихать, и он возвратился в Кремль несколько успокоенный; все-таки он видел себя обладателем дворца московских царей...

Посмотрим, – говорил он, – что предпримут теперь русские! Если они еще не захотят вступить в переговоры, то надобно взять терпением и настойчивостью: зимние квартиры теперь у нас есть, и мы покажем миру зрелище армии, мирно зимующей среди целого неприятельского народа, как судно между льдов! С начала весны придется возобновить войну. Впрочем, Александр не доведет дело до этой крайности, – мы сговоримся, и он заключит мир.

По-видимому, Наполеон все предвидел и предугадал: кровопролитную битву перед Москвой, долгое пребывание в самой Москве, суровую зиму, даже неудачи, но со столицею в руках и двумястами пятьюдесятью тысячами солдат, оставленных у себя в тылу, в резерве, он был уверен, что застраховался от всех случайностей.

Но вышло то, чего он не предвидел: громадный невообразимый пожар разлился по городу[36]. Казалось, сама земля разверзлась, чтобы выкинуть адское пламя, поднявшееся над столицею. Даже теперь жутко было вспомнить, как, проснувшись при двойном свете утра и этого огня, он в первую минуту рассердился, захотел во что бы то ни стало утишить пожары, однако скоро понял, что это невозможно – убедился, что чья-то решимость оказалась тверже его собственной.

Это завоевание, для которого он всем пожертвовал, которое, как какую-то тень, уже догонял, схватывал, ускользало теперь, исчезало в вихрях огня и дыма, в треске и грохоте валившихся зданий!

Наполеон вспомнил, как, охваченный волнением , он не знал, за что взяться, что предпринять; ежеминутно садился, вставал, снова садился; хватался за какую-нибудь спешную работу и опять, бросивши ее, подходил к окнам, чтобы следить за пожаром: «Так, это они! Скифы! Столько чудесных построек, дворцов! Что за решимость, что за люди!»

Оконные стекла, у которых он стоял, уже жгли лицо, и люди, размещенные на крышах дворца, едва успевали очищать эти крыши от сыпавших головешек. Шел слух, что под Кремль подведены мины, и многие слуги, даже придворные офицеры, потеряли голову со страха.

Наполеон судорожно переходил с места на место, останавливался у каждого окна и тоскливо следил

за тем, как огонь отнимал у него блестящее завоевание и, захватывая все проходы в Кремль, держал его точно в плену, уничтожал окружающие постройки и все более и более стягивал пылающее кольцо. Император уже стал дышать дымом и пеплом!

Неаполитанский король и принц Евгений прибегают к нему и вместе с Бертье на коленях умоляют уйти, но он остается.

Наконец, ему доносят : "Огонь в Кремле, схвачен поджигатель!".. Тогда он решается, быстро сходит к знаменитому Стрелецкому крыльцу и приказывает везти себя в загородный Петровский дворец.

Нужно торопиться: каждую минуту пламя около него усиливается... Он спускается к реке, откуда узкая извилистая улица идет к выходу из этого ада.

Как есть, пеший, он бросается в страшный огненный проход и идет среди треска этого бесконечного костра, среди грохота рушащихся сводов, падающих балок и раскаленных листов железа с крыш – такие груды всего лежали на пути, что трудно было двигаться. Пламя, уничтожавшее здания, мимо которых он проходил, возвышаясь с обеих сторон улицы, сгибалось над головою в настоящую огненную арку; он шел по огненной земле, под огненным небом, между огненными стенами!

Все пронизывающий жар жег руки, которыми приходилось закрываться. Удушливый воздух, искры, головни и громадные языки пламени захватывали ему дыхание, сухое, прерывистое.

В этом невыразимо отчаянном положении, когда только одна быстрота могла спасти, проводник, видимо заблудившийся, остановился; тут бы, вероятно, и окончилась карьера Наполеона, если бы солдаты, мародеры первого корпуса, не узнали своего императора, не подбежали бы на выручку и не вывели его на свободное, уже выгоревшее место.





Сквозь пожар.

Даже теперь при воспоминании об этих тяжелых минутах он невольно содрогнулся и, несмотря на новую надвигающуюся грозу, на множество устремленных на него глаз, ждавших его решения, его слова, не мог оторваться от нити воспоминаний...

Невольно приходило ему на память, как на другой день, рано утром, взглянув на Москву из Петровского дворца, он увидел, что пожар еще усилился и весь город представлял уже один необъятный столб огня и дыма. «Это сулит нам большие, большие беды!» – подумал он тогда.

Страшное усилие, сделанное для того, чтобы захватить Москву, потребовало всех наличных средств; Москва была окончанием всех замыслов, целью всех стремлений и надежд, и эта Москва теперь пропадала, улетучивалась. Что предпринять? Он недоумевал, колебался. Он, который сообщал свои планы самым близким людям только для беспрекословного исполнения, принужден был теперь советоваться.

Наполеон предлагал маршалам идти на Петербург, но они отвечали, что время года слишком позднее, дороги дурны, продовольствия нет, поэтому предпринять этот поход немыслимо. Уговоренный, но не убежденный, он ни на что не решался, колебался, мучился...

Он так рассчитывал на мир в Москве, что даже не заготовил настоящих зимних квартир, и теперь не мог решиться на новую битву, так как она открыла бы всю операционную линию, покрытую больными, ранеными, отсталыми, загроможденную обозами. Самое же главное: он не мог расстаться с надеждой, для которой столько пожертвовал, что письмо, посланное им Александру, уже прошло через русские аванпосты и, может быть, через какую-нибудь неделю он получит желанный ответ на его предложение мира и дружбы.

Его репутация, его обаяние были еще не тронуты тогда, – как было не верить в возможность хорошего исхода! – тогда он еще держался, не отступал, не бежал, как приходилось делать теперь!

Под тяжестью воспоминаний обо всем этом Наполеон до того смутился духом, что от него долго не могли добиться ни одного слова; только кивками головы отвечал он на самые настойчивые напоминания, требования приказаний и распоряжений.

Он лег в постель, он не мог сомкнуть глаз и всю ночь то вставал, то снова ложился, призывал, расспрашивал, советовался.

Только что взошло солнце, он сел на лошадь и поехал к Малоярославцу. Четыре эскадрона кавалерии, составлявшие его обыкновенный конвой, не будучи вовремя предупреждены, запоздали выездом. Дорога была загромождена больничными фурами, зарядными ящиками, каретами, колясками и всевозможными повозками...

Вдруг влево показались сначала несколько отдаленных групп, потом целые массы кавалерии, от которой с криком без оглядки бросились бежать по дороге женщины и разный нехрабрый люд, наводя панику на всех встречных...

То были казаки, налетевшие так быстро, что император, не понявший, в чем дело, остановился в нерешительности. Генерал Рапп быстро схватил его лошадь под уздцы и, повернув назад, закричал: «Спасайтесь! это они!» Наполеон успел ускакать, но лошадь Раппа получила такой удар казацкой пикой, что повалилась вместе с генералом. Подоспевшие эскадроны конвоя выручили императора со свитою; казаки ускакали так же быстро, как и налетели; занявшись грабежом, они не разглядели действительно богатой добычи, попавшейся было к ним в руки.

Бравый Рапп рассказывал после, что, увидев его окровавленную лошадь, Наполеон спросил, не ранен ли он, и на ответ: «Не ранен, а только ушибся», – принялся хохотать. «Признаюсь, – говорил генерал, – мне было не до смеха!»

Поле битвы под Малоярославцем оказалось поистине ужасным. Город, до 11 раз переходивший из рук в руки, был стерт с лица земли: различить улицы можно было только по рядам трупов, их устилавших.

На развалинах обгоревшего собора видна еще была надпись: «Конюшня генерала Гильемино».

Поздравив вице-короля с блистательным делом и лично убедившись в том, что русские с лихорадочною поспешностью работали над укреплением своей позиции Наполеон воротился в Городненскую избу, куда за ним последовали Мюрат, принц Евгений, Бертье, Даву и Бессиер; таким образом, в этой маленькой, темной, грязной избенке собрались один император, два короля, несколько герцогов-маршалов для решения участи великой армии, а с нею и Европы.

Посредине избы на лавке сидел Мюрат, около него стояли маршалы. В углу за столом, под образами – Наполеон, подпирая руками голову, скрывая страшную тревогу и нерешительность, написанные на лице.

На столе – походная чернильница, карта и знаменитая шляпа с перьями Мюрата; на скамьях – портфель и свертки карт; на полу – разорванные конверты, обрывки донесений, докладов...



В Городне – пробиваться или отступать? 1887-1895 гг.

Тяжелое молчание воцарилось в избе. Предстояло решить безвыходную задачу: как идти к Смоленску, каким путем? По Калужской ли дороге, пролегавшей еще нетронутыми местами, полными всяких запасов, но защищенными всею русскою армией – в чем теперь уже не было сомнения, – или через Можайск, на Вязьму, по старому, выжженному, зараженному пути?

Долго длилось молчание. Наполеон давно уже перебрал в уме все шансы на успех в том и другом случае и не мог прийти ни к какому заключению. Глаза его блуждали по разложенной перед ним карте и сотый раз останавливались на главном пункте столкновения обеих армий, но мысли невольно уносились далеко, к давно пережитому, к Москве, к Александру и своим попыткам заключить с ним мир...

Вспоминались унижения, которые ему пришлось испытать с этими попытками посылок Александру писем с предложениями дружбы, – писем, оставшихся без ответа...

Под впечатлением этой обиды он снова предлагал своим маршалам сжечь остатки Москвы и идти на Петербург; он старался воспламенить их воображение перспективой величайшего военного подвига. «Подумайте только, какою славою мы покроемся, – говорил он, – и как возвеличит нас мир, когда узнает, что в три месяца мы покорили обе северные столицы!» Но маршалы-герцоги снова представили ему, что ни время года, ни состояние дорог, ни запасы провианта не дозволяют предпринять этого тяжелого

похода: «Зачем идти навстречу зиме, которая и так уже близка! – говорили они, – что будет с ранеными? Придется бросать их на произвол Кутузова, который, конечно, пойдет следом; придется атаковать и защищаться в одно и то же время, побеждать и бежать!»

Под влиянием этих унылых, обескураженных ответов он взялся снова за первое средство: решился еще раз испытать силу своего обаяния на Александра и... только еще раз испытал унижение! Он призвал к себе Коленкура, который пользовался когда-то дружбою Александра и теперь в походе был отдален за открытое, настойчивое неодобрение всей этой кампании: ему он решился поручить добиться мира. Гордость, при сознании своей неправоты, долго не позволяла императору прервать молчание и объявить о цели поручений. Наконец, он решился высказаться: он идет на Петербург, он знает, что разорение этого города огорчит Коленкура, долго жившего в нем послом... это будет большим несчастием, так как поставит в крайнее положение императора Александра, характер которого он уважает... Для предупреждения этого он и думает послать в Петербург его, Коленкура... что он скажет?

Упрямый и далеко не куртизан, хотя и бывший посол, Коленкур прямо объявил, что все это совершенно бесполезно, так как Александр не примет никаких предложений и не заключит мира, пока русская земля не будет очищена; что Россия, особенно в это время года, понимает все свои выгоды и все невыгоды неприятеля, что такая попытка принесет скорее вред, чем пользу, так как выкажет стесненное положение Наполеона и всю необходимость для него мира. В этих видах чем значительнее будет лицо, посылаемое для переговоров, тем яснее выкажется беспокойство. Он, Коленкур, ничего не добьется уже по одному тому, что с этим убеждением поедет...

«Хорошо, я пошлю Лористона», – с досадою прервал император.

Но и Лористон отказывался, советовал вместо всяких переговоров, не медля нимало, начать отступление, и императору пришлось настаивать, требовать, чтобы он ехал с письмом к Кутузову, просил бы пропуска в Петербург.



Наполеон и маршал Лористон (“Мир во что бы то ни стало!”). 1899-1900 гг.

Неприятно было вспомнить, как Кутузов и его генералы сумели ловко обмануть Лористона своими любезностями, лестью и желанием будто бы скорейшего окончания этой ужасной войны, как сам он поддался обману и, созвав своих приближенных, объявил о предстоящем мире! «Имейте терпение ждать еще две недели, – говорил он им, – и вы убедитесь, что я один знаю натуру русских и Александра – увидите, что, когда в Петербурге получится мое письмо, город будет иллюминован!»

Тяжелые, истинно унизительные воспоминания! Зачем было так хвастать даже и своим близким? !

Пока Наполеон все это передумывал, маршалы перешептывались между собою, наблюдая и не смея беспокоить склонившегося над картой императора, еще непобедимого, еще непобежденного, но уже, видимо, находившегося в смертельном страхе за судьбу своей армии, своего имени, династии, наконец, за судьбу Франции!

Наполеон вспомнил еще свои грустные прогулки по обширному кладбищу, которое представляла

тогда Москва. Эти базары награбленных вещей, маскарад костюмов забывшей всякую дисциплину армии, ежедневные, смотры со щедрыми наградами, очевидно, столько же радовавшими, сколько и устрашавшими тех, кто получал их.

Вспоминал бессонные ночи, в продолжение которых он открывал свою душу одному из приближенных, графу Дарю, и меж четырех глаз откровенно сознавался в безвыходности положения: у него хватило проницательности вскоре после поездки Лористона распознать истинное положение дел.

Наполеон сознавался, что в этой дикой стране он не покорил ни одного человека и владел только тем клочком земли, который в данную минуту был у него под ногами, что он чувствовал себя просто поглощенным громадными необъятными пространствами России... Сознавался, что он медлит начать отступление, потому что не решается показать Европе, будто он бежит из России – боится нанести первый удар обаянию своей непобедимости!

Теперь ему было ясно, что здесь, как и в Испании, неприложимо было постоянное правило его политики: никогда не отступать, никогда не сознаваться открыто в сделанной ошибке, как бы велика она ни была, а настойчиво идти далее.

Он понимал, что ему нечего рассчитывать на Пруссию; видел, что и на Австрию нельзя полагаться. Понял, наконец, что Кутузов прямо обманывает его, и все-таки ни на что не решился, так как не находил никакой возможности ни оставаться, ни отступать, ни идти вперед и драться с надеждою на успех!

За время этих сомнений и колебаний он старался и себя, и других мирить с совершившимся: «Потеря Москвы, конечно, была несчастием, – рассуждал он, – но, с другой стороны, она была и событием выгодным, так как, владея Москвой, трудно было бы поддерживать порядок в городе с 300000 фанатического населения и спать в Кремле спокойно. Правда, от Москвы остались одни развалины, но зато, живя в них, нечего было тревожиться. Конечно, пропадают миллионы контрибуции, но сколько же миллиардов теряет Россия: ее торговля разорена на целое столетие, и развитие всей нации отодвинуто на доброе полстолетие – результат немалый! Когда возбуждение русских пройдет и настанет время рассудка, они ужаснутся! Без сомнения, такой удар поколеблет самый трон Александра и заставит его просить мира!»

Теперь, ввиду совершившегося, – полученного толчка под Тарутиным, оставления Москвы и безвыходной обстановки перед Малоярославцем, впервые он понял, что нужно, наконец, не рассуждая и не обманывая более себя, отступать, отступать и отступать!

Неловкое тягостное молчание было прервано Мюратом, давно уже проявлявшим знаки нетерпения. «Пусть, – сказал он, – укоряют меня сколько хотят в неосторожности, но так как стоять на месте нельзя, а идти назад – опасно, то остается одно: атаковать! Что же, что русские засели около дороги, в лесах и за укреплениями, пусть ему дадут остатки кавалерии – он берется прорвать, прорезать неприятельские ряды и пробиться в Калугу».

Но Наполеон сразу осадил этот пыл замечанием, что довольно сделано для славы, теперь надобно думать только о том, чтобы спасти остатки армии.

Бессиер, чувствуя за собою могущественную поддержку, заметил, что для такого отчаянного усилия, какое предлагает Мюрат, в обессиливших остатках кавалерии не хватит удали: войска видят ведь недостаток перевязочных средств и понимают, что в этих условиях всякая рана отзовется смертью или пленом... Войска пойдут без энергии! и куда пойдут? На позиции прямо неприступные! На какого неприятеля? Довольно взглянуть на вчерашнее поле битвы, чтобы убедиться в храбрости русских: только что обученные солдаты их прямо лезут на смерть... Бессиер кончил свою речь советом отступать, с чем император, судя по его молчанию, не прочь был согласиться.

Тогда маршал Даву объявляет, что уж если решено отступать, а не наступать, то пусть идут к Смоленску через Медынь...

Но Мюрат с живостью перебивает и, по старой ли непримиримой ненависти к маршалу или потому, что его собственный план отвергнут, спрашивает: не задался ли Даву целью вконец погубить армию, советуя тащить ее со всеми тяжестями по проселкам, без проводников, имея Кутузова на фланге? Уж не он ли, маршал Даву, проведет армию и защитит ее? Да и к чему это, когда для отступления у них готовый путь на Боровск и Можайск? Дорогою этою они шли, она им хорошо известна, на ней нельзя заблудиться, да и провиант должен быть теперь по ней везде заготовлен.

Едва сдерживая гнев, Даву отвечает, что он предлагает отступать по пути еще не тронутому, полному всякого добра, через невыжженные селения, в которых солдаты найдут закрытия от стужи и непогоды, вдобавок по пути кратчайшему, так что опасности быть отрезанным от Смоленска не будет. Какой же путь предлагает вместо него Мюрат? Пустыню, песок с пеплом, на котором все заняли и загромоздили транспорты с ранеными, где ничего не встретишь, кроме крови и развалин, мертвечины, заразы и голода! Он, Даву, предлагает этот путь, потому что считает себя обязанным дать совет императору, спрашивающему его об этом; император, если не желает слушать, может заставить его замолчать; но уж, конечно, не заставит его молчать Мюрат, хоть и государь, но не его государь и который наверное никогда им не будет!

Неизвестно, до чего дошла бы ссора, если бы Бессиер и Бертье не уговорили и не разняли ссорившихся. Император сидел все это время неподвижно, в той же позе, наклонившись над картою и, по-видимому, не обращая внимания на этот крик и шум; в сущности, он все слышал, хотя мысли его и продолжали носиться в прошлом.

Досадно, невыразимо досадно было ему то, что столько времени потрачено в Москве даром. Даже когда выпал первый снег, он, несколько встряхнувшись от своей летаргии, все еще медлил. Думал ли он действительно устрашить неприятеля, показывая вид, что хочет зимовать в Кремле? И эти затеи укрепить Кремль, втащивши 300 орудий на его стены, открыть театр, выписать из Парижа актеров и т.д. ?

И чем он занимался? По целым часам сидел, полулежал с книжкой нового романа в руках или с листком новых, в честь его сложенных в Париже стихов[37], о достоинствах которых подолгу рассуждал с приближенными... Целые три дня писал устав Comedie Française, засиживался за обеденным столом, – чего прежде никогда не бывало, – как бы ища возможности забыться, отрешиться от неотвязных мыслей, забегавших вперед, искавших разрешения... Он опустился и еще потолстел за этот ужасный месяц вынужденного бездействия! Как он не скрывал свое смущение ото всех, приближенные видели страшную борьбу, в нем происходившую; недаром по утрам, на выходах, он чувствовал, как пронизывали его их пытливые взгляды, замечавшие бледность, усталость, следы бессонных ночей, отрывочную резкость его речи, часто переходившую в нетерпеливые выходки, даже брань... Наконец, раз уже решившись, как он выразился, «приблизиться к своим зимним квартирам» или попросту уйти из Москвы и России, он опять-таки медлил: шел тихо, жалея обозов и награбленного солдатами добра, щадя свою артиллерию...

Теперь нечего больше рассуждать, надобно действовать, т.е. бежать и бежать...

Он поднял голову, оглядел смущенные лица своих старых боевых товарищей и медленно произнес: «Хорошо, господа, я распоряжусь...»

И он решился отступить, повести армию по старому пути, как наиболее удалявшему его от русской армии, но это решение обошлось нелегко: с ним сделался продолжительный обморок...

На дороге у бивуачного огня Наполеон продиктовал начальнику штаба приказ отступления: «Мы шли, – сказано было в этом приказе, – чтобы атаковать неприятеля... но Кутузов отступил перед нами... и

император решил повернуть назад».

НА ЭТАПЕ – ДУРНЫЕ ВЕСТИ ИЗ ФРАНЦИИ

На одном из переходов, когда русская зима заявила о себе снежной бурей, к императору быстро подошел граф Дарю, и цепь часовых медленно окружила их. Эта таинственность возбудила в лицах главной квартиры не только любопытство, но и беспокойство за общую судьбу.

Эстафета, первая за шесть дней, принесла известие о заговоре Маллэ, задуманном в самом Париже, в тюрьме, темной личностью, малоизвестным генералом. Единственными серьезными помощниками заговорщика в этом деле были известие о гибели великой армии и поддельный приказ об аресте министра, префекта полиции и коменданта города.

Все задуманное наполовину исполнилось, благодаря хорошо направленному толчку, с одной стороны, неведению, общей апатии и удивлению – с другой.

Император узнал сразу и о преступлении, и о казни преступников и сказал, обращаясь к Дарю: «Ну что! Хороши бы мы были, если бы остались зимовать в Москве!» – мера, которую Дарю рекомендовал, будучи в Кремле.

Наполеон не показал перед всеми ни беспокойства, ни негодования, но они с лихвою вылились наружу, когда он остался с близкими ему лицами; тут он разразился удивлением, досадой и гневом.

Еще тяжелее сделалось ему, когда он остался наедине с самим собою, с мыслями, давно уже не дававшими ему покоя. Что скажет Европа? Как она порадуется недостатку стойкости его хваленых новых учреждений и недостатку гражданского мужества лиц, составлявших опору государства!

Неужели эра революций и переворотов еще не закончилась во Франции, неужели его родство с цесарским домом, для которого он принес столько жертв, считается ни во что? Неужели его сын, надежда, опора государства, считается настолько несерьезным, что мысль о нем даже не приходит никому в голову в опасную и решительную минуту?..

Главная квартира расположилась в этот день близ почтовой станции, и император занял маленькую сельскую церковь, обнесенную оградой. Походная кровать с принадлежностями туалета плохо гармонировала с убранством старого храма, позолоченными славянскими орнаментами и ликами Христа, Богоматери и Святых, угрюмо, укоризненно смотревших на необычную для святого места обстановку, бесцеремонно расположившегося между ними пришельца. Образ Христа, как и все другие, был порублен, изорван и всячески обруган пришедшим здесь солдатством; лишь уцелевший глаз святого лика как бы изрекал приговор всей сцене...



На этапе. Дурные вести из Франции. 1887-1895 гг.

День быстро склонялся к вечеру; многие из старших начальников армии ожидали возможности войти к императору, но не смели сделать этого без зова; кипы нужных бумаг, лежавших на столе, ждали рассмотрения и решения, но он неподвижно сидел, не выпуская из рук листа эстафеты, погруженный в тяжелую неисходную думу...

Очевидно, рассуждал он, во Франции не хотят меня больше – ну что ж! пусть выберут другого; посмотрим, лучше ли он распорядится...

Но как мог он сам дойти до этого положения?

Что сделалось с Александром? Что довело этого добродушного человека до такого озлобления?

Правда, Нарбон уже в Дрездене, по приезде из Вильны, говорил, что царь без хвастовства, но и без

слабости остается непоколебимым в принятом решении; но все-таки нельзя было ожидать ненависти, сказавшейся в прокламациях и манифестах Александра.

Уже с начала похода приходилось скрывать от армии эти русские манифесты: так они были полны самых злых, ядовитых обвинений, направленных лично против него, Наполеона. Приходилось обманывать солдат, представлять русскую армию деморализованною, готовою разбежаться, и русского императора то убитым своими недовольными подданными, то беглецом, вымаливающим у Сената помощь и прощение за свое бегство... А между тем чего бы он не дал, чтобы войти опять в прямые, непосредственные сношения с этим беглецом! И в Дрездене, и в Витебске, и даже в Смоленске он ждал какого-нибудь, хоть самого ничтожного, сообщения от своего противника.

Как раскаивался он теперь в том, что так высокомерно отнесся к последней мирной попытке Александра – присылке Балашова, важности которой он не понял: очевидно, это были последние слова мира и дружбы перед великим смертельным разрывом, после которого русский император наложил молчание на свои уста: не только не заговаривал более, но и не отвечал.

При невозможности начать переговоры лично Наполеон закидывал удочку через Бертье, который писал Барклаю де Толли: «Император поручил мне просить Вас засвидетельствовать его почтение императору Александру. Скажите ему, что ни превратности войны и ни что другое не в состоянии уменьшить чувства дружбы, которое он к нему питает». Вспомнилось потом, как он опять пробовал счастия в Москве, через бедного старика Тутолмина, не помнившего себя от страха во время аудиенции, на которую его притащили. Он потратил даром время на красноречие, втолковывая этому чиновнику, что мир легко будет заключен, если между ним и Александром не будет интриг, о чем и просил намекнуть в своем донесении; бедный старик, конечно, обещал все возможное и невозможное, чтобы только поскорее улизнуть от приливов императорского гнева, против воли выливавшегося во время разговора.

Еще неприятнее было вспоминать попытку возложить мирную миссию на Яковлева, русского барина, захваченного на выезде из Москвы. Целых два часа он объяснял свои виды и намерения этому смешному господину, обкраденному солдатами и представшему перед ним во фраке своего камердинера. Правда, импровизированный посол дал слово лично доставить письмо своему государю, но ведь и он со страха и желая вырваться из-под ареста давал, вероятно, обещания без надежды их исполнить.

А жаль! Доводы Наполеона были неотразимы, и услышь их только русский император, он сдался бы на силу их справедливости и искренности. "Пусть Александр только изъявит желание вести переговоры, – говорит он, – я готов его выслушать. Я подпишу мир в Москве, как я подписывал его в Вене, Берлине... Не затем же я пришел сюда, чтобы остаться. И не следовало бы мне здесь быть, и я не был бы здесь, если бы не принудили меня к тому. Поле битвы, на котором война должна была решиться, было в Литве. Зачем было переносить его в глубь страны?

Если бы Александр сказал хоть одно слово, я остановился бы у ворот Москвы, поставил бы войска мои бивуаком, не доходя предместьев, и объявил бы Москву вольным городом! Этого слова я дожидался несколько часов и, признаюсь, желал его. Первый шаг Александра только доказал бы, что в глубине его сердца осталось еще немного привязанности ко мне. Я оценил бы это, и мир был бы тотчас заключен между нами без всяких посредников; он сказал бы мне, как в Тильзите, что его жестоко обманули на мой счет, и все было бы сейчас же забыто!"

Возможно ли, чтобы эти великодушные слова и намерения не нашли себе отклика в сердце Александра?

На письмо, посланное с Яковлевым, тоже не было ответа, и теперь самые воспоминания об этих письмах и о всех излияниях перед людьми без авторитета, без всякого права на такую интимность были

тяжелы...

Ему вспомнились прежние сношения с Александром, представилась самая фигура этого молодого энтузиаста, каким он его помнит в Тильзите; там они уверяли друг друга в дружбе, соперничали в предупредительности; Александр охотно подчинился его уму, опытности, гению и громко объявил, что «дружба великого человека есть дар богов!». Что же случилось с тех пор непоправимого, чего нельзя было уладить переговорами, обоюдными уступками? Что заставило начать эту войну, против советов всех лучших людей, против голоса своей общественности, совести и против интересов Франции, по его искреннему убеждению, бывшей не в состоянии вести сразу две такие войны, как испанская и русская.

Напрасно он искал какого-нибудь серьезного, существенного государственного интереса, из-за которого стоило бы бросить меч на чашку весов – всплывало в памяти лишь две причины: одна отдаленная, почти зажившая уже рана обиды на неприятие его, Наполеона, тогда, в 89-м году, еще поручика, в русскую службу. Напрасно представлял он начальнику русской Средиземной экспедиции, что, как подполковник национальной гвардии, он имел право просить чин майора в молодой русской армии: ему отказали, – тем хуже для них! Другая – недавняя, свежая – чувство смертельной личной обиды за отказ в сватовстве: ему, Наполеону, отказали в руке Анны и еще вслед за тем, как нарочно, сосватали ее за какого-то немецкого князька!.. Ему, когда он готов был на всевозможные политические и семейные уступки! Когда он прямо объявлял, что даже рознь в религиозном исповедании не составит затруднения! Середины не должно было быть: или немедленное согласие в случае желания породниться с ним, или отказ при нежелании, и он потребовал ответа через 48 часов! Как было поступить иначе? Не представлять же влюбленного, не ухаживать, не вымаливать согласия, как милостыни – это было бы недостойно его и как человека, и как императора Франции, повелителя Запада! Он был только дальновиден в этом требовании немедленного ответа, так как вместо согласия у него выпрашивали четыре раза по десятидневной отсрочке, пока не стало, наконец, ясно, что Александр не может или не хочет быть главою в своей семье, пока не начали в обществе шептаться и смеяться... какой срам!

Неужели же, однако, это было прямою и непосредственною причиной войны? Неужели теперешняя бесчеловечная резня была бы избегнута, если бы Анна стала его женою и поселилась в Тюльери?

Неужели он до такой степени позволил самолюбию и гордости овладеть собою?

На вопросы эти совесть его отвечала: да, да!

Будто же не было других обид?.. Нет!

Ужели не было между обеими странами каких-либо непримиримых интересов, неразрешимых недоразумений? Нет! И какие-то несоблюдения каких-то статей трактата, и какие-то английские товары, и самая запальчивая письменная полемика его с Александром были только предлогами...

Но ведь это просто ужасно!..

Шум в дверях церкви заставил его вздрогнуть и очнуться: встревоженный Бертье вошел без доклада, с депешами, рискуя лишний раз навлечь на себя гнев повелителя, под влиянием бедствий в последнее время так часто на него обрушивавшийся; но против ожиданий Наполеон принял начальника штаба ласково: он рад был избавиться от одиночества, от страшного душевного кошмара воспоминаний и угрызений совести.

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ – ОТСТУПЛЕНИЕ, БЕГСТВО...

С наступлением холодов Наполеон ехал в карете, прекрасно устроенной для дневных и ночных занятий, герметически закупоренной, наполненной мехами. Но от Смоленска он шел больше пешком, одетый в длинную бархатную соболью шубу, с золотыми бранденбургами, в меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги. Он уходил из Красного. Стоял мороз. Свежевыпавший снег несколько прикрыл страшный беспорядок Смоленской дороги, по сторонам которой валялись тысячи повозок, зарядных ящиков, орудий, трупов людей и лошадей.

Главная квартира, вся в шубах, с поднятыми воротниками, тащилась за императором, унылая, молчаливая; улыбка пропала с уст самых рьяных куртизанов.

Наполеон шел несколько впереди других, опираясь на свою березовую палочку, задумчивый, грустный, хотя, видимо, желавший казаться твердым и равнодушным.



На большой дороге. Отступление, бегство… 1887-1895 гг.

Не далее как вчера под Красным он имел случай видеть всю свою армию, так как эти жалкие остатки когда-то первого войска в мире все, в полном составе, протащились мимо него. Видел и ужаснулся! Приближенные слышали, как всю эту ночь он жаловался на то, что состояние его бедных солдат «раздирает ему душу», что «сердце его обливается кровью при виде их»...

Положение начинало делаться критическим: с каждым днем число людей, способных держать оружие, уменьшалось, дух армии падал, и дисциплина фактически пропала. До сих пор, хоть на него и смотрели как на виновника всех бед, однако никто не задумался бы при встрече не только оказать ему

всякую услугу, почесть и уважение, но и пожертвовать за него жизнью. Теперь солдаты стали открыто роптать вокруг бивуачных огней; не далее как вчера, когда император захотел обогреться около одного из костров, герцог Вичентский, посланный выбрать место, заключил по слышанным солдатским речам, что его величеству лучше не останавливаться, чтобы не подвергнуться личному оскорблению.

Наконец, и это последнее свершилось: сегодня какой-то несчастный чиновник военной администрации, которому колесами тяжелой повозки только что отдавило обе ноги, валяясь в мучениях на снегу, закричал проходившему Наполеону: «Чудовище, ты десять лет уже грызешь нас! Друзья мои, он – бешеный, он – людоед! Берегитесь его, он сожрет всех вас...» Император молча прошел мимо, делая вид, что ничего не видит и не слышит, а бедняга, не обезоруженный этим молчанием, продолжал посылать ему вслед отборную, позорную брань...

Нравственные мучения Наполеона были тяжелее физических, и думы, одна безотраднее другой, тревожили воображение днем, во время долгих переходов, и по ночам без сна и покоя. Все прошлое этой несчастной кампании проходило перед ним.

Вспоминалось, как военная молодежь Франции собиралась в русский поход, будто на пикник, на веселую шестимесячную прогулку, полная надежд на успех, на отличия и награды. Говорили знакомым: «Мы на Москву! До скорого свидания!» О серьезных тяжелых трудах, об опасностях не помышляли – ба! где же их нет!

Никогда, может быть, не бывало таких громадных, необыкновенных приготовлений к войне: задолго люди всевозможных профессий – слесаря, кузнецы, плотники, столяры, каменщики, механики, часовых и всевозможных дел мастера – нанимались и законтрактовывались для какого-то неизвестного гигантского предприятия целыми тысячами. Большинство даже не знало, что все это предпринимается против России, которой, напротив, общественное мнение склонно было помогать в войне ее против турок, и все терялись в догадках о том, против кого же все это собирается: перебирали Англию, Пруссию, Турцию, Персию, даже восточную Индию...

Внезапный отъезд Чернышева открыл, правда, кончик завесы, но все-таки ничего верного еще не знали; тем более что приказом по армии запрещены были всякие разговоры и рассуждения о войне.

Армия была, бесспорно, самая великолепная из всех, когда-либо существовавших на свете! Одиннадцать корпусов пехоты, четыре корпуса тяжелой кавалерии и гвардия – все вместе 500000 человек при 1200 орудий ждало только мановения руки императора...

И все это было еще так недавно! Только вчера он был в Дрездене, где роскошь, великолепие и раболепство делали из него какого-то сказочного азиатского могола, осыпавшего бриллиантами всякого, кто к нему приближался.

Император австрийский почтительно повторял ему, что «он может вполне рассчитывать на Австрию для доставления торжества общему делу». Король прусский униженно уверял «в неизменной своей привязанности к его особе и к судьбе его предприятий».

Король всех этих королей, он был стеснен знаками почтения владетельных особ, толпившихся в его передней, и принужден деликатно дать понять, чтобы они не очень надоедали ему своим поклонением. Все взоры были устремлены на него с удивлением, восхищением, в ожидании великих грядущих событий...

Теперь эти события свершились.

Начало кампании было блистательно: каждый день сказывался каким-нибудь успехом, и всякий офицер, к нему приближавшийся, приносил какую-либо радостную весть. Перед ним живо носилось и тяжелым укором ложилось на совесть сравнение нарядной блестящей молодежи на чудных конях,

считавшей счастием служить величайшему из полководцев, безответно вверившей ему свою жизнь и честь, с беглецами без образа человеческого, с понуренными головами, в рубищах, тянущимися теперь по дороге и буквально устилающими ее своими телами! Поистине никогда ни одной кампании не начинал он более удачно!

Правда, опытные и бывалые люди и тогда уже высказывали ему беспокойство из-за быстрого уменьшения состава армии, огромных ежедневных потерь в людях и лошадях. Понятно, что теперь в этом ужасном отступлении все умирает и гибнет, но и тогда на пути, хоть и не беспокоимом неприятелем, но утомительном от жгучего солнца, когда сплошь и рядом приходилось пить вонючую воду луж и кормиться впроголодь сухарями и зерном на корню – голод и болезни уносили массу народа, и полки с полного состава в 2800 человек уменьшились до 1000 и даже 900.

Бывалых людей и его самого смущал также и образцовый порядок, в котором отступала русская армия, всегда прикрытая казаками, не оставлявшая ни одного больного, ни одной повозки, не только что орудий.

Наполеон молчал тогда, но хорошо видел, что в организации его армии и управлении ею сказались разные недочеты – должного порядка не было. Мосты и броды по дорогам скоро портились, но их никто не чинил, и корпуса проходили – где который хотел, так как главный штаб не занимался этими мелочами; никто не указывал ни опасных мест, ни обходных путей, и всякий корпус действовал на свой страх. Всюду отставшие и заблудившиеся солдаты разыскивали свои части; посланные со спешными приказаниями не могли исполнять поручений и толпились на загроможденной дороге среди страшных шума и беспорядка. Солдаты и тогда уже нарушали дисциплину, но успех еще покрывал все. Он вспомнил, как сам не строго отнесся и даже смеялся донесению о том, что один из новоназначенных им подпрефектов близ Вильны был начисто ограблен солдатами и явился на свой пост в одном белье! Да, он знал, что солдаты грабили, мучили и насиловали жителей, которые разбегались от них, но опять-таки успех должен был покрыть это.

Все-таки великая армия была еще великолепна тогда, и Наполеону хорошо представилась картина первого вступления в ту самую часть России, по которой он теперь отступал: страна хорошая, дорога прямая, широкая, ровная, обсаженная березами, вся залитая блеском оружия проходящих войск.

Как пали его иллюзии при виде Днепра, этой знаменитой древней реки Востока, оказавшейся незначительною и даже не живописною!

Потом битва под Смоленском с 6000 убитых и 12000 раненых у него, с ужасным пожаром. Вспомнился этот горящий город с улицами, выложенными умирающими!.. Сожжение самими русскими своих жилищ, вместе с их отступлением в полном военном порядке, наводили его и тогда на мысль, что он может подвергнуться в этой стране участи Карла XII. Он замечал, что и в армии уже было беспокойство: мало было обычных шуток и смеха – даже офицеры, видимо нервные, исполняли свои обязанности без увлечения. Он помнил, как в Смоленске долго не решался, мучительно колебался, не сдаваясь на просьбы, мольбы большинства своих опытных советников остановиться – Мюрат упрашивал на коленях, Бертье плакал – не идти дальше, но он не вытерпел: теоретическое решение оставлено и действительность увлекла – он решился идти вперед. Как было сделать иначе? Русская кавалерия напала на Себастиана и разбила его, нельзя было остановить армию под впечатлением этой неудачи[38]...

. . . .

При общем молчаливом движении ясно слышался хруст снега под ногами офицеров свиты и следовавшего за ним конвоя; издали глухо доносился гул движущихся войск. На тихом безветренном воздухе пар поднимался от лошадей, мороз все крепчал, и дума императора делалась все мрачнее и мрачнее.

Представлялась ему большая битва под Москвою, со страшною жертвой от 40000 до 50000 человек и нерешительным результатом...

Не он ли виновник того, что день этот был только днем величайшей резни, а не величайшей победы? Не его ли болезнь (dysirie), не позволившая сесть на лошадь, заставила его издали смотреть на поле битвы, представлявшее море дыма, с грохотом орудий и ружей, криками «Ура» и «Vive L' Empereur» – не дала довершить битвы?

Наполеон вновь переживал в воображении этот день и мысленно представлял себе, как бы следовало ему провести его: быть здоровым, бодрым, свежим, с утра сесть на коня, объехать, вдохновить войска и лично направить их в обход слабого левого фланга противника; тогда разговор был бы другой! Маршал Ней не был бы так чертовски прав, как теперь, когда, узнавши об отказе дать резерв гвардии, вскричал: «S'il a desapris de faire son affaire, qu'il aille se f... f... a Tuillerie; nous ferons mieux sans lui»[39].

Эти досадные и неотвязные мысли так растревожили императора, что он ускорил шаг и стал нервно отбивать удары своею березовою палочкой...

Ему представилась битва в самом разгаре: маршалы умоляют его о подкреплении, об окончательном ударе, и он решается дать свой последний резерв, он сам сейчас поведет гвардию в бой!.. Тогда будет сломлен остаток сопротивления русских, все еще занимающих позиции, в которые их оттеснили, но уже видимо изнемогающих. Сейчас победоносно завершится кровопролитнейшая из всех известных в истории битв, армия неприятельская будет рассеяна, и Александр волей-неволей запросит мира...

Но маршал Бессиер подходит и шепчет ему на ухо: «Не забывайте, ваше величество, что вы за 800 лье от вашего базиса!»

От волнения при этом воспоминании император внезапно остановился; остановилось и все за ним следовавшее, причем не обошлось без комических столкновений между генералитетом, криков и брани в войсках. Наполеон обернулся и осмотрелся, причем взгляд его невольно пал на маршала Бессиера... Потом он пошел далее – так или иначе дело сделано и день битвы под Москвою вписан в скрижали истории как день кровавейшего, но нерешительного побоища.

Да и то сказать: не был ли прав тогда Бессиер? Если теперь, среди страшных невзгод отступления и холодов еще не все побросало оружие и соблюдается некоторое подобие порядка, если гвардия поддерживает еще несколько дух и дисциплину армии, то не обязаны ли этим тому, что эту гвардию поберегли тогда, сохранили ее офицеров и состав, не дали охладиться ее пылу? Что было бы, если бы эта колонна из нескольких отборных тысяч людей была бы теперь в числе всего нескольких сотен, павших духом, потерявших энергию, деморализованных? Общая погибель была бы несомненна!

Лошади падают тысячами, кавалерия идет пешком, а артиллерия брошена; канавы по сторонам дороги полны людьми и лошадьми. Конечно, Парфянские всадники не были назойливее казаков, а жаркие степи Бактрианы – убийственнее снежных пустынь России; участь же обеих армий, римской и французской, очевидно, одинакова: обе уничтожены![40]

Уже бросили в воду все московские трофеи и большую часть награбленного добра. Ужас царит повсюду, все видят спасение только в бегстве. Генералы и офицеры смешались с денщиками и все одеты в те же рубища, так же обросли бородами, так же грязны, закопчены, покрыты паразитами. Это какая-то шайка воров и разбойников, между которыми ни жизнь, ни имущество не в безопасности: воруют все, что только можно воровать, обирают споткнувшихся и упавших братьев, слабых, больных, умирающих. Дорога представляет сплошное поле битвы, одно непрерывное кладбище; все окрестности разорены и выжжены.

Непостижимо, как мог он так промедлить в Москве! Он виноват во всем, и что Эйлауская кампания обманула его: испытавши дурную, холодную погоду, наполовину грязь и легкие морозы польской зимы, он

думал уже, что знаком с настоящей русскою зимой, но ошибся, жестоко ошибся!



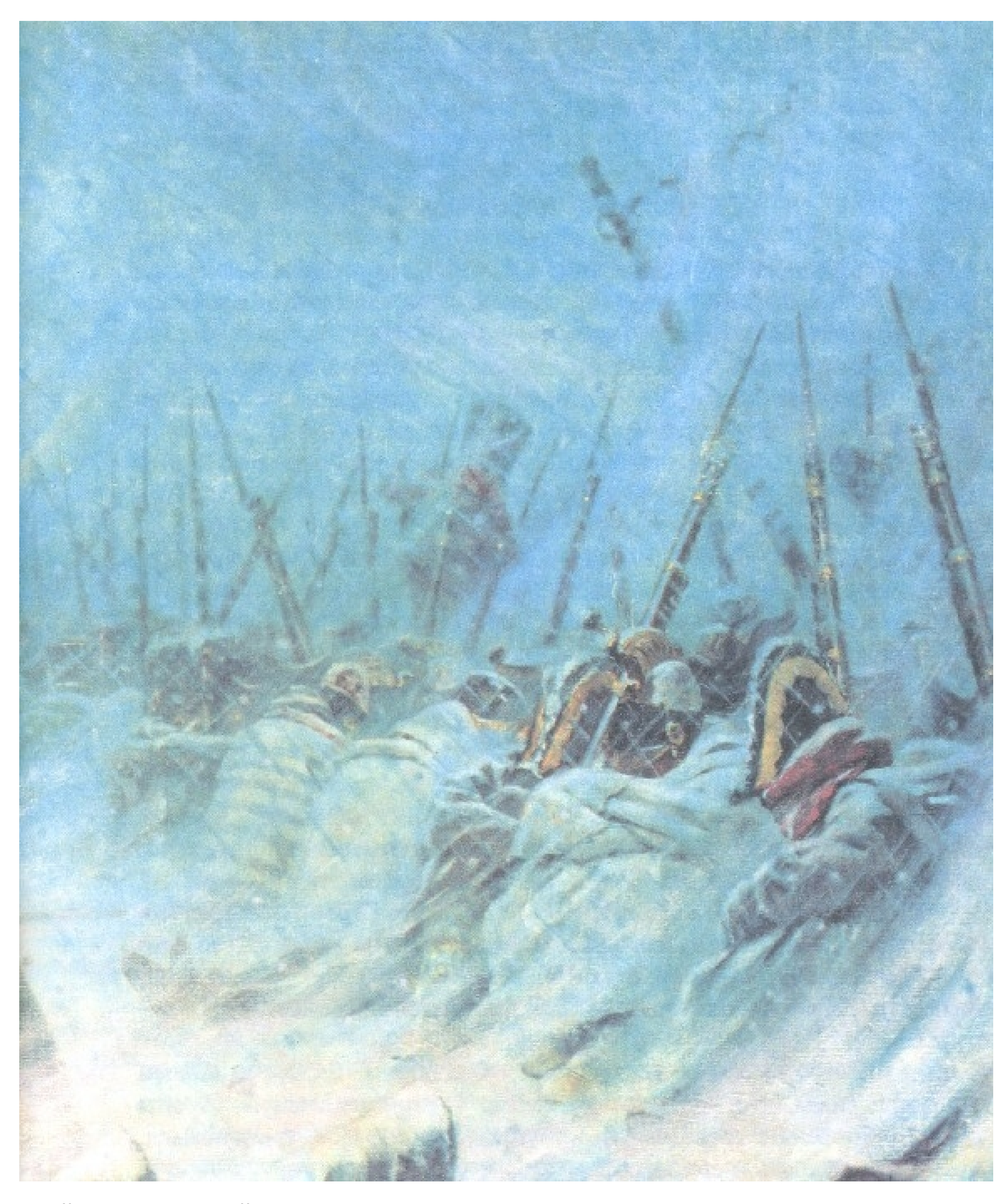
На морозе

Все мрачнее и мрачнее думы Наполеона, все безотраднее кажется ему его положение. Кругом трещит мороз, а Франция, Париж досадно далеки еще...

НОЧНОЙ ПРИВАЛ ВЕЛИКОЙ АРМИИ

Морозная зима, быстро со всею силою подвинувшаяся на не подготовленную к ней отступавшую армию, – награбившую массу ценных вещей, но не позаботившуюся о зимней одежде, – показала ей, что в этой стороне она незваная гостья. Злой приказ Наполеона жечь все кругом, имевший целью наказать русских, наказал прежде всего своих: приводившийся в исполнение не арриергардом, как бы следовало, а авангардом, он отнимал у несчастных солдат последнюю возможность хоть изредка отогреться под крышею и заставлял проводить все ночи под открытым небом. Те, которым удавалось развести огонь, по часам сидели вокруг него, наслаждаясь теплотой и не замечая, как загорались их одежды и даже обугливались отмороженные части тела. Некоторые прямо входили в костры и обгорали до смерти. Ужаснее всего были ночи во время ветров и снежных бурь: длинные ряды тесно сжавшихся солдат” укутанных в продырявленные шинели и плащи, также в женские юбки, крестьянские армяки, священнические ризы и кто во что горазд – издавали один общий протяжный стон, не заглушавшийся даже воем ветра. Тут были генералы, офицеры и солдаты – все взывали к далекой родине и кляли Россию с ее морозами, одинаково недружелюбно поминая императоров Наполеона и Александра...





Ночной привал великой армии.

“НЕ ЗАМАЙ! – ДАЙ ПОДОЙТИ!”

Семен Архипович был старостой в одной из деревень Смоленской губернии, Красненского уезда; деревня эта находилась в верстах 40 от большой Смоленской дороги.

За первый проход к Москве неприятель продовольствовал себя и лошадей тем, что находил на полях и что попадалось в ближних деревнях, так что фуражиры его не заходили очень далеко, и староста Семен, вместе со всеми односельчанами уже переселившийся было в лес, где зарыл свой провиант и имущество, приободрясь, воротился в деревню.

Скоро, однако, неприятельские мародеры небольшими партиями стали заглядывать в избы, требовать хлеба, молока и проч., и тех, кто попадал в их руки, жестоко били и мучили.

У старосты, как и у других крестьян, чесались руки на незваных гостей, но они опасались убивать их, потому что неприятель распускал слух, будто занятые местности Смоленской губернии никогда более не будут принадлежать России, а крестьяне – своим господам. Это настолько поколебало умы в окрестности, что находились охотники помогать неприятелю, отыскивать спрятанные фураж и имущество, а местами толпы крестьян пропускались даже на грабеж помещичьих домов. В народе говорили о том, что по приказу и благословению Московского первосвященного, духовенство уже начало поминать в церквах на обедне вместо царя Александра I императора Наполеона I. Смута настолько вошла в умы, что в некоторых местах французов встречали с хлебом-солью...

Недовольство между крестьянами, бесспорно было, и Семен Архипович видел, что по мере движения неприятеля вглубь страны дух неповиновения господам и их управляющим все увеличивался, плохо стали слушать и его голоса.

Скоро, однако, с разных сторон стали приходить сведения о том, что французы истребляют все, что попадется под руку; останавливаются среди полей, мнут и уничтожают жатву, а над жителями совершают неслыханные злодейства, женщин, которые не успевают бежать, насилуют: по всему пути валяются не только зарезанные крестьяне, но и поруганные девушки, дети! Пошел слух, что церкви обращают в казармы, магазины, конюшни и бойни, что со святых икон сдирают серебряные оклады и потом выбрасывают их на улицу; колют образа на дрова, а также употребляют их и святые престолы вместо столов и скамеек. Издеваются всячески над святыми сосудами и церковными облачениями: из первых пьют вино, а вторые надевают на себя...

В достоверности этих известий нельзя было сомневаться, а потому они вызвали большое озлобление между крестьянами и сразу пресекли попытки наиболее вольнодумных между ними, начавших было толковать о том, что «надо выждать, посмотреть, что будет, что, может, Наполеон и вправду освободит их»... В той же деревне один из крестьян, вырвавшийся из Москвы, откуда он вначале не успел выйти, рассказывал, добравшись до дома, будто в Москве своевольство неприятельских солдат так велико, что его и начальство не может сдержать: пьянствуют, грабят и убивают; в Кремле, в алтаре Архангельского собора будто бы кухня; в Успенском – лошади; наглостей и ругательств, чинимых в церквах, и описать невозможно... будто бы изрубили двух священников в Андроньевском монастыре. У Красных ворот он сам видел мишень, устроенную из образов, для стрельбы в цель. Из Вознесенского монастыря взяли священническую ризу и брачный венец, надели их на ученого медведя и заставили его плясать... Жителей будто бы всячески истязают: так, многие видели князей Волконского, Лопухина, Голицына, не успевших уехать и которых французы заставили таскать на плечах кули, крича на них : «allo, allo!» (allons, allons)!

На пути от Москвы он слышал о том, что народ сам начинает расправляться с небольшими партиями неприятеля; что крестьяне ездят на Бородинское поле сражения, собирают там ружья, сабли и прочее

оружие и ими убивают французов, попадающихся в руки, на дорогах, в лесах и по деревням.

Семен Архипович собрал мир, и в присутствии батюшки было решено осведомиться у начальства, не будет ли ответа за убийство супостатов; коли нет – так собраться отрядом и промышлять против врага, сколько бог поможет.

Сомнение их очень скоро было разрешено казацким офицером из партии Фигнера, пробиравшимся мимо их деревни с несколькими людьми для разведок под Москву: он осведомил крестьян, что убийство неприятелей не только не будет поставлено в вину, но что еще сочтется в заслугу и даже наградится. В том, что враг будет скоро изгнан, нельзя было и сомневаться, так как Кутузов уже держал его в Москве, как в ловушке...

Быстро составился отряд партизан-крестьян, и начальство над ними было вверено старосте Семену.

Сначала молодежь пыталась освободиться из-под власти немолодого уже начальника партии под тем предлогом, что он действовал не довольно смело и решительно, но скоро все пришло в порядок, так как эта кажущаяся несмелость и нерешительность оказалась осторожностью. Например, когда неприятеля было много, Семен Архипович не действовал один, а старался соединиться или с другой партией, или с казаками. Зато когда потребовалась настоящая решимость, староста тотчас проявил ее: в соседней деревне стреляли по передовым неприятельского отряда, который, подойдя, захватил кого мог – старого и малого – и всех расстрелял на церковной паперти. Вот потом, когда арриергард отряда остался ночевать в опустевшей деревне, Семен распорядился обложить избы хворостом и берестою и сжег врагов, припервши двери снаружи.

С другой стороны, староста Семен не любил чрезмерной жестокости. Рассказывали, что в М... уезде ожесточение против неприятеля достигло такой степени, что изобретались самые мучительные казни: пленных ставили в ряды и по очереди рубили им головы, живых опускали в проруби и колодцы и т. п. Старшина, начальствовавший над партией в соседнем уезде, тоже был до того строг, что все выспрашивал, какою бы еще новою смертью наказывать ему французов, так как все известные роды смерти он уже перепробовал и они казались ему недостаточными, по их злодеяниям. Жестокость эта, впрочем, оправдывалась зверством поступков неприятеля: раз, когда партизаны перебили передовых фуражиров, вступивших в деревню, подошедший отряд разослал погоню и всех схваченных, окунувши в масло, сжег на костре, около которого неприятели грелись. Другой раз враги содрали кожу с живых мужиков только за то, что те оборонялись.

Таких крайностей Семен Архипович не одобрял и без надобности не убивал неприятеля, а отправлял по начальству в уезд. Жалостливый к обезоруженным врагам, староста был неумолим относительно тех малодушных из своих, что пробовали завязывать выгодные сношения с французами: некоторые крестьяне, добровольно продавшие неприятелю хлеб, были расстреляны по приговору мира и с утверждения священника.

Партизаны были вооружены не одинаково: имелись флинты начала прошлого столетия и хорошие французские ружья, взятые от убитых и пленных; у многих были тесаки и вся амуниция, отнятая у французов, у других только пики или палки с прибитыми к ним косами.

Нередко с партиею ходил сам старый батюшка, когда в подряснике, а когда, при морозах, в полушубке, и всегда с крестом в руках, что придавало народу смелость и уверенность.



“Не замай – дай подойти!” 1887-1895 гг.

Отставной солдат, находившийся в партии старосты Семена, располагал обыкновенно на возвышенных местах караулы, которые давали знать о приближении неприятеля: ударяли в набат, и крестьяне конные и пешие бросались к сборному пункту.

Между наиболее деятельными и храбрыми партизанами был дьячок, всюду поспевавший верхом на своей шустрой лошаденке; нельзя было приблизиться ночью к деревне без того, чтобы он не задержал, не допросил и не осмотрел – и это несмотря на то, что дьячок был крив на один глаз; впрочем, на лошади, с французской саблей через плечо и драгунским ружьем наперевес, он смотрел внушительно.

Еще отличался беззаветною храбростью Федька, немолодой уже рыжий мужик, простоватый, лезший во всякую опасность.

Всего-навсего партия старосты Семена, действовавшая в числе нескольких сот человек, отправила на тот свет более 1500 да взяла в плен и сдала начальству около 2000 человек неприятеля.

«С ОРУЖИЕМ В РУКАХ – РАССТРЕЛЯТЬ!»

Когда французы пошли из Москвы назад, люди и лошади их так голодали, что неприятельские фуражиры стали заезжать далеко в сторону, часто большими партиями, иногда с пушками.

Семенова деревня стояла почти пустая, и только по праздникам народ, выходя из лесных трущоб, пробирался к ограбленной церкви для богослужения.

Однажды ударили в набат утром, как раз в воскресенье, когда староста со своими выходил от обедни. Едва успел он, крикнувши, чтобы собирались живее, добежать до дому и, схвативши свою старую флинту, выскочить на улицу, как налетели на него конные люди – французские гусары. Старик и сам не помнил, хотел он только выстрелить или вправду выстрелил, как его смяли, стоптали и избили до полусмерти. Очнулся он только, когда стали крутить назад руки его же кушаком – так крепко перетянули, что старые кости затрещали! У одного из вязавших его была кровь на щеке: «Не я ли его так попотчевал? – мелькнуло в уме Семена Архиповича, – ишь как он около меня старается». Француз и вправду был особенно сердит на старика и стянул его, упершись коленом, как лошадь в хомут, злобно ворча: «Attends tu vas voir!» (ну, погоди у меня!)

Ничего не понимал Семен Архипович – очень уж был избит, кости ныли, в голове трещало; как в тумане он видел, что с ним вместе захватили еще 3 крестьян: рыжего Федьку, который так часто отправлял неприятелей на тот свет, Григория Толкачева, что спасся из Москвы, и, должно быть, крепко помятого, потому что он что-то охал, стонал, да хромого Еремея, бывшего у них кузнецом и слесарем и на весь отряд точившего сабли и пики.

Когда потащили, погнали связанных молодцов, старик шел бойко, исправнее всех; Федька тоже не отставал – где бегом, где вприпрыжку, так что им меньше доставалось ударов палашами. Но хромому Еремею приходилось плохо: он часто спотыкался, падал и так как со связанными руками не мог подыматься, то каждый раз был угощаем пинками, оплеухами, палашами и прикладами. Голова его уже во многих местах была разбита, и он оставлял за собою по снегу следы крови. Еще хуже было Грише Толкачеву: этого крепкого здорового мужчину так отбарабанили еще при поимке, что он шел с помутившимися глазами, шатаясь, словно пьяный. Когда, весь избитый, окровавленный от поощрительных ударов, он стал отставать, французы перекинулись между собою несколькими словами – один из них приложил ему карабин к уху и спустил курок...

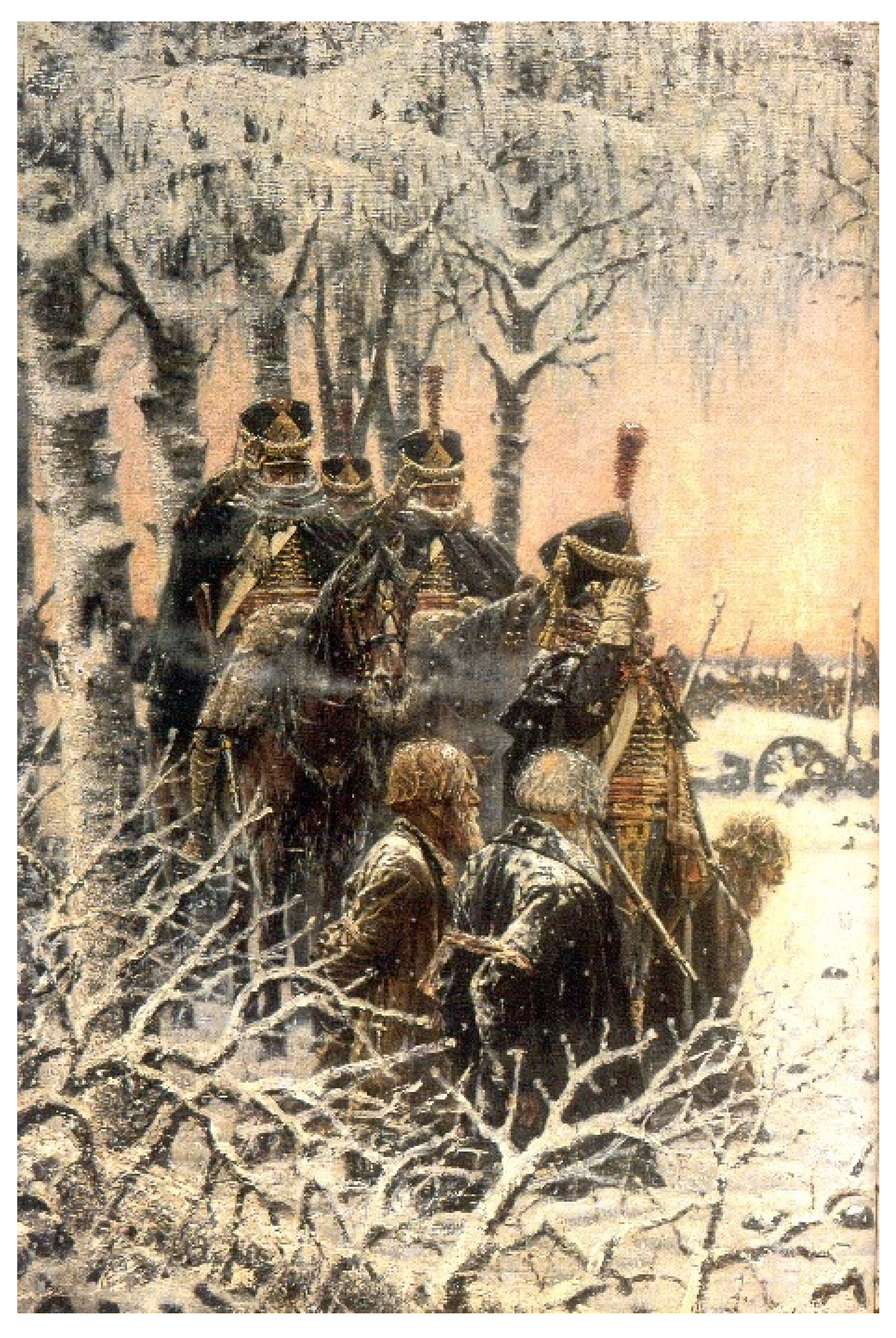
Семен Архипович с товарищами и оглянуться не посмел; они только догадались, в чем дело.

Должно быть, верст тридцать, коли не все сорок, прошли они и стали подходить к большой Московской дороге, по которой тянулось видимо-невидимо неприятеля, укутанного кто во что попало, и с оружием, и без оружия, и пешего, и конного. Одеты были и в женские юбки, и в кацавейки, ноги завернуты в тряпье и всякую рвань, лица грязные, закоптелые, опухшие. Пушек, повозок, карет и всякой всячины конца нет, а шум, гам – и не приведи бог! Видит Семен Архипович, что гнавшие их солдаты остановились перед кучкою каких-то людей, чисто одетых, закутанных в меха, должно быть, начальников, стоявших в стороне от дороги, кругом костра: греются и о чем-то разговаривают.

Впереди, широко расставивши ноги, в зеленом бархатном кафтане на соболях стоял невысокого роста толстый человек со звездой на груди, видимо, чем-то недовольный. «Уж не он ли?» – мелькнуло в голове старосты.

Один из солдат, тот самый, что был ранен в щеку, соскочил с лошади, подошел к маленькому человеку и, приложивши руку к козырьку, доложил ему. Тут Семен струхнул, опустил голову, закрыл глаза и

стал творить молитву... недоброе предчувствие так сильно охватило его, что выжало слезу, застывшую на щеке...





“С оружием в руках – расстрелять!” 1887-1895 гг.

А Федька, хоть тоже понимавший, что дело идет об их жизни или смерти, не утерпел, пытливо уставился в маленького человека, рассуждая про себя: “Смотри ты какой, на ногте можно пришибить, а какой прыткий, да и сердитый же, братцы вы мои – туча тучей !”

Маленький человек повернул к гусару свое невеселое, усталое лицо и только спросил: «Armes a la main?» (С оружием в руках?). «Все с оружием в руках», – отвечал гусар. «Расстрелять!» – хладнокровно произнес пузатый человечек и стал опять разговаривать с господами в шубах.

Семен Архипович опомнился и поднял голову, когда его встряхнули и заставили подняться с колен. Видит, что все засуетились: толстому человеку подали карету, он сел в нее вместе с другим начальником в русской казацкой бурке с перьями на шапке и поехал; за ним тронулись и остальные, кто в каретах, кто верхом.

«Он самый и есть!» – мелькнуло в мыслях у Семена Архиповича, а Федька даже не утерпел, шепнул товарищам: «Он, братцы, самый он и есть!..»

Как только начальство разъехалось, расправа произошла быстро: к тем же самым деревьям, около которых грелось французское начальство, привязали молодцов и без всяких формальностей приложили каждому по карабину к голове.

Семен Архипович свалился как сноп, а Федька рыжий хрипел и барахтался, так что его пришлось приканчивать...

Одежду с них сняли еще раньше, и суконный праздничный кафтан старосты достался как раз тому гусару, которого он угостил рубленым свинцом из флинты; полушубки Федьки и Еремея достались двум другим солдатам; тулупы эти были с насекомыми, но такие теплые, что помогли обладателям их дотянуться до самой Березины.

«В ШТЫКИ! УРА! УРА!»

Наполеон из Смоленска и князь Кутузов из Щелканова выступили к Красному в один и тот же день, – говорит М. Данилевский.

Туда же с неприятельской стороны вышли корпус Жюно, гвардейская артиллерия, парки, смешанные кавалеристы и обозы. Слева от дороги шел польский корпус.

Затем французы выступили из Смоленска: сначала вице-король, потом Даву и, наконец, Ней – все в расстоянии одного перехода один от другого.

Нею, к которому перешло командование арриергардом, после того, что Даву был признан слишком методичным и медлительным, велено было выпроводить всех отсталых и больных и сжечь все, чего нельзя было увезти, стены же и башни взорвать, так как Наполеон объявил, что «он не желает быть задержанным этими стенами в следующий поход».

Князь Кутузов писал о направлении главных сил армии Чичагову, что он будет по-прежнему держаться с левой стороны Наполеона: «Сим сохраняю я сообщение с хлебородными губерниями, верную коммуникацию с вами, а неприятель, видя меня рядом с собою идущего, не посмеет останавливаться, опасаясь, чтобы я его не обошел».

Милорадовичу приказали идти на Красненскую дорогу и стараться отрезать неприятелю отступление к городу. Ему приказано было, впрочем, не доводить французов до отчаяния, давать им отступать и только беспокоить возможно больше с флангов и тыла.

3 ноября в 4 часа пополудни Милорадович приблизился к столбовой дороге и увидел французскую гвардию, ведомую Наполеоном, для которого появление русских было неожиданно, так как он не предполагал возможности быть предупрежденным, думал, что его преследуют только казаки.

Милорадович тоже не знал, какую именно часть неприятельских войск он имеет перед собой. Он поставил батареи , стрелял, но большого расстройства не произвел и сильного урона не нанес. Только задние части неприятельских колонн пострадали: некоторые взяты с оружием в руках, другие побежали назад к Смоленску, третьи рассыпались по лесам, прилегающим к Днепру. Наполеон с гвардией ушел в Красное.

Старший сын старосты Семена Архиповича служил в одном из гренадерских полков. Старик мог бы избавить своих ребят от рекрутчины, но, не желая отстать от господ, почти поголовно рвавшихся на войну, представил одного из молодцов в солдаты. Другой сын жил в лесу, где вместе с бабами берег вывезенное имущество, в наскоро вырытых землянках, за древесными засеками. Младший парень вместе с отцом ходил на поиски неприятеля.

Сын не знал ничего о беде, стрясшейся над его стариком, хотя слышал, что тот не на шутку воюет не только с отсталыми и мародерами, но и с малочисленными колоннами фуражиров; будучи теперь вблизи от родных мест, он постоянно ожидал встречи если не с самим стариком, то хоть с кем-нибудь из своих.

Войска мало понимали нерешительность поступков начальства относительно французов. Между солдатами слышно было, что «Сам», т. е. фельдмаршал, приказал не напирать крепко на отступающих и не доводить их до отчаянной обороны. Жаль! – всем хотелось поскорее окончить войну хоть бы уж потому, что хуже того, что было в этот зимний поход, не могло быть, пожалуй, и на том свете! Войска Милорадовича особенно терпели и принимали всего голода, холода и усталости! В то время, как главная армия двигалась сравнительно медленно, с дневками, они решительно не знали отдыха за ежедневными перемещениями: с фуражировок привозилось мало, люди и лошади насилу ходили, и убыль в них была

очень велика. Солдаты ночевали на открытом воздухе, жарились и прожигали свои одежды около огней... В голодные дни Милорадович говорил, что «чем меньше хлеба, тем больше славы...».

Надежда перерезать путь неприятельским полкам и захватить их в плен вместе с самим Наполеоном была общая и у офицеров, и у солдат. О том, где именно, при какой части находился император французов, – не было известно и, хотя передовой отряд уже проскочил на глазах у всех в Красное, надеялись перехватить следовавший за ним и с замиранием сердца ждали появления его.

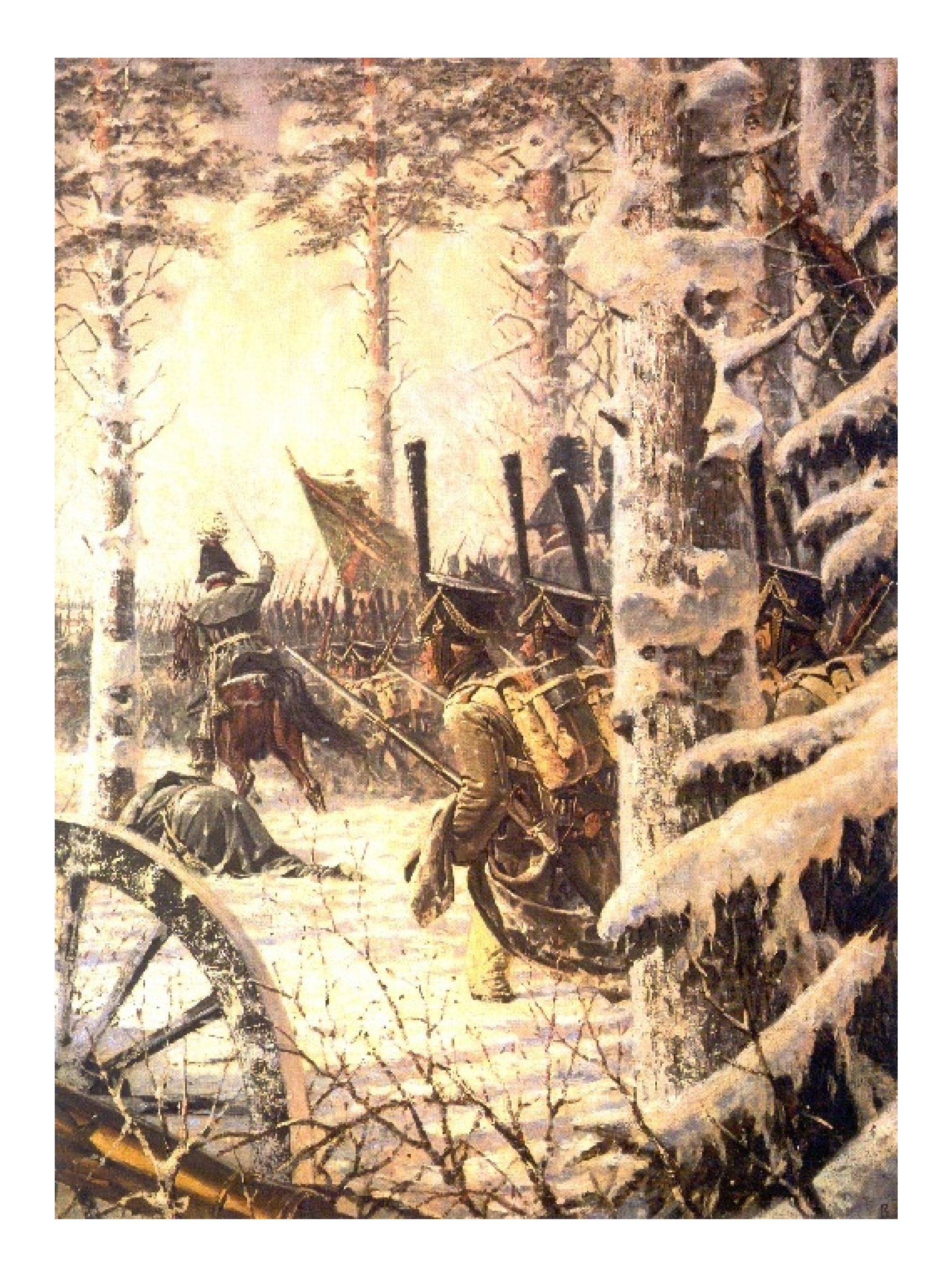
Все утро не показывалось ни одного француза по дороге из Смоленска. Часа в три пополудни казаки донесли, что вице-король тянется густыми колоннами из Ржавки.

Милорадович расположил один пехотный и один кавалерийский корпус поперек дороги, а параллельно с нею поставил Раевского, имевшего в это время только одну дивизию Паскевича.

Видя себя отрезанным от Красного, вице-король построил корпус в боевой порядок. Его сопровождали толпы безоружных солдат, кавалеристы без лошадей, канониры без орудий. Артиллерия была почти вся брошена и подобрана казаками на реке Вони, так что тут осталось только 17 орудий.

Бой был не равен и продолжался недолго; неприятель был везде опрокинут, и только часть с вице-королем во главе успела пробиться к Красному.

Гренадеры, выйдя из закрывавшего их леса, ружья наперевес, с криком «ура!», насилу вытаскивая ноги из глубокого снега, так стремительно ударили на неприятеля, что большая колонна его положила перед ними оружие; остальные или сдались, или рассеялись и бросились на проселки, чему помогла наступившая темнота.



В штыки! Ура! Ура! 1887-1895 гг.

В общем, впрочем, и в этот раз дело было сделано не вполне, и ждали более жаркого боя к следующему дню, 5 ноября.

В этот день Наполеон, рано до света, выступил из Красного навстречу Даву, двигавшемуся от Смоленска. Французский император был во главе старой гвардии пешком, в своей шубе, подбитой соболем, в собольей шапке и меховых сапогах, с березовою палочкой в руках.

Он шел назад, в сторону России, и на замечания об опасности, которой подвергал себя с такими ничтожными силами, ввиду всей русской армии, ответил: «Довольно мне разыгрывать императора, пора быть снова генералом!»

Понимая, что Даву нельзя будет присоединиться к нему без больших потерь, пока русские стоят у дороги, Наполеон решился атаковать главную армию, рассчитывая на то, что осторожный Кутузов отзовет тогда Милорадовича к себе и даст 1-му корпусу пройти.

Почти так и случилось: Милорадович волей-неволей пропустил главную часть отряда маршала, соединившегося с Наполеоном, и напал лишь на арриергард, из которого захватил около 7000 человек при 28 орудиях.

Князь Кутузов, проявивший такую осторожность – многие говорили, трусость, – был последователен и верен себе: лично обозревши позицию, занятую неприятелем перед Красным, и уверившись, что сам Наполеон предводительствует на ней – подтвердил ранее данные приказания не доводить неприятеля до отчаянного боя, в котором наши могли бы потерять много народа. Он держался того мнения, что нам надобно провести на границу войско, а не обрывки его и что незачем с большей потерею людей добиваться того, что само собою случится: неприятельская армия все равно сгибнет от холода, голода и всяческих трудностей зимнего похода, а на переходе через реку Березину, под нашими выстрелами, разумеется, принуждена будет положить оружие.

На левом фланге своей роты сын старосты Семена часто ходил в штыки, стоял под сильным огнем и много раз глядел смерти в глаза.

Немало ужасов насмотрелся он около неприятеля: вся окрестность была усеяна человеческими трупами и падалью животных. Везде валялись зарядные ящики, лазаретные повозки, пушки, ружья, пистолеты, барабаны, кирасы, кивера, шомпола, тесаки, сабли, множество московских колясок и дрожек, которые очень нравились французам; валялись лошади с выпущенными внутренностями и с разрезанными животами, в которые враги залезали , чтобы сколько-нибудь согреться. Неприятель кутался от холода в священнические ризы, в стихари, в женские салопы. Ноги обертывал соломою, на головы надевал капоры, жидовские шапки, рогожи...

Как ни терпели наши солдаты, а все же их положение нельзя было сравнить с состоянием неприятеля; довольно сказать, что французы начинали есть своих товарищей, падавших от голода, поджаривали их у костров...

Главнокомандующий и генералы в приказах рекомендовали солдатам человеколюбие и милосердие. Помимо этого, в самых сердцах солдат невольно поднималась жалость к жертвам таких небывалых бед, и они часто отпаивали, откармливали и отогревали у своих костров ослабевших, бродивших как тени неприятельских солдат.

Скоро, однако, чувству милосердия Ивана предстало испытание: на снегу, около дороги они нашли расстрелянных троих крестьян, из которых один был уже старый. Ивану достаточно было взглянуть на них, чтобы признать в старике своего отца, а в двух других – односельчан. Они валялись запорошенные снегом с ранами в груди и на головах. Долго горевать было некогда, так как войска двигались: наскоро вырыли в мерзлой земле могилу и схоронили в ней всех троих. С этих пор Иван стал меньше жалеть врага и на другой день при атаке колонн Нея, когда Милорадович, подскакав к их полку, сказал, указывая на французов: «Ребята! видите их: дарю вам всех!» – бросился с товарищами по глубокому снегу и жестоко отомстил за смерть своего старика.

Побывавши после на родине, он рассказал в родной деревне, как нашел «старого» с товарищами, с простреленными грудями и головами, с объеденными собаками конечностями; всем миром была отслужена по убиенным панихида, и флинта покойного старосты вместе с несколькими другими трофеями была повешена в церковь. Побрезговали ли французы этою флинтою или забыли ее, только по уходе их ее подняли с места свалки, и она долго служила предметом любопытства не только для окрестных крестьян,

но и господ начальников, желавших взглянуть на нее, как на живой памятник славных деяний покойного старосты.

О мученической кончине Семена Архипова и его подвигах сложилась даже целая легенда: нашлись видевшие своими глазами, как покойник положил множество народа, прежде чем попался в плен, а внуки уже не стесняясь рассказывали, что старый герой едва успевал «заряжать да палить» – сколько он положил неприятеля, того и не сосчитать!

КОММЕНТАРИИ

Багратион Петр Иванович (1765 – 1812) – князь, генерал.

В армии с 17 лет, служил на Кавказе, участвовал в Турецкой кампании (1787 – 1791), Польской кампании, Итальянском походе Суворова, во всех войнах с Наполеоном, активный участник Отечественной войны 1812 г. В начале руководил второй западной армией. Героически обороняясь, преодолев опасности окружения и разгрома, соединился с первой армией Барклая де Толли. Наполеон считал его единственным одаренным русским генералом. Багратион отличался смелостью, героизмом и полководческим умением, ему сопутствовала удача. Он предпочитал форсированные марши и смелые встречные атаки. Сдержанный и немногословный, он был способен на неожиданные поступки и яркие приступы гнева. Вел себя независимо по отношению к Александру I, постоянно спорил с Барклаем де Толли ,осуждая его за осторожность. При Бородино командовал левым флангом русских войск. Был смертельно ранен, вскоре умер.

Балашов Александр Дмитриевич (1770 – 1837) – русский государственный деятель.

С 1804 по 1809 год сначала московский, а затем петербургский обер-полицмейстер, в 1809 – 1810 годах – военный губернатор, а в 1810 – 1819 годах – министр полиции. С 1809 года – в чине генерал-адъютанта. С 1810 года – член Государственного Совета. Был решительным противником реформ Сперанского. С начала войны 1812 года был послан к Наполеону Александром I для переговоров. Участвовал в заграничных походах 1813 – 1814 годов, был генерал-губернатором пяти губерний.

Барклай де Толли, Михаил Богданович (1761 – 1818) – князь, генерал, с 1814 года – генерал-фельдмаршал.

По происхождению шотландец, родом из Прибалтики, , в армии с 15 лет. С начала войны назначен командующим первой армией. Придумал и претворил в жизнь свой постепенно сложившийся план действий – отступление с маршем-маневром, изматывание противника мелкими боями, длительными походами и т. д. Наполеон называл эти действия “скифскими”. Барклай де Толли сложными маневрами объединил обе армии, спас военную силу и 29 августа передал армию Кутузову. После прихода Кутузова Барклай де Толли остался командовать подчиненными ему ранее частями. При Бородино показал смелость и героизм. Принимал энергичные меры для упорядочения армии в ночь после сражения. Высказался за отступление от Москвы на совете в Филях. 22 сентября уехал из армии и был в отставке до февраля 1813 года. Возобновив военную деятельность, командовал третьей армией, участвовал в битвах при Кульме и Лейпциге, брал Париж.

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745 – 1826)

Один из заговорщиков убийства Павла I. Командовал в кампании 1806 года. Героический участник битвы против маршала Ланна при Пултуске на реке Нарове. Был ранен при Гейлсберге. Командовал русскими войсками в битве при Эйлау. Его руководство привело к поражению при Фрисланде, из-за чего была потеряна Восточная Пруссия. Был казнокрадом, брал взятки. Его солдаты голодали. Александр I назначил Беннигсена в штаб Кутузова, где он постоянно интриговал против Кутузова, посылал на него доносы. На совещании в Филях выступал за новое генеральное сражение. Кутузов, будучи в Тарутине, выслал Беннигсена из армии. Беннигсен участник битвы при Лейпциге.

Бернадотт Жан-Батист (1764 – 1844) – наполеоновский маршал, князь Понте-Корво, впоследствии шведский король Карл-Иоанн XIV.

Карьеру в армии начал с низших должностей, был ярым республиканцем, выдвинулся благодаря

таланту, смелости и уму. Примкнул к Наполеону. Участник Итальянских войн. Принимал участие во взятии Триеста и бонапартистском перевороте 18 Брюмера (4.11. 1799). В кампании 1805 – 1806 годов против Пруссии и Австрии был маршалом, командующим корпусом.

Бернадотт пользовался популярностью в Швеции из-за того, что освободил шведских пленных, во время войны в Голландии. Шведское правительство предложило ему занять пустующее место наследного принца. 21 августа 1810 года шведский ригстаг избрал Бернадотта наследником престола. Бернадотт был усыновлен королем и с 1818 года провозглашен шведским королем под именем Карла XIV или Карла-Иоанна. Положил начало новой династии. Правил до смерти.

Бернадотт, обретя шведский престол, немедленно порвал с Наполеоном и заключил союз с Россией, Пруссией и Англией. Выторговал от союзников согласие на присоединение Норвегии к Швеции на правах унии, за то, что в 1813 году он воевал в коалиции против Наполеона, не допустив французов на север. Поддерживал дружеские отношения с Россией.

Бертье Луи-Александр (1753 – 1815) – маршал Франции, принц Невшательский и Ваграмский.

Военный министр, участник Итальянского похода 1801 года и последующих кампаний Наполеона. Талантливый стратег, теоретик. Наполеон уважал его за талант, трудолюбие, честность и пунктуальность. Удостоен многих наград и званий. Был представителем Наполеона на заочном бракосочетании в Вене с Марией Луизой, эрцгерцогиней австрийской. Наполеон доверил ему акт о своем отречении. Убеждал Наполеона окончить войну после Витебска. Настаивал на заключении мира с 1813 года. Убит (или покончил самоубийством) в 1815 году в Бамберге (Германия). Оставил мемуары.

Богговут Карл Федорович (1761 – 1812) – русский генерал.

Командующий вторым корпусом при Барклае де Толли. Во время Бородинского сражения командовал корпусом. Атаковал левый фланг войск Мюрата в Тарутинском сражении и погиб в бою.

Бонапарт Жером (1784 – 1860) – граф Монфорский, Король Вестфальский.

Младший брат Наполеона. Из группы немецких земель специально для него создано королевство Вестфальское. Талантами не отличался. Наполеон доверил ему армию, в основном немецкую по составу, но за бездарное командование был им отстранен.

Бонапарт Наполеон (1769 – 1821) – император Франции.

Корсиканец, сын бедного адвоката. Военное образование на казенный счет получил в провинции и в Париже, где учился у Монжа. После неудачной попытки развернуть революцию на Корсике, бежал. Служил в революционной армии. Выдвинулся при осаде мятежного Тулона. Был на короткое время репрессирован за связи с якобинцами. Участвовал в подавлении аристократического путча. Успешно командовал второстепенной Итальянской армией, почти без материальных ресурсов реорганизовав ее. Проявил выдающийся полководческий талант. Был трижды ранен.

Руководил Египетской кампанией. Проявил жестокость при Аккре. Бросив армию, вернулся во Францию и организовал переворот 18 Брюмера. Добился стабилизации страны утвердив Консулат, урезав гражданские свободы и жестокими мерами ликвидировав массовый бандитизм, затормозил казнокрадство и спекуляцию. Создал хорошо действующий полицейский и административно-бюрократический аппарат с твердыми законодательными основами (Кодекс Наполеона). Благодаря миллиардным контрибуциям из побежденных стран, возродил после разрухи экономику Франции. Ограничил влияние революционной и либеральной печати. Развил профессиональное образование во Франции, поддерживая технику и точные науки в ущерб гуманитарным. Стабилизировал армию и обороноспособность страны. Его лозунги были поддержаны подавляющим большинством народа.

Вверг Францию в нескончаемые завоевательные войны будучи сначала первым Консулом, затем несменяемым первым Консулом и наконец Императором,. Французская армия тогда была воспитана в новых революционных традициях, солдаты были уверены в своей освободительной миссии, любой солдат мог продвинуться по службе независимо от происхождения, что послужило причиной долговременных победоносных кампаний.

Наполеон был деспотичным самодержцем, беспринципным и жестоким захватчиком. Однако политических репрессий при Наполеоне было немного.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790 – 1849) – русский офицер, граф.

Участник Отечественной войны, автор ряда исторических исследований о войне 1812 года. С 1848 был Председателем Особого комитета для надзора за печатью.

Известны его «Записки Бутурлина», написанные по-французски.

Виктор (Виктор-Перрен), Клод (1764 – 1841) – наполеоновский маршал, герцог Беллунский.

В армии с 17 лет, артиллерист. Выдвинулся при взятии мятежного Тулона. В 1796 – 1797 участвовал в Итальянском походе Наполеона в чине генерала, затем в 1805 – 1807 в войне с Пруссией. В 1808 году командовал корпусом в Испании. В русской кампании 1812 года был во главе Девятого корпуса наступающей Великой армии. Командовал корпусом при Дрездене и Лейпциге. После отречения Наполеона в 1814 году перешел на службу к Бурбонам. Не примкнул к Наполеону во время Ста дней. Участвовал в оккупации Испании в 1821 – 1823 годах в качестве военного министра, а 1823 году в качестве начальника штаба.

Витгенштейн Петр Христианович (Людвиг-Адольф-Петер) (1769 – 1843) – граф, с 1834 года светлейший князь.

Родился в России. Потомок немецких аристократов. В русской армии с 12 лет. Участник Польской кампании и войн с Францией (1805 – 1807). Командовал первым пехотным корпусом Петербургского направления в Отечественной войне 1812 года. Воевал в Восточной Пруссии. В чине генерал-фельдмаршала с 1826 года. Назначен главнокомандующим после смерти Кутузова. За поражение при Лютцене и Баутцене снят с поста и заменен Барклаем де Толли. Продолжал войну командующим корпуса. Вновь назначен главнокомандующим во время русско-турецкой войны.

Глинка Сергей Николаевич (1776 – 1847) – драматург, поэт, публицист. В 1812 году вступил в ополчение. Брат Федора Николаевича Глинки. Родом из дворянской семьи. Окончил Петербургский военный корпус. Занимался патриотической публицистикой. Недолгое время работал в Московском цензурном комитете, откуда ушел при первой возможности.

Известны его “Записки о 1812 годе первого ратника Московского ополчения” СПб, 1836 и другие издания.

Глинка Федор Николаевич (1786 – 1880) – русский офицер.

Участник войны 1812 года, воин, поэт, публицист, общественный деятель. Брат Сергея Николаевича Глинки. Учился в Первом кадетском корпусе. Участвовал в битве при Аустерлице, битве за Смоленск, в Бородинском и Тарутинском сражениях, в заграничных походах русской армии. Адъютант М. А. Милорадовича. После войны был чиновником при военном генерал-губернаторе Милорадовиче в Петербурге. В 1825 – 1830 отправлен в ссылку за связь с декабристами. Участник литературных и филантропических обществ. Сочинитель патриотических песен. Увлекся религиозными исканиями в конце жизни.

Написал воспоминания: Глинка Ф. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях в

Венгрии, где подробно описал поход Россиян против французов в 1805-1806 годах. М., 1808 г. – первое издание; М, 1839 – окончательное, дополненное рассказами об Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии. Ч. I – V.

Глинка Ф. Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 годе). М, 1839. Ч. 1-2.

Груши Эмманюэль-Альфонс (1768 – 1847) – наполеоновский маршал.

Дворянин, республиканский офицер. Воевал в Вандее. Был командующим экспедицией в Ирландии. Стойко сражался в битве против австрийцев при Гогенлиндене. Во время русской компании преследовал вторую армию под командованием Багратиона. Был назначен командиром ударного офицерского эскадрона В конце отступления. Поддержал Наполеона при Ста днях. Правда, его опоздание со своей военной частью на поле битвы при Ватерлоо послужило одной из причин поражения.

Написал мемуары.

Даву Луи-Никола (1770 – 1823) – маршал, герцог Ауэштедтский, принц Экмюльский.

Родом из мелких дворян. Учился вместе с Наполеоном в военной школе в Бриене и закончил ее в 1788 году. Принимал участие во всех войнах Наполеона. Получил звание принца в честь победы при Экмюле. Разбил армию герцога Брауншвейгского при Ауэрштедте неподалеку от Иены. В кампании 1812 года командовал первым корпусом. Был сброшен с коня и контужен при штурме батареи Раевского под Бородино. Командовал арьергардом Великой армии до Вязьмы.

В кампании 1813 года в основном удерживал север Германии. Выдержал осаду будучи генерал-губернатором Гамбурга. Получив приказ реставрационного правительства сдался после капитуляции Франции. Бурбоны лишили его звания маршала. Был генерал-губернатором Парижа и военным министром во время Ста дней. Даву организовал новую армию, готовясь защищать Париж после разгрома при Ватерлоо, но столица была сдана изменой. Даву был жестоким, администратором, беспощадным к мародерам.

Дарю Пьер-Антуан (1767 – 1829) – граф, генеральный интендант Великой армии и завоеванных территорий с 1805 года.

В армии с начала революции. С 1793 года до термидорианского переворота был репрессирован. Дарю был известен, как бескорыстный и достойный человек. Наполеон часто поручал ему дипломатические миссии, ценя его честность и интеллигентность Во время кампании 1813 года Дарю стоял во главе военного управления. Принял новую власть после второй реставрации. Был назначен пэром Франции.

Дорохов Иван Семенович (1762 – 1815) – генерал-лейтенант русской армии.

Участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов. С 1795 года в кавалерии. Шеф Изюмского гусарского полка, участник Отечественной войны. Сражался при Бородино, был тяжело ранен при Малоярославце, затем ушел в партизанский отряд.

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756 – 1816) – генерал от инфантерии с 1810 года.

В армии с 15 лет. Участник русско-шведской войны 1788-1790 годов, а также войн против Наполеона. Сражался при Аустерлице, Фридланде, Смоленске, Бородино, под Малоярославцем преграждал французам путь на юг. В арьергарде Барклая де Толли много сделал для того, чтобы задержать и деморализовать французов при отступлении. Стал ближайшим сподвижником Кутузова. Командовал центром при Бородино. После смертельного ранения Багратиона возглавил левый фланг, сменив Конопницкого. Выступал за новую битву под Москвой на совете в Филях.

Дюма, граф Матье (1753 – 1837) – генерал-интендант наполеоновской армии. Оставил интересные записки.

Евгений Богарне (1781 – 1824) – герцог Лейхтенбергский, принц Эйхштадтский, вице-король Итальянский.

Пасынок Наполеона, сын его первой жены Жозефины Богарне от предыдущего брака. Участник многих войн Наполеона. Не обладал полководческими способностями. В походе 1812 года командовал флигельманами, конными егерями и вспомогательным итальянским легионом.

Ермолов Алексей Петрович (1777 – 1861) – русский генерал.

Потомственный военный. Получил образование в Московском университетском благородном пансионе. В армии с 1791 года. Участник Персидского похода 1796 года. С 1798 по 1801 год был в ссылке за участие в «Смоленском офицерском политическом кружке».

Возвращен из ссылки с воцарением Александра I. Участвовал в войне с Францией в 1805 – 1807 годах в качестве начальника артиллерии. Начальник штаба Первой Западной армии при Барклае де Толли во время Отечественной войны 1812 года. Выдвинулся в сражениях при Валутиной Горе, при Бородино, при Малоярославце. В кампании 1813 года командовал артиллерией союзных армий. Самоотверженно дрался при Кульме. На Кавказе он был командиром корпуса, главнокомандующим и одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Персии. Проводил жесткую политику по отношению к кавказским народам.

Либерально относился к вольнодумству среди офицеров. Был уволен в отставку в 1827 году за оппозицию аракчеевскому режиму и дружбу со многими декабристами.

Написал «Записки». М., 1865 – 1868. 4.1—2.

Жюно Андрош (1771 – 1813) – генерал, герцог д'Абрантес.

Соратник Наполеона. – Во время Итальянской кампании, будучи поручиком состоял адъютантом у Наполеона. Был в Египте. Участвовал в оккупации Португалии в 1807 —

1808 годах. Заключил почетную «капитуляцию» после высадки превосходящих сил англичан, добившись того, что англичане отвезли всю его армию во Францию на своих кораблях. Участник Отечественной войны. Не вынес позора поражения и покончил жизнь самоубийством в припадке безумия.

Супруга Жюно Лаура д'Абрантес написала интересные мемуары, увековечив память о нем: Лаура д'Абрантес. Записки герцогини д'Абронтес, или Исторические воспоминания о революции, Директории и Наполеоне. М., 1835 – 1839. Т.1-16.

Коленкур Арман-Огюстен-Луи (1773 – 1827) – маркиз, герцог Виченский.

Потомок старой знати. Был советником по дипломатической части у Наполеона, выполнял его сложные дипломатические поручения. Наполеон послал его 1801 году в Россию с поздравлением Александру I, который тогда вступил на престол. В 1807 – 1811 годах французский посол в России. Сторонник дружбы французского и русского государства. Был противником идеи вступления в Россию. Всю кампанию 1812 года пробыл при штабе. Признал Наполеона при Ста днях, был министром иностранных дел. После Реставрации удалился от государственных дел.

Написал мемуары.

Ланн Жак (1769 – 1809) – герцог Монтебеллийский, наполеоновский маршал.

В 1792 году вступил в батальон добровольцев. Благодаря исключительной личной смелости и организаторским данным, через три года он уже был генералом. Поддерживал Наполеона. Командовал

авангардом при итальянском походе 1800 года, выделился в сражениях при Монтебелло и Маренго. Участник Египетского похода Наполеона и кампании 1805 – 1806 годов против Австрии и Пруссии. Был одним из главных героев победы при Фрисланде. Обладал стратегическим талантом. Умер в тридцать девять лет под Эслингом.

Лористон Жак-Александр-Бернар (1768 – 1828) – граф, маршал, маркиз.

Дипломат, администратор, военный деятель. Родился в Индии. Внук известного банкира Лоу. С 1800 года адъютант Наполеона. В 1805 году командовал военной экспедицией на Антильские острова, при Ваграме – командующий артиллерией. В 1807 году был губернатором Венеции. Перед войной он был послом в Петербурге. Наполеон направлял его для переговоров о мире с Кутузовым. Попал в плен под Лейпцигом. При Реставрации перешел к Бурбонам: 1815 год – пэр Франции, 1817 – маркиз, 1823 – маршал, за участие в подавлении испанского восстания, 1824 – министр.

Макдональд Жак-Этьен-Жозеф-Александр (1765 – 1840) – маршал, герцог Торентский. Потомок шотландских эмигрантов, бежавших во Францию по политическим мотивам. В армии с 1784 года. Перешел в революционную армию. Участник итальянских походов. В 1798 году брал Рим. Был разбит Суворовым на реке Треббия будучи командующим неаполитанской армией. 1800 – 1801 годы – командующий французскими оккупационными войсками в Швейцарии, а с 1801 по 1803 год – посол в Дании. Провел пять лет в отставке из-за подозрений в связях с заговорщиком генералом Моро. По возвращении в армию, отличился при Ваграме, принимал участие в испанской кампании. Командовал X корпусом в русской кампании, прикрывал левый северный фланг. Участвовал в кампаниях 1813 – 1814 годов. Реставрацию принял, при Ста днях не примкнул к Наполеону. С 1814 года пэр Франции, затем – Великий канцлер ордена Почетного легиона.

Милорадович Михаил Андреевич (1771 – 1825) – граф, русский офицер.

Суворовец, участник итальянского похода. Отличился уже в 1805 году, будучи в армии Кутузова против Наполеона. Участвовал в русско-турецкой войне. Участник Бородинской битвы, командующий авангардом при Тарутинском маневре, участник заграничных походов. С 1818 года – военный генерал-губернатор Петербурга. 14 декабря 1825 года был смертельно ранен П. Г. Каховским при попытке переговорить с декабристами.

Мортье Эдуард-Адольф (1768 – 1835) – наполеоновский маршал, герцог Тревизский.

Сын торговца. В Наполеоновской гвардии с начала революции. В 1791 году перешел в армию. К 1799 году – генерал, командующий дивизией. Участвовал в войнах с Австрией и Пруссией и в испанской войне. В русской кампании командовал «Молодой гвардией». Был назначен военным комендантом города после взятия Москвы. При отступлении, оставлен в Кремле прикрывать отход. В 1814 году предал Наполеона, сдав Париж союзникам. При Ста днях поддержал Наполеона. При Бурбонах – пэр Франции, посол в России, военный министр. Погиб от «адской машины» при покушении на короля Луи-Филиппа.

Мюрат Жоашен (Иоахим) (1767 – 1815) – наполеоновский маршал, герцог Бергский и Клевский, король Неаполитанский.

Сын трактирщика. В армии с дореволюционных времен. Отважный кавалерист. Благодаря революции в 1792 году стал офицером. Отличился при подавлении роялистского путча. Участвовал в Итальянском походе 1796 года бригадным генералом, а в Египетском походе командующим дивизией. Был активным участником бонапартистского переворота 18 Брюмера 1799 года. Принимал участие во всех войнах Наполеона. Жестоко подавил мадридское восстание 1808 года. В русской кампании 1812 года командовал кавалерийским корпусом, шел в авангарде наступающей армии, участвовал во многих сражениях. После отступления и отъезда Наполеона во Францию стал командовать всей оставшейся армией. После Лейпцига

вернулся в свое Неаполитанское королевство. Вел самостоятельную политику, заключая договоры с противниками Наполеона. При Ста днях примкнул к Наполеону, был разбит в Италии пойман и расстрелян.

Неверовский Дмитрий Петрович (1771 – 1813) – русский генерал.

Участник русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов, польской кампании 1792 – 1794 годов. В Отечественной войне 1812 года командовал дивизией. Прославился отчаянной схваткой с конницей Мюрата под Красным, своими действиями в битве за Смоленск. Самоотверженно сражался при Бородино. Участвовал в последующих походах русской армии, смертельно ранен в битве при Лейпциге. Похоронен в Галле, перезахоронен на Бородинском поле.

Ней Мишель (1769 – 1815) – герцог Эльхингенский, принц Московский, маршал.

Сын бочара. С 1788 года в кавалерии, перешел на сторону революции. Участвовал во всех войнах революции и империи. Был командующим арьергардом отступающей французской армии в русской кампании 1812 года. При Ватерлоо командовал центром. После поражения был судим, отказался просить помилования и отречься от Наполеона, расстрелян.

Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757 – 1816) герцог Кастильоне, наполеоновский маршал.

Сын лакея, наемный солдат. В Национальной гвардии с 1790 года. В итальянском походе 1796 – 1797 годов генерал, командующий дивизией. Подавил роялистский мятеж 4 сентября 1797 года по приказанию Наполеона. В кампании 1800 года – помощник Моро при Дунайской армии. При командовании армией в Голландии приобрел репутациею стяжателя и грабителя. Участник кампании 1805 – 1807 годов против Австрии и Пруссии, как и последующих кампаний. Командовал II корпусом в русской кампании 1812 года. Сражался при Лейпциге. В 1814 году перешел к Бурбонам.

Понятовский Юзеф (Иосиф) (1763 – 1813) – князь, польский генерал, маршал Франции.

Отважный воин. Мечтал об освобождении Польши при посредстве Наполеона. Военную службу начал в австрийской армии. С 1788 года адъютант императора Иосифа II. В 1789 командовал дивизией в Польше на стороне Станислава-Августа. С 1806 года на стороне Наполеона. В 1812 году создал стотысячную польскую армию. Командовал V польским корпусом Великой армии. Отступая, довел свою бригаду до Саксонии, где соединился с французскими войсками. Утонул в Эльстере под Лейпцигом в 1813 году, при отступлении, когда Наполеон приказал уничтожить мосты, оставив арьергард, состоящий в основном из польских частей.

Ренье (Рейнье) Жан-Луи (1771 – 1814) – наполеоновский генерал, граф.

В армии с 1792 года. В 1794 – 1795 годах – адъютант при командарме Пишегрю, с 1796 года – начальник штаба рейнской армии. Участвовал в походе на Египет, в кампаниях 1805 – 1807 годов. Короткое время был в должности военного министра неаполитанского королевства. Командовал корпусом из саксонцев в русской кампании, в основном, стоявшим на Волыни. При Лейпциге Ренье попал в плен. Затем был обменян. Вскоре умер.

Ростопчин Федор Васильевич (1763 – 1826) – граф.

Фаворит Павла I. С 1798 по 1801 год фактически руководил министерством иностранных дел. С 1801 года в отставке. С мая 1812 по 1814 год – генерал-губернатор Москвы. Организатор московского ополчения. Из-за его конфликтов с Кутузовым эвакуация Москвы была проведена недостаточно организовано и неприятелю достались большие материальные ценности.

Написал мемуары.

Румянцев Николай Петрович (1754 – 1826) – русский канцлер.

Сын знаменитого полководца, известен своей просветительской деятельностью. На дипломатической службе с 1776 года. С 1801 года – член Государственного Совета, сенатор, затем министр иностранных дел, с 1810 по 1812 год Председатель Государственного Совета. До 1812 года был сторонником сближения Франции и России. С 1814 года – в отставке.

Сегюр Филипп-Поль де (1780 – 1873) – адъютант Наполеона.

Происходит из знаменитой аристократической семьи, племянник Луи-Филиппа де Сегюра д'Агессо, участника войны за независимость США, посла в России, Обер-церемониймейстера Наполеона. Сын писателя Жозефа-Александра Сегюра. Сначала воевал под командованием генерала Макдональда. Попал в плен к русским во время Польского похода, освобожден после Тильзитского мирного договора. Был одним из адъютантов Наполеона в русской кампании 1812 года.

Его мемуары были широко известны в России, как в подлиннике, так и в переводах. Основной перевод: Сегюр П. Ф. Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона I. Пер. с фр. М, 1916.

Толь Карл Федорович (1777 – 1842) – русский генерал.

Полковник, затем генерал-квартирмейстер русской армии. Командовал вместе с Коновицыным арьергардом русской армии в битве за Смоленск. Выбрал плацдарм для Бородинского сражения при рекогносцировке. Участник совета в Филях. Под командованием Толя, была проведена глубокая разведка, которая указала на слабые места в обороне войск Мюрата, что помогло при Тарутинском сражении.

Тормасов Александр Петрович (1752 – 1819) – граф, генерал.

В армии с 1772 года, участник русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов, польской кампании 1794 года. Генерал-губернатор Киева и Риги, затем главнокомандующий в Грузии. С 1811 года – член Государственного Совета.

Был командиром III армии, преграждающей французам путь на юг, в первую половину Отечественной войны. Разбил саксонский корпус генерала Ж.-Л. Ренье у Кобрина, потом отбил нападение корпусов того же Ренье и Шварценберга, которые рвались на киевское направление Тормасов был переведен в центральный штаб после объединения с дунайской армией под командованием Чичагова. Во время болезни Кутузова исполнял обязанности главнокомандующего.

Уваров Федор Петрович (1773 или 1769 – 1824) – русский офицер.

В армии с 1787 года, участник русско-шведской войны, польской кампании 1794 года. С 1799 года командир кавалергардского полка, с 1807 года – гвардейской кавалерийской бригады. Участвовал в войне 1805 – 1807 с Наполеоном. Был командиром кавалерийского корпуса в Отечественной войне, отличился при Бородино. Вместе с Платовым руководил рейдами в тылы французской армии. Сражался под Вязьмой и Красным. С 1813 года – генерал, находился при царе. Командовал конным отрядом. С 1821 года – командир гвардейского корпуса.

Удино Никола-Шарль (1767 – 1847) – маршал, герцог Реджо.

Родом из буржуазной семьи. В армии с 1784 года, воин революционной армии, отличался храбростью. С 1794 года – генерал. В Итальянской кампании 1799 – 1800 годах – начальник штаба при Массена. Командир особого отряда гренадеров в войне против Австрии и Пруссии 1805 – 1807 годов. При Фрисланде командовал авангардом, при Ваграме – командующий корпусом. Затем, в 1810 – 1812 годах – командующий войсками в Голландии. В русской кампании 1812 года был командующим корпусом, отличился при Березине. Во время Ста дней, не признал Наполеона, При Бурбонах остался в армии. В 1823 году комкор при оккупации Испании. Последние годы считался «губернатором Дома инвалидов» для солдат-ветеранов.

Фигнер Александр Самойлович (1787 – 1813) – русский офицер, партизан.

Окончил II кадетский корпус, участвовал в экспедиции русского флота в Средиземном море в 1805 – 1806 годах, с 1810 по 1811 год – в русско-турецкой войне. Командовал артиллерийской ротой в Отечественной войне 1812 года. Вел разведывательную службу под видом французского офицера после занятия французами Москвы. Организатор отряда добровольцев для диверсионных действий. В конце сентября создал партизанский отряд из солдат и крестьян. В 1813 году выполняя разведывательные поручения Кутузова в осажденном Данциге (Гданьске), под видом итальянского торговца, вошел в доверие к командующему гарнизоном Ж. Раппу, доставил в русский штаб важные документы. Полковник с 1813 года., в – Утонул в Эльбе, в Германии, окруженный противником, будучи во главе международного партизанского отряда.

Чернышев Александр Иванович (1785 – 1857) – граф, русский генерал.

В армии с 1802 года, служил в гвардейской кавалерии, участник войны с французами в 1805 – 1807 годах. С 1808 по 1812 год – на дипломатической службе во Франции и Швеции. Командовал кавалерийским отрядом с начала 1812 года при Александре I. Участвовал в походах 1813 – 1814 годов. В 1826 году – член следственной комиссии над декабристами. Сенатор.

Чичагов Павел Васильевич (1767 – 1849) – адмирал русской армии.

Сын прославленного адмирала Василия Яковлевича Чичагова. На службе с 15 лет – адъютант при отце. Участник русско-шведской войны, командующий линейным кораблем. Учился в Англии. Вскоре по возвращении стал министром морского флота и членом Государственного Совета. С апреля 1812 года – адмирал, главнокомандующий Черноморским флотом и Молдавской армией. Допустил грубейшую ошибку при соединении с армией Кутузова во время французского отступления у Березины, в результате которой основная часть отступающих французских войск смогла благополучно преодолеть реку. С февраля 1813 года в отставке.

Написал воспоминания.

Примечания

1

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) – выдающийся русский художник, автор цикла работ, посвященных Наполеону

2

Я, нижеподписавшийся, клянусь Всемогущим Богом в том, что установленному правительству от его императорского величества французского императора и италийского короля Наполеона имею быть верным и все повеления его исполнять, и дабы исполнены были – стараться буду".

3

“сделать хорошую мину при плохой игре” (франц.)

4

Когда проводили Софийку и церковь эта была снесена, тело Верещагина найдено вполне сохранившимся: народ умилился и многие сочли этого несчастного мучеником, но его поскорее снова схоронили в другом месте.

5

Где ваши барышни? где ваши барышни?" (франц.)

6

Chambray рассказывает, что один раз, например, когда солдаты грелись около костра, полуокоченевший генерал подошел попросить местечка – никто ему не ответил, и только на повторенную просьбу один из гревшихся отвечал: «Принеси полено, так пустим».

7

Спасайся, кто может!" (франц.)

8

Не считая прусского и австрийского отрядов, Макдональда и Шварценберга

9

Казалось бы, что дело в данном случае ясно: в Вязьме французские солдаты грабили – однако, в XVI бюллетене сказано: «В Вязьме казаки перед уходом много грабили... так что, по мнению жителей, город, по всей вероятности, никогда более не перейдет в русское подданство.»

10

Говорят, что при отряде Милорадовича долгое время был один сапер.

11

урологическая болезнь (франц.)

12

Вперед, сыны отчизны!" (франц.) (начало гимна «Марсельеза»)

13

Кажется, вернее признать, что отступление началось еще ночью.

14

imbecile слабоумный (франц.)

15

Каково было состояние духа Наполеона и чего стоило ему сознание тяжести своего положения, знали его служащие, неловко попадавшие под руку: «Верный мамелюк Рустан, – рассказывает Солтык, – подавший раз левый сапог на правую ногу, ударом носка был отброшен навзничь.»

16

Битва наверное кончилась бы пленением всего отряда Мюрата, если бы Кутузов, не одобрявший этого сражения, не отказал Бенигсену в поддержке. Кутузов полагал, что надобно как можно долее оставить Наполеона и его войска в Москве и по окрестностям в покое, чтобы вернее удержать их до морозов, и был справедлив в этом; но раз, что он уже дозволил движение на забывшего всякую осторожность неприятеля, то непростительно было не оказать просимой, в самый разгар битвы, помощи. Данною им возможностью, хоть и с потерями, отойти французы всецело обязаны Кутузову и его ближайшим советникам Толю и Кайсарову. Рассказывают еще, что генерал О.Д. едва держался этот день в седле, рассказывают... многое другое.

17

Нельзя без улыбки читать у Тьера одобрение плана Наполеона, если такой нелепый план мог существовать – провести с армией зиму в Калуге, в климате более умеренном, сохраняя сообщение с Смоленском и в тылу с Москвою.

На основании этого соображения, Наполеон сохранил бы обладание Кремлем (?), поручив защиту его маршалу Мортье с четырьмя тысячами спешенной конницы (?), из которых были бы составлены батальоны пехоты, оставив там самые тяжелые военные принадлежности, раненых, больных, отсталых и таким образом снабдив опытного маршала 10-ти тысячным гарнизоном и продовольствием на 6 месяцев.

18

cogna (фр.) – конья (конь)

19

«задним числом» (франц.)

20

презренная (франц.)

21

Для примера довольно сказать, что все картины представляют Наполеона на снежных равнинах России при 25 градусах мороза в сером пальто или короткой шубке нараспашку, в треугольной шляпе и тонких сапогах, когда в действительности он преисправно кутался в длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги.

22

Интересно, что Заборовский не мог себе простить впоследствии этого отказа. В 1812 году, проживая на покое в Москве, почтенный генерал горько каялся в том, что отказал Бонапарту и тем косвенно был причиной обрушившихся на Россию бед и опустошений. Император Александр в свой приезд в Москву для коронации много расспрашивал генерала об этом происшествии.

Граф Ростопчин утверждает, что имел в руках самый документ отвергнутой просьбы.

23

При этом он посетил и самый монастырь, где застал монахов за трапезой, попробовал и хвалил их щи. Уезжая, он оставил на колокольне собственноручную надпись в две строки, подписанную его именем. Надпись эту монахи замазали потом известкой.

24

профессиональная ревность (фр.)

25

Так как через Неман перешло 400000, то невольно является вопрос: что же сталось с остальными 220-230000, которых недоставало? Также непонятно, откуда явилась 130000-ная русская армия, которую, судя по бюллетеням, тысячами истребляли без перерыва в продолжение двух с половиной месяцев!

26

Интересно, что когда после этого первого успеха Наполеон, не видя пленных, спросил: «Что это значит?» – ему ответили: "Не сдаются, ваше величество, лезут на смерть!”

27

Да здравствует император! (фр.).

28

Зарыто до 32 000 трупов лошадей.

29

Очевидец, генерал-интендант французской армии, генерал Дюма говорит: «Nos pertes frent immenses» («Наши потери были громадны!» – фр.).

30

дурак! (фр.)

31

для этого случая (фр.)

32

Согласно многим свидетельствам, в этом соборе была конюшня гвардейской кавалерии.

33

Знаменитое серебряное паникадило, пожертвованное боярином Морозовым в царствование царя Алексея Михайловича.

34

Князь Шаховской приводит догадку, что это ожесточение против памяти великого патриота народного движения 1612 года указывает на хозяйничанье поляков.

35

В этом озере было утоплено столько драгоценностей, похищенных в Москве, что интересно знать, были ли деланы своевременно поиски в местах, прилегающих к большой дороге? Никаких сведений об этом не удалось найти.

36

См.: 1812 год (Пожар Москвы. – Казаки. – Великая армия. – Наполеон 1). Москва. 1895 г.

37

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.

38

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.

39

Если он разучился делать свои дела, то пусть идет с... в Тюльери; мы обойдемся и без него (фр.).

40

См.: 1812 год. Москва. 1895 г.